МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

Святилище



АЗБУКА-КЛАССИКА

Мистические истории. Святилище

Элджернон Генри Блэквуд, Эдвард Фредерик Бенсон, Роберт Уильям Чамберс, Бесси Киффин-Тейлор, Ричард Гаррис Барэм, Уилла Кэсер, Мэри Элеонор Уилкинс-Фримен, Монтегю Родс Джеймс, Редьярд Джозеф Киплинг

Аннотация
Мистические истории. Святилище. Рассказы
Ричард Гаррис Барэм
Призрак Таппингтона
Э. и Х. Херон
История Грей-хауса
История поместья Янд-мэнор
Мэри Элеонор Уилкинс Фримен
Юго-западная комната
Клетушка
Монтегю Родс Джеймс
Трактат Миддот
Эпизод из истории собора

Редьярд Киплинг
«Они»
Роберт Уильям Чамберс
Демуазель д’Ис
Эдвард Фредерик Бенсон
Изгой
Святилище
Элджернон Блэквуд
Вход и выход
Видение
Заповедный вид
Коллекция гоблина
Уилла Кэсер
Происшествие на станции Гровер
Бесси Киффин-Тейлор
Ветер в лесу
Сведения об авторах

Аннотация

Смутные тени далекого прошлого, загадки старинных особняков, странные перемещения, внезапные исчезновения и удивительные находки, призраки, лунатики, адепты темных сил и тайных наук… Истории, вводящие читателей в мир, где обыденное соседствует со сверхъестественным, где судьбы героев вершат вселяющие страх потусторонние силы, а сама граница между жизнью и смертью оказывается зыбкой, издавна пользовались успехом. Они стали особенно популярны в начале XIX века, но и позднее интерес читателей к ним не иссяк: даже в эпоху философского скептицизма, расцвета науки и триумфа техники готическая литература остается востребованной, а таинственное, необъяснимое, чудесное по-прежнему и привлекает, и завораживает. В настоящий сборник вошли рассказы британских и американских писателей XIX – начала XX века, среди которых такие мастера, как Редьярд Киплинг, Монтегю Родс Джеймс, Элджернон Блэквуд, Эдвард Фредерик Бенсон

и другие.

Мистические истории. Святилище
Рассказы

© Л. Ю. Брилова, составление, перевод, 2025
© С. А. Антонов, сведения об авторах, перевод, 2025
© А. М. Бродоцкая, перевод, 2025
© А. В. Волков, перевод, 2025
© А. В. Глебовская, перевод, 2025
© А. А. Липинская, перевод, 2025
© Е. И. Микерина, перевод, 2018
© В. Б. Полищук, перевод, 2025
© Е. О. Пучкова, перевод, 2014
© Н. Ф. Роговская, перевод, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2025
Издательство Азбука®

* * *

Ричард Гаррис Барэм

Призрак Таппингтона

Перевод В. Полищук

— Однако же это весьма странно; что с ними могло случиться? — спросил Чарльз Сифорт, заглядывая под балдахин старомодной кровати в старомодной комнате еще более старомодного особняка. — Это чертовски странно, и я решительно ничего не понимаю. Ей-ей, Барни, где же они? И где, черт подери, ты сам?

Ответа на этот призыв не последовало, и лейтенант, будучи, вообще-то, человеком здравомыслящим, — по крайней мере, настолько, насколько можно ожидать от молодого джентльмена двадцати двух лет от роду, состоящего на «службе», — поумерил свой пыл, смекнув, что слуга едва ли мог мгновенно явиться на его зов, который никоим образом не мог услышать.

Здравый смысл побудил лейтенанта позвонить в звонок, и в ответ в коридоре раздались шаги самого бравого молодца из всех, у кого за пояс заткнута глиняная трубка.

— Войдите! — сказал его хозяин.

Безуспешные попытки слуги открыть дверь

напомнили мистеру Сифорту, что он заперся изнутри.

— Силы небесные! В жизни со мной не случалось ничего более необычайного, — сказал лейтенант, поворачивая ключ и впуская мистера Магуайра в свою спальню.

— Барни, где мои панталоны?

— Это бриджи-то? — переспросил слуга, окидывая комнату внимательным взглядом. — Вы про бриджи, сэр?

— Да, что ты с ними сделал?

— Они, ваша милость, были на вас, когда вы ложились спать, значит, здесь и будут, ручаюсь.

И Барни, занявшись поисками, подошел к креслу с плетеной спинкой и поднял роскошный мундир. Но поиски были тщетны: помимо вышеупомянутого мундира, нашелся нарядный кашемировый жилет, однако наиглавнейший предмет из гардероба всякого джентльмена так и не обнаружился.

— Где же они могут быть? — спросил хозяин, особенно нажимая на «могут».

— Да кто ж его знает, ваша милость, — ответил слуга.

— В таком случае не иначе как здесь побывал сам дьявол и утащил их! — воскликнул Сифорт,

вперив пристальный взгляд в лицо Барни.

Мистер Магуайр вполне разделял суеверия, присущие деревенским жителям, однако, судя по выражению его физиономии, не мог согласиться с таким предположением.

Лейтенант прочитал недоверие на лице слуги.

— Да ведь я говорю, Барни, что положил их туда, на это вот самое кресло, когда укладывался в постель. И, клянусь Небом, отчетливо видел, как призрак старика, о котором мне рассказывали, явился сюда в полночь, надел мои панталоны и удалился в них.

— Может статься, — осторожно ответил Магуайр.

— Разумеется, я решил, будто мне это приснилось; но в таком случае что за чертовщина — где мои бриджи?

Задать сей вопрос было куда легче, чем ответить на него. Барни возобновил поиски, а лейтенант, скрестив руки на груди, прислонился к умывальнику и предался раздумьям.

— В конце концов, весьма вероятно, что это дело ручек моих кузин, которые так любят подшутить, — по некотором размышлении сказал Сифорт.

— А и верно, барышни! — подхватил мистер

Магуайр, хотя наблюдение адресовалось не ему. — Должно быть, мисс Кэролайн или мисс Фанни — вот кто стащил одежку вашей милости?

— Ума не приложу, что и подумать на сей счет, — посетовал лейтенант, по-прежнему рассуждая вслух и устремив озадаченный взор на дверь спальни. — Я запирался на ключ, это вне всякого сомнения; но в комнату, должно быть, есть и другой вход — фью! Я помню — потайная лестница; как же это я свалял такого дурака? — И он прошел в дальний угол комнаты, где смутно виднелась низенькая дубовая дверь.

Лейтенант помедлил перед ней. Сейчас дверь эту ничто не заслоняло, однако, судя по некоторым признакам, ранее она таилась за гобеленом, остатки которого еще свисали со стены по обе стороны от дверного проема.

— Не иначе как они проникли сюда этим путем, — рассудил Сифорт. — Эх, какая жалость, что я не поймал их с поличным!

— Ох, что за проказницы! — вздохнул мистер Барни Магуайр.

Однако тайна была все еще так же далека от разгадки, как и раньше. «Другая дверь» в самом деле имелась; однако при тщательном рассмотрении

оказалось, что она заперта еще надежнее, чем та, что вела в галерею: два тяжелых засова изнутри надежно препятствовали любому coup de main[1] на бивуак лейтенанта с обратной стороны. Сифорт пребывал в еще большем недоумении, чем раньше; тщательнейшим образом исследовав стены и пол, он ни на волос не приблизился к разгадке; ясно было лишь одно — бриджи пропали!

— Поистине странно, — сказал лейтенант.

Таппингтон-Эверард (называемый в обиходе Таптон) — старинное, но просторное поместье в восточной части графства Кент. Бывший владелец был верховным шерифом во времена Елизаветы, и до сих пор сохранилось множество темных и страшных преданий о его распутной жизни и чудовищных преступлениях. По сей день, как и встарь, мрачно темнеет лесная лощина, куда вошла дочь лесничего, да так и пропала без следа; а несмываемое пятно крови на дубовой лестнице все еще не поддается совместным усилиям мыла и песка. Но именно с одной из комнат, как передают, связан случай, отмеченный особенной жестокостью. Некий незнакомец — так гласит легенда — однажды

---

[1] Сноски: 1
Нападению *(фр.)*.

внезапно появился на пороге особняка «сэра Джайлса Сквернавца». Казалось бы, между ними завязалась дружба, однако хмурое чело хозяина подсказало слугам, что визиту гостя тот отнюдь на рад; тем не менее было устроено пиршество, вино лилось рекою, — быть может, слишком широкою, — ибо звуки ссоры наконец достигли даже ушей челяди, не служившей у господского стола, а изо всех сил состязавшейся с господами на собственной пирушке. Кое-кто из них, встревожившись, отправился в пиршественную залу, а один, почтенный и любимый домоправитель, дерзнул даже нарушить покой хозяина и ворваться туда. Сэр Джайлс, уже и без того разъяренный, велел старому слуге убираться, и тот послушался; однако не раньше, чем отчетливо услышал из уст незнакомца угрозу, будто бы у того при себе есть нечто, могущее опровергнуть право рыцаря отдавать в стенах Тэптона какое-либо приказание.

Непрошеное, пусть и краткое вторжение старого слуги как будто возымело благотворное действие: голоса спорящих утихли, и беседа их продолжилась более мирно; когда же наступил вечер, слуг позвали, чтобы зажечь в зале огни, и, явившись на зов, те увидели, что не только вернулось прежнее радушие, но и замышляются новые

увеселения. Поданы были новые угощения, и самые лучшие; и только в поздний или, скорее, ранний час гуляки разошлись по своим покоям.

Комната, отведенная гостю, располагалась на первом этаже в восточном крыле особняка и некогда была любимыми покоями самого сэра Джайлса. По слухам, это предпочтение объяснялось наличием отдельной лестницы, которая во времена старого рыцаря позволяла его сыну тайно покидать стены дома и, не опасаясь родительского гнева, предаваться пороку; со смертью же родителя надобность в тайных путях отпала и сэр Джайлс сделался полноправным хозяином своему поместью и совершенно свободным в своих поступках. С того времени он обосновался в так называемых «главных покоях», а в «дубовых покоях» редко кто жил, разве что по случаю особо торжественных празднеств или когда Йольское полено привлекало к рождественскому очагу необычайно большое количество гостей.

В ту бурную ночь «дубовые покои» были приготовлены для незнакомца, и тот отправился спать, разгоряченный после ночной попойки, а утром в постели лежал его распухший и почерневший труп. На теле не обнаружилось никаких следов насилия; однако посиневшие губы и некие

темные пятна на коже покойника наводили на подозрения столь ужасные, что никто не решился высказать их вслух. По словам доверенного врача сэра Джайлса, причиной внезапной кончины гостя послужил апоплексический удар, вызванный излишествами предыдущей ночи. Тело предали земле; и хотя некоторые с укоризной наблюдали за поспешностью проведения погребальных обрядов, но никто не отважился на пересуды.

Иные события отвлекли внимание слуг; умы были заняты волнующими политическими событиями дня нынешнего, в то время как близкое приближение грозной армады, столь тщеславно присвоившей себе титул, для ниспровержения коего сами стихии объединились с доблестью человеческой, — все это вскорости ослабило, если не стерло, всякую память о безымянном незнакомце, погибшем в стенах Тэптон-Эверарда.

Миновали годы, «сэр Джайлс Сквернавец» — последний, как считалось, прямой потомок старинного рода — давно уже скончался, хотя кое-кто из старожилов поговаривал о его старшем брате, который безвестно исчез в молодости и так и не унаследовал поместье.

Одно время ходили упорные слухи о том, что брат этот будто бы оставил в чужих краях сына;

но и они затихли, ничем не подтвержденные; имущество беспрепятственно отошло к побочной ветви семьи, а тайна, если таковая вообще существовала, была погребена на кладбище Дентона, в одинокой могиле таинственного незнакомца. И лишь спустя много лет случай оживил память о тех стародавних событиях.

Работники, корчевавшие в саду старый кустарник, чтобы на его месте посадить новый, выкопали из земли ветхие остатки некоего одеяния. При более тщательном изучении оказалось, что это полуистлевшие шелковые лоскутья с вышивкой, которые когда-то были парой чулок; из тряпья выпали некие бумаги, но разобрать написанное уже не представлялось возможным: настолько они были сырые и старые, и неграмотные сельчане отдали находку тогдашнему владельцу поместья.

Неизвестно, насколько преуспел сквайр в расшифровке этих бумаг; разумеется, он никогда ни словом не упомянул об их содержании; и мало кто задумался бы об этом, если бы не зловредная память старухи Джонс: она заявила, будто слышала от своего дедушки, что, когда «незнакомца» отравили, вся его одежда была в сохранности, но штаны, предполагаемое хранилище предпола-

гаемых документов, отыскать так и не удалось. Хозяин поместья Тэптон-Эверард лишь улыбнулся, услыхав, как престарелая дама намекает на деяния, которые могли бы поставить под сомнение законность его собственного титула в пользу какого-то неизвестного потомка какого-то неизвестного наследника; и об этой истории редко вспоминали, если не считать одного или двух пустомель, которые будто бы слышали о том, что другие видели призрак старого сэра Джайлса: якобы тот в ночном колпаке выходил через боковую дверь, направлялся в соседнюю рощу и страдальчески заламывал свои призрачные руки, словно тщетно пытаясь найти нечто, запрятанное среди вечнозеленых растений.

В комнате, где скончался незнакомец, после его смерти, конечно, время от времени появлялись привидения; но в последнее время их визиты стали весьма редкими; и даже миссис Ботерби, экономка, была вынуждена признать, что за всю свою многоголетнюю службу в поместье никогда «не встречала никого хуже самой себя»; хотя впоследствии, по более зрелом размышлении, пожилая леди добавила: «Сдается мне, однажды я видела дьявола».

Такова легенда, связанная с поместьем Тэп-

тон-Эверард, и такова история, которую бойкая Кэролайн Инголдсби подробно рассказала своему столь же темпераментному кузену Чарльзу Сифорту, лейтенанту Второго Бомбейского полка достопочтенной Ост-Индской компании, когда они рука об руку прогуливались по галерее, украшенной несколькими дюжинами мрачных фамильных портретов, в том числе изображением грозного сэра Джайлса. Доблестный лейтенант тем самым утром впервые посетил дом дяди по материнской линии после нескольких лет отсутствия: со своим полком он провел немалый срок на засушливых равнинах Индостана, откуда теперь вернулся в трехлетний отпуск. Ушел он мальчиком, а вернулся мужчиной; однако впечатление, некогда произведенное на его юное воображение любимой кузиной, нимало не изменилось, и именно в Тэптон лейтенант Сифорд направил свои стопы еще до того, как навестить овдовевшую мать. Нарушив таким образом сыновний долг, он утешался мыслью о том, что негоже было бы проехать мимо дверей родственников, чье поместье совсем рядом, не заглянув к ним хотя бы на несколько часов.

Однако лейтенант нашел дядюшку по-прежнему гостеприимным, а кузину — еще более

очаровательной, чем раньше, и просьба одного вкупе с прелестью другой вскоре обезоружили Чарльза и он не отказался продлить «несколько часов» до нескольких дней, хотя дом и был полон гостей.

Здесь были Питерсы из Рамсгейта; мистер, миссис и две мисс Симпкинсон из Бата приехали погостить на месяц; Том Инголдсби привез своего приятеля по колледжу, достопочтенного Огастеса Саклтамкина, с его грумом и пойнтерами, чтобы отправиться на двухнедельную охоту. Прибыла и миссис Оглтон[2], богатая молодая вдовушка с большими черными глазами, которая, как поговаривали, имела виды на молодого сквайра, хотя миссис Ботерби в это не верила. А главное, была здесь мадемуазель Полин, ее femme de chambre[3], которая по любому поводу произносила «mon

[2] Сноски: 2

Некоторые фамилии в рассказе — говорящие: Simpkinson (simp — простак, son — сын), Sucklethumbkin (suckle — вскармливать, сосать грудь, suck thumbs — сосать пальцы), Ogleton (ogle — строить глазки), Botherby (bother — беспокоить, беспокоиться). — *Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, примеч. перев.*

[3] Сноски: 3

Камеристка, горничная *(фр.).*

Dieu»[4] и восклицала «Quel horreur!»[5] при виде чепца миссис Ботерби. Короче говоря, если воспользоваться выражением последней из упомянутых и весьма уважаемых дам, особняк был «набит битком» до самых чердаков, — за исключением «дубовых покоев», которые, благо лейтенант выразил снисходительное пренебрежение к привидениям, были немедленно отведены ему лично. Мистер Магуайр тем временем был вынужден разделить комнату с Оливером Доббсом, камердинером сквайра; шутливое предложение предприимчивого мистера Барни поселиться вместе чуть ранее было с негодованием отвергнуто «мамзель», хотя вкрадчивые речи и возымели на нее некоторое шармантное действие.

— Право слово, Чарльз, кофейник совсем остыл; ваш завтрак будет совсем испорчен, отчего это вы так разленились?

Такими словами мисс Инголдсби приветствовала поутру лейтенанта, входящего в столовую через полчаса после того, как в ней собрались все гости.

---

[4] Сноски: 4
Боже мой *(фр.).*

[5] Сноски: 5
Что за ужас! *(фр.)*

— В самом деле, с таким милым джентльменом только и договариваться о встрече, — подхватила мисс Фрэнсис. — Как же наша прогулка к камням перед завтраком?

— Ах! Нынешняя молодежь и не думает держать слово, — съязвила миссис Питерс, миниатюрная дама с подведенными глазками на личике, напоминающем мордочку хорька.

— Когда я был еще молод, — начал мистер Питерс, — то, помнится, всегда принципиально…

— Скажите на милость, как давно это было? — поинтересовался мистер Симпкинсон из Бата.

— Что ж, сэр, когда я женился на миссис Питерс, мне было… дайте-ка сообразить… мне было…

— Прошу тебя, придержи язык, Пи, и ешь свой завтрак! — прервала его лучшая половина, испытывавшая смертельный ужас перед хронологическими подсчетами. — Невежливо донимать собеседников своими семейными делами.

Лейтенант к этому времени успел молча занять свое место — все его приветствия свелись к добродушному кивку, полуулыбке и полувопросительному взгляду.

Хотя лейтенант и находился во власти чар и в непосредственном присутствии той, которая столь основательно ранила его сердце, но дер-

жался он явно рассеянно, и прелестная Кэролайн объясняла себе поведение Чарльза исключительно воздействием своих agrémens[6]; но как бы возмутилась Кэролайн, узнай она, что все помыслы Чарльза крутятся вокруг панталон!

Чарльз выпил кофе и съел с полдюжины наперченных яиц, время от времени бросая пронзительный взор на дам и надеясь установить виновницу пропажи, которую выдаст неосторожная улыбка или смущенный взгляд.

Но старания его были тщетны; ни плутоватые ямочки на щеках, ни дрогнувшие брови — ничто ни разу не подтвердило его подозрения. Намеки и выпады его остались без внимания — о более подробных расспросах не могло быть и речи: к теме было не подступиться.

Между тем панталоны из шерстяной ткани в рубчик прекрасно подходили для утренней прогулки верхом; закончив завтрак, компания аллюром пустилась по холмам, и в скором времени чувства лейтенанта Сифорта из Второго Бомбейского полка всецело поглотили одушевленные и неодушевленные красоты, его окружавшие, и теперь он думал о пропавших бриджах не больше,

---

[6] Сноски: 6
Прелести *(фр.).*

чем уродись он на вершине Бен-Ломонда.

Миновала еще одна ночь; ослепительно засиял рассвет, и прямые лучи солнца образовали великолепную радугу далеко на западе, куда теперь отступала тяжелая туча, которая последние два часа изливала свои воды на землю.

— Эх, и что толку стараться да чистить вас! — воскликнул мистер Барни Магуайр, выставив перед совершавшим свой туалет хозяином пару «новехоньких» жокейских сапог, одну из лучших моделей марки «Хоби». Сапоги лейтенант приобрел, заехав по пути в город. Впервые попав в руки прислуги, они были столь незначительно запачканы после вчерашней прогулки верхом, что, будь Барни менее старательным, возможно, он счел бы совершенно излишним пускать в ход «Бесподобное средство Уоррена» или щавелевую кислоту. Но Барни был не из таких: со всем тщанием и заботой он счистил малейшие пятнышки грязи с полированных сапог, и вот они стояли, красуясь своим черным блеском.

Неудивительно, что у мистера Магуайра защемило сердце, когда он подумал о предстоящих сегодня этим сапогам тяготам — несравнимым с легкой вчерашней прогулкой по дернистым просторам; неудивительно, что, едва за высох-

шим после недавнего дождя окном показалась дорога, теперь утопающая на дюйм в грязи, слуга с горестным вздохом пробормотал: «Эх, и что толку стараться да чистить вас!» — ибо доподлинно узнал в людской, что целых восемь миль непролазной грязи отделяют Таппингтон-мэнор от аббатства Болсовер, к живописным руинам которого, похожим на «Древний Рим в величии упадка»[7], собралась наведаться компания.

Хозяин его уже начал одеваться; слуга как раз прилаживал ремни к легкой паре шпор «лебединая шея», когда рука его замерла, ибо он услышал знакомый вопрос: «Барни, где мои панталоны?»

Их нигде не было!

Мистер Сифорт вышел в то утром с хлыстом в руке, одетый в красивый зеленый рединготт, но вместо «бриджей и сапог в тон» на нем были мешковатые полотняные панталоны поверх коротких сапог-веллингтонов, смотревшиеся как-то нелепо, в то время как шерстяные в рубчик, присоединившись к пропавшим еще вчера, не вернулись из самоволки; жокейские сапоги

---

[7] Сноски: 7

Цитата из стихотворения Джона Генри Драйдена (1631–1700) «Мистеру Грэнвиллу за его превосходную трагедию под названием „Героическая любовь“» («To Mr. Granville, On His Excellent Tragedy, Called Heroic Love»)

взяли выходной.

— Прекрасное утро после дождя, — заметил мистер Симпкинсон из Бата.

— В самый раз для верховой езды, — сказал мистер Питерс. — Помнится, когда я был еще мальчонкой…

— Ох, да придержи ты язык, Пи, — перебила миссис Питерс.

Этот совет образцовая матрона давала «своему Пи», как она величала его, всякий раз, стоило ему явить готовность к воспоминаниям. По какой именно причине она так поступала, сказать было бы затруднительно, если только история, дошедшая до ушей миссис Ботерби, и в самом деле не была правдой, а именно: мистер Питерс, в настоящее время человек состоятельный, некогда получил образование в благотворительной школе для бедняков, а потому мог удариться в воспоминания о том, что носил мягкую шапочку с полями и кожаные штаны. Как обычно, супруг правильно воспринял намек жены и «удержался от ответа».

— Превосходный день для осмотра руин! — сказал юный Инголдсби. — Но, Чарльз, во что это вы облачились? Неужто собираетесь ехать по нашим дорогам в таком наряде?

— Душа моя! — воскликнула мисс Джулия Симпкинсон. — Разве вы не промокнете до нитки?

— Вам лучше взять кэб Тома, — высказался сквайр.

Однако это предложение было тут же отклонено; миссис Оглтон уже успела занять кэб — средство передвижения, лучше всего приспособленное для тайного флирта.

— Быть может, вы повезете мисс Джулию в фаэтоне?

Нет, это была обязанность мистера Питерса, который, будучи неважным наездником, успел стяжать некоторую известность как возница, объезжая центральные графства по делам фирмы «Бэгшоу, Снивелби и Граймс»[8].

— Благодарю вас, я поеду верхом со своими кузинами, — ответствовал Чарльз, изо всех сил напуская на себя беспечный вид.

Так он и поступил, а мистер Инголдсби, миссис Питерс, мистер Симпкинсон из Бата и его старшая дочь со своим альбомом отправились следом в семейной карете. Джентльмен незнатного происхождения высказался в том духе, что

---

[8] Сноски: 8

От *англ.* snivel — хныкать, ныть; grime — грязь, копоть.

«дело чертовски долгое», и вовсе отказался от прогулки в пользу егеря и сигары: «Было бы еще удовольствие смотреть на старые дома!» Миссис Симпкинсон предпочла ненадолго задержаться в кладовой тет-а-тет с миссис Ботерби, которая обещала посвятить ее в великую тайну — как превратить крыжовенный джем в желе из гуавы.

— Случалось ли вам видеть раньше старые аббатства, мистер Питерс?

— Старого аббата? Да, мисс, француза; у нас есть такой в Рамсгейте; он учит юных мисс Джонс «парле-ву»[9], и ему уже за шестьдесят.

Мисс Симпкинсон захлопнула свой альбом, и лицо ее изобразило крайнее презрение.

Мистер Симпкинсон из Бата был профессиональным антикваром, да к тому же одним из самых известных; он превосходно разбирался в геральдике Гвиллима[10] и в Миллсовой «Истории крестовых походов», знал каждую гравюру

[9] Сноски: 9

Parlez-vous — вы говорите *(фр.)*.

[10] Сноски: 10

Имеется в виду книга Джона Гвиллима «Обозрение геральдики» (*Guillim J.* A Display of Heraldry. London, 1610). — *Ред.*

«Монастикона»[11], написал эссе о происхождении и достоинстве должности попечителя и сумел датировать образчик фартинга королевы Анны[12]. Влиятельный член Антикварного общества, щедрый подписчик на их издание «Красоты Багнигг-Уэллса», что обеспечило мистеру Симпкинсону место в совете этого ученого органа, и с того счастливого дня у Сильванус Урбана[13] не было более неутомимого корреспондента. Его вступительное эссе о треуголке президента было признано истинным чудом эрудиции, а статья о самых ранних случаях золочения имбирных пряников — шедевром антикварных исследований.

Старшая дочь мистера Симпкинсона разделяла интересы отца; если она и не унаследовала «мантию его мудрости», то лишь потому, что он был в расцвете сил; однако юная особа ухватилась

---

[11] Сноски: 11

«Монастикон галликанум» — собрание гравюр с изображениями французских монастырей. — *Ред.*

[12] Сноски: 12

Отличительная особенность монет достоинством в фартинг, которые чеканили в правление королевы Анны, — узор на поверхности монеты.

[13] Сноски: 13

Сильванус Урбан — псевдоним Эдварда Кейва (1691–1754), британского книгопечатника, издателя и публициста, которому мы обязаны понятием «журнал». Основал «Журнал джентльмена», в котором и писал под этим псевдонимом.

за подол, пока мантия еще свисала с почтенных отцовских плеч. Каким же зрелищем для столь родственных душ были великолепные руины Болсовера! — его разбитые арки, ветхие шпили и воздушный узор полуразрушенных оконниц. Компания была в восторге; мистер Симпкинсон уже размышлял над эссе, а его дочь — над одой. Даже Сифорт, глядя на эти покинутые в небрежении памятники былых времен, на мгновение забыл о своей любви и потерях; вдова обратила лорнет с бакенбард своего чичисбея на плющ, что оплетал руины; миссис Питерс протерла очки, а «ее Пи» предположил, что центральная башня «когда-то была окружной тюрьмой». Сквайр, философ по натуре, уже бывал здесь раньше и потому приказал подать холодный язык и цыплят.

— Аббатство Болсовер, — провозгласил мистер Сноббидж с видом знатока. — Монастырь Болсовер был основан во времена правления Генриха Шестого, примерно в начале одиннадцатого века. Гуго де Болсовер сопровождал этого монарха в Святую землю в крестовом походе, предпринятом в качестве покаяния за убийство его юных племянников в Тауэре. После роспуска монастырей Гуго как ветеран получил права на земли и поместье, которым он дал свое имя Боулсовер, или

Би-оулс-овер[14] (искаженное Болсовер), — отсюда и герб: пчела во главе, над тремя совами, и все по праву являются гербовыми знаками, которые носил этот выдающийся крестоносец при осаде Акры.

— А! Так то был сэр Сидни Смит, — сказал мистер Питерс. — Я слыхивал о нем и о миссис Партингтон, и…

— Пи, замолчи и не выставляйся! — резко оборвала его супруга.

Пи замолчал и занялся бутылками со стаутом.

— Эти земли, — продолжал антиквар, — были пожалованы их владельцу за особые услуги, оказанные королю, а три белые совы и горшок меда…

— Душа моя! Как мило! — воскликнула мисс Джулия.

Мистер Питерс облизнул губы.

— Прошу вас, мои дорогие, позвольте мне в моем рассказе подойти к тому, что король отправляется в эти края на ловлю крыс…

— Ловля крыс! — воскликнул сквайр и застыл, позабыв о том, что жевал куриную ножку.

— Разумеется, мой дорогой сэр: разве вы не

---

[14] Сноски: 14
Bee-owls-over — букв. «Пчела-над-совами».

припоминаете, что когда-то, согласно лесному кодексу, крысы тоже считались дичиной — второразрядным видом оленины? «Мышей да крыс — вот мелкий скот, что бедный Том семь лет уж жрет»[15]. А? Шекспир, знаете ли. Наши предки употребляли в пищу крыс.

— Мерзость какая! — с содроганием вставила мисс Джулия.

— А совы, как вы знаете, отличные мышеловы…

— Я видел сыча, — сообщил мистер Питерс, — в Сохологическом саду, маленький такой крючконосый малый в парике, одни только перья и…

Бедняге Пи не суждено было закончить свою речь.

— Да замолкни же ты! — раздался властный голос, и горе-натуралист снова спрятался в своей раковине, как улитка в «Сохологическом саду».

— Вам следовало бы прочесть «Шутливые каденции» Блаунта, мистер Инголдсби, — продолжал Симпкинсон. — Блаунт был человек ученый! Да, сэр, его королевское высочество герцог Йоркский однажды заплатил серебряную подкову лорду Феррерсу…

---

[15] Сноски: 15
«Король Лир» (акт 3, сц. 1). Перев. М. Кузмина.

— Я слыхивал о нем, — неисправимый Питерс вмешался и тут. — Его ведь повесили в Олд-Бейли на шелковой веревке за то, что он застрелил доктора Джонсона.

Антиквар не удостоил вниманием прервавшего его, но, понюхав табаку, продолжал вещать:

— Серебряная подкова, сэр, полагается каждому отпрыску королевской семьи, который проезжает через одно из его поместий; и если вы заглянете в историю округа, которую сейчас публикует мой выдающийся друг, то обнаружите, что Лэнгхейл в графстве Норф принадлежал некоему Болдуину per saltum sufflatum, et pettem[16]; то есть он должен был каждое Рождество приезжать в Вестминстер-холл, совершать там прыжок, выкликать «Хем!» и…

— Мистер Симпкинсон, стакан хереса? — поспешно крикнул Том Инголдсби.

— Благодарю вас, сэр, ни капли. Этот Болдуин, по прозванию Ле…

— Но миссис Оглтон просит вас, сэр, она решительно настаивает, — еще более поспешно перебил Том, одновременно наполняя стакан и вручая его эрудиту, который, будучи прерван в

---

[16] Сноски: 16

Псевдолатинское изречение; per saltum — прыжком, скачком. — *Ред.*

разгар своей речи, принял и одним махом выпил все до дна, будто лекарственное снадобье.

— Что, скажите на милость, мисс Симпкинсон там обнаружила? — продолжал Том. — Что-то интересное! Только поглядите, как она строчит в альбоме.

Отвлекающий маневр имел успех; все как один посмотрели на мисс Симпкинсон, которая, будучи созданием слишком возвышенным для «земных радостей», устроилась поодаль на руинах алтарного камня и жадно фиксировала на бумаге свои впечатления; самый вид ее, взор, «блуждающий в возвышенном безумье»[17], — все указывало на то, что божественное откровение снизошло на нее. Отец ее поднялся и молча пошел к дочери.

— Вот ведь старый кабан! — пробормотал молодой Инголдсби, подразумевая, вероятно, кусок свинины, к которому только что приступил, однако, судя по быстроте, с которой этот кусок исчез, не так уж трудно было его прожевать.

Но что же все это время происходило с Сифортом и его прелестной Кэролайн? Случилось так, что их обоих одновременно привлек живо-

---

[17] Сноски: 17

Из пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (акт 5, сц. 1): «Поэта взор в возвышенном безумье / Блуждает между небом и землей». Перев. Т. Щепкиной-Куперник.

писный вид одной из тех высоких стрельчатых арок, которую мистер Хорсли Кертис, выдающийся знаток древностей, описал в своем романе «Хроники древности»[18] как «готическое окно саксонского ордера»; затем плющ, который так густо и красиво рос с другой стороны, заставил их обойти арку, чтобы взглянуть на него; затем оказалось, что вблизи плющ смотрится вполовину не столь эффектно, и поэтому они направились к небольшому холму ярдах в ста оттуда и, пересекая небольшой овражек, наткнулись на то, что в Ирландии называют «скверной ступенькой», и Чарльз вынужден был на руках перенести через нее кузину; а затем, когда настала пора возвращаться, Кэролайн ни за что на свете не захотела снова доставлять Чарльзу хлопоты, поэтому они избрали путь полегче, но более кружной, и на пути им встретились канавы, и живые изгороди, и приступки при изгородях, через которые нужно было перебраться, и ворота, через которые нужно было пройти, так что прошел час или больше, прежде чем Чарльз с кузиной сумели присоединиться к компании.

— Душа моя! — воскликнула мисс Джулия

---

[18] Сноски: 18

Томас Хорсли Кертис — английский писатель, автор ряда готических романов, среди которых «Удольфский монах» (1891).

Симпкинсон. — Как долго вас не было!

И это правда. Замечание это оказалось совершенно справедливым и совершенно естественным. Они долго не возвращались и премило поболтали по дороге, и как вы думаете, дражайшая моя мисс, о чем же?

— Помилуй бог! Несомненно, о любви, луне, глазах, соловьях и…

Остановитесь, остановитесь, моя прелестная юная леди, не позволяйте себе увлечься в пылу чувств! Не стану прикидываться, будто и в самом деле одна или две из этих очаровательных тем не были затронуты; но наиглавнейшей и наиважнейшей темой беседы послужили бриджи лейтенанта Сиферта.

— Кэролайн, — начал Чарльз, — с тех пор, как я прибыл в Таппингтон-мэнор, мне грезится нечто весьма необычайное.

— Ах вот как, грезится? — Юная леди улыбнулась и изогнула тонкую шею, точно лебедь во всей красе своего оперения. — И что же вам грезится?

— О, сны, точнее сказать, один сон; поскольку, хоть он и снится мне снова и снова, но повторяется в точности. И как вы думаете, о чем этот сон?

— Решительно не берусь угадать, — вымолви-

ли уста.

«Я угадаю без малейшего труда», — сказал взор так ясно, как только возможно.

— Во сне я видел… вашего прадедушку!

Тут что-то во взгляде Кэролайн изменилось.

— Моего прадедушку?

— Да. Старого сэра Джайлса или Джона, о котором вы мне рассказывали давеча! Он вошел в мою спальню в бархатном пурпурном плаще, при длинной шпаге и в шляпе с пером, на манер Рэли[19], — в точности как на портрете, но только за одним исключением.

— Каким же это?

— Его нижние конечности, вполне видимые глазу, были не из плоти, а представляли собой лишь кости.

— И…

— И, описав круг-другой по комнате и озираясь с задумчивым видом, он приблизился к изножью кровати и вперил в меня такой взгляд, который не передать словами, а затем он… он схватил мои панталоны, в мгновение ока надел их на свои костлявые ноги, важно прошествовал к зеркалу и с большим самодовольством стал рассматривать

---

[19] Сноски: 19

Речь идет об Уолтере Рэли (1552 или 1554–1618) — английском политическом деятеле, мореплавателе, поэте и историке.

собственное отражение. Я попытался заговорить, но тщетно. Однако усилие мое все же как будто привлекло внимание призрака, ибо он развернулся и продемонстрировал мне голый череп, а потом с самой жуткой ухмылкой, какую только можно вообразить, вышел вон.

— Глупости! Чарльз, как вы можете болтать подобную чепуху?

— Но, Кэролайн… бриджи и правда исчезли.

На следующее утро, вопреки своему обыкновению, Сифорт явился на завтрак первым. Поскольку, кроме него, не было ни души, он проделал ровно то самое, что на его месте проделали бы девять из десяти молодых людей: он приблизился к пылающему камину, уселся на каминном коврике и, подхватив фалды своего сюртука под руки, стал греть у огня ту часть своей анатомии, которую почитается равно неприличным предъявлять как другу, так и врагу. Серьезное, если не сказать встревоженное выражение читалось на его обычно добродушном лице, а губы уже сложились в трубочку, чтобы засвистать, когда малютка Фло, крошечный спаниель бленхеймской породы, — любимец и предмет нежнейшей привязанности мисс Джулии Симпкинсон, — выскочила из-под дивана и звонко затявкала на…

на панталоны Чарльза.

Они были искусно «пошиты» из светло-серой ткани, и широкий лампас самого яркого алого цвета тянулся вдоль каждой штанины от бедра до лодыжки, — короче говоря, то была форма Второго Бомбейского Королевского полка. Собака, воспитанная в сельской местности, никогда в жизни не видела таких бриджей — Omne ignotum pro magnifico![20]

Алая полоса, словно воспламененная отблеском огня, подействовала на нервы Флоры так же, как этот цвет действует на быков и индюков; собака совершила pas de charge[21], и ее лаю, как и изумлению, не было конца. Чувствительный пинок, последовавший от возмущенного офицера, остудил пыл собачки и заставил ее ретироваться в тот самый миг, когда хозяйка драчуньи подоспела ей на помощь.

— Душа моя! Фло, что случилось? — сочувственно вскричала дама, устремив на джентльмена испытующий взгляд.

С тем же успехом она могла бы проповедовать глухому. Невозмутимость Сифорта не поддава-

---

[20] Сноски: 20
Все неведомое кажется нам великолепным *(лат.).*

[21] Сноски: 21
Рывок *(фр.).*

лась истолкованию, и, поскольку Флора не могла, а он не желал ничего объяснить, молодая особа принуждена была проглотить обиду. Вскоре явились и прочие домочадцы и столпились у буфета, уже сервированного для самой приятной трапезы; кофейник, «кипящий с шипеньем», и чашки, что «бодрят, но не опьяняют», благоуханный дымящийся хайсон и пекое, кексы и джем, копченая пикша, а также свежие газеты — все это так манило, что никто и не обратил внимания на воинственную выходку Чарльза.

Наконец взгляд Кэролайн, за которым последовала улыбка, едва не перешедшая в смех, заставил Чарльза резко повернуться и обратиться к соседке. Ею оказалась мисс Симпкинсон, которая была столь занята чаем и листанием своего альбома, что была, словно «Хрононотонтологос»[22] в женском обличье, «погружена в размыслительную пучину раздумий». На вопрос о том, чем она занята, мисс Симпкинсон ответила, что в настоящее время полирует слог в новом стихотворении, вдохновленном романтическими сумерками Бол-

[22] Сноски: 22

«Хрононхотонтологос» (1734) — сатирическая пьеса Генри Кэри, считалась образцом нонсенса, но в то же время пародией на политика Роберта Уолпола и Каролину Бранденбург-Ансбахскую, жену короля Георга II.

совера. Разумеется, все собравшиеся тотчас стали упрашивать мисс Симпкинсон зачитать опус вслух. Особую настойчивость проявил мистер Питерс, «любивший стишки», и Сафо наконец поддалась на уговоры. Кашлянув и поглядевшись в зеркало, чтобы удостовериться, что вид ее достаточно сентиментален, поэтесса начала:

Спокойное, святое чувство,
Вульгарным недоступное умам
Во грудь мою закралось тихо, грустно,
И пребывает и поныне там.
Тоска смиренная и сладостная мука,
Что за блаженство ввечеру узреть,
Как тень от башни протянулась глухо,
Чтобы покорно к ночи умереть.

— Уо-оу! — Уе-еу! — Уо-оу! — Уе-еу! — раздались из-под стола страдальческие завывания.

Сегодня удача не благов!олила четвероногим, и если верна поговорка, что «каждой собаке выпадает свой счастливый день», то точно не в этот раз. Ибо у миссис Оглтон тоже имелся питомец — любимый мопс, чья приземистая фигура, черная морда и хвост завитушкой, похожий на кучерявую веточку сельдерея в салатнице, явно

указывали на его голландское происхождение.

— Уо-оу! — Уе-еу! — Уо-оу! — Уе-еу! — продолжал завывать грубиян, и к нему тотчас присоединилась Фло.

По правде сказать, у мопса было гораздо больше поводов выражать свое недовольство, чем одни лишь вирши мисс Симпкинсон; Фло же подтявкивала за компанию.

Едва поэтесса дочитала первую строфу, как Том Инголдсби, заслушавшись, так отвлекся от земного мира, что по рассеянности положил руку на кран кофейника. Расчувствовавшись, он столь неудачно повернул злосчастный кран, что обжигающий поток хлынул на лоснящуюся шерсть незадачливого Купидона. Поднялась невероятная суматоха. Вся сервировка пришла в беспорядок. Компания переполошилась до самой крайности. И теперь уже «вульгарным умам недоступно» будет поэтическое творение мисс Симпкинсон, пока они не прочтут его в каком-нибудь будущем ежегоднике.

Сифорт воспользовался неразберихой, чтобы схватить за руку виновника этого «бедлама» и увести его на лужайку, где они могли бы переговорить с глазу на глаз. Беседу молодых людей нельзя назвать ни краткой, ни безрезультатной.

Тема была, как говорят юристы, трехсторонней: обсуждалось, во-первых, то, что Чарльз Сифорт по уши влюблен в сестру Тома Инголдсби; во-вторых, что эта юная особа направила его за одобрением к «папе»; и в-третьих, что ночной гость наносил Чарльзу Сифорту визиты, за коими следовала утрата. По поводу первых двух пунктов Том благосклонно улыбнулся, а третий вызвал у него настоящий «гогот».

— Украл ваши бриджи! Снова мисс Бейли[23], ей-богу! Но с ваших слов выходит, то был джентльмен и к тому же сэр Джайлс. Право, Чарльз, я уже колеблюсь, не следует ли мне вызвать вас на дуэль за клевету на честь моего рода.

— Смейтесь сколько заблагорассудится, Том, и можете не верить мне. Одно неоспоримо — бриджи исчезли! Взгляните, я принужден носить форменные, а если исчезнут и они, придется позаимствовать эту часть туалета у вас!

Ларошфуко говорит, что в невзгодах наших лучших друзей мы всегда находим нечто даже приятное для себя, когда эти несчастия дают нам

---

[23] Сноски: 23

«Злосчастная мисс Бейли» («The Unfortunate Miss Bailey») — ирландская народная песенка, в которой привидение соблазненной служанки Бейли, покончившей с собой, мстит соблазнителю-военному, являясь ему по ночам.

возможность выказать друзьям нашу нежность; несомненно, в большинстве своем мы способны посмеяться над мелкими невзгодами ближнего, пока нас не попросят о помощи.

Том тут же овладел собой и ответил с большей серьезностью, применив ругательство, которое, окажись поблизости лорд-мэр, обошлось бы молодому Инголсби в пять шиллингов.

— Однако же во всем этом есть нечто крайне странное. Вы говорите, что предмет гардероба исчез бесповоротно. Кто-то разыгрывает с вами шутки, и ставлю десять против одного, если к этому не приложил руку ваш слуга. Кстати, вчера мне сказали, что он устроил какой-то тарарам в кухне и будто бы увидел привидение или что-то в этом роде. Будьте уверены, тут замешан Барни.

Тут только лейтенанта осенило, что Барни, обычно бойкий, в последнее время заметно поутих, сделался более молчаливым и что не далее как нынче утром пришлось несколько раз звонить в колокольчик, прежде чем он явился на зов.

Мистер Магуайр был немедленно вызван и тщательно допрошен. Случившийся «тарарам» объяснился легко. Мистер Оливер Доббс изъявил недовольство по поводу флирта, который завя-

зался между молодцом из Минстера и барышней с рю Сен-Оноре. Мадемуазель стукнула мистера Магуайра по уху, а мистер Магуайр усадил мадемуазель себе на колени, и та не вскричала свое «Mon Dieu!» А мистер Оливер Доббс сказал, что это очень дурно; а миссис Ботерби сказала, что подобное поведение «скандально» и неуместно на любой приличной кухне; а на это мистер Магуайр завладел пороховницей достопочтенного Огастеса Саклтамкина и насыпал несколько больших щепотей лучшего двойного «Дартфорда» в табакерку мистера Доббса; и трубка мистера Доббса взорвалась и подпалила воскресный чепец миссис Ботерби; мистер Магуайр затушил огонь, плеснув из помойной лохани, отчего чепец облепил экономке голову, и все они устроили в кухне такую свару, что Барни принужден был отправиться на прогулку по саду, и вот тогда-то — тогда-то он и увидел призрака!

— Кого? Ну ты и болван, Магуайр! — воскликнул Том Инголдсби.

— Так оно и было, и позвольте объяснить вашей милости, как все случилось, — продолжал созерцатель призраков. — Ваш покорный слуга и мамзель Полин, сэр, или мамзель Полин и ваш покорный слуга, поскольку дамы вперед, — сло-

вом, как бы там ни было, а только мы изрядно притомились от катавасии и ералаша, который подняло старичье. Им же шутку под самый нос сунь, а они ее и не распознают; так что вышли мы, значит, в сад поглазеть на комету — в здешних краях ее прозывают «звездной пеной»; и выходим мы это на лужайку, а никакой кометы оттуда и не видать, и мамзель Полин говорит: может, ее из-за кустов не видно, и отчего бы нам не пройтись за деревья и не поглядеть оттуда? Ну мы и пошли за деревья, но и там никакой кометы не увидели, а вместо нее — привидение, да еще какое!

— Привидение? И какое же привидение, Барни?

— Ох, черт меня возьми, если совру вашей милости. То был старый джентльмен высоченного росту, весь в белом, на плече лопата, а в руке большой фонарь. А только для чего ему все это добро, я не знаю, потому как глазища-то у него горели поярче всякого фонаря, не то что там луна или комета, которой и в помине не было. Старик и говорит мне: «Барни! — потому как он меня узнал. — Что это ты там делаешь с девицей, Барни?» Черт побери, тут у меня язык к глотке-то и присох. Мамзель Полин — та заголосила что-то по-французски и давай дёру; ну а я, понятное дело,

поспешил за дамой и со стариком дальше тарыбары разводить не мог; побежал я, значит, со всех ног, а призрак вспыхнул и сгинул в пламени!

Оба джентльмена отнеслись к рассказу мистера Магуайра с нескрываемым недоверием; но Барни упорно стоял на своем и твердил одно и то же. Он предложил даже призвать в свидетельницы мадемуазель Полин, но Сифорт и Инголдсби наотрез отказались, поскольку ни одна из сторон не имела желания заниматься столь деликатным расследованием.

— Вот что я вам скажу, Сифорт, — произнес Инголдсби, после того как Магуайра отпустили с миром. — Тут какой-то подвох, и то, что привиделось Барни, — может статься, часть этого подвоха. Мошенник он или дурак — вам виднее. Как бы там ни было, я покараулю с вами нынче вечером, и поглядим, удастся ли мне поближе познакомиться со своим предком. А до той поры — никому ни слова!

> *Настал тот самый час в ночи, когда вершится колдовство,*
>
> *Могил раскрылись пасти, извергая мертвецов*[24].

---

[24] Сноски: 24
Ричард Барэм. «Призрак».

Я бы с радостью расцветил свое повествование достойным ужасом и потому умоляю «благосклонного читателя» поверить, что, если все последующие события этой таинственной истории не будут изложены по порядку, читатель припишет их лишь постыдному влиянию современного упадка на здравые и достойные привычки наших предков. И верно, я могу ввести читателя в старинные покои с высокими потолками, где три стены из четырех покрыты панелями черного дуба, украшенными резьбой в виде плодов и цветов, — панелями, сделанными задолго до шедевров Глинлинга Гиббонса; четвертая же стена завешена прелюбопытными остатками древнего гобелена, на котором был изображен какой-то библейский сюжет, но какой именно — об этом ныне не скажет даже миссис Ботерби.

Мистер Симпкинсон, тщательнейшим образом изучив гобелен, утверждал, будто главная фигура на нем — это или Вирсавия, или пророк Даниил среди львов; в то время как Том Инголдсби отдавал предпочтение Огу, царю амореев. Однако все это были не более чем догадки, а предания о сюжете гобелена умалчивали. В дубовые покои вел высокий арочный проем, а арочный проем

поменьше выводил из него; располагались они друг напротив друга, и каждая из дверей надежно запиралась изнутри на тяжелые засовы. Изголовье кровати также было сделано не вчера, а в ту легендарную эпоху, когда добротное ложе с балдахином почиталось достойным королей.

Сама постель, со всеми необходимыми принадлежностями — матрасами, тюфяками и прочим, относилась ко временам гораздо более поздним и выглядела неуместно комфортабельно; оконные створки с маленькими ромбовидными стеклами и железной окантовкой уступили место современным примитивным оконным рамам.

Однако это было далеко не все, что могло испортить интерьер комнаты, оставляя его привлекательным лишь для призраков столь экстравагантного вида, что, явись они, на них был бы елизаветинский камзол и к нему «невыразимые» из модной лавки на Бонд-стрит. Ибо у каминного экрана, до безобразия современного, утвердив ноги в зеленых сафьяновых туфлях на столь же безобразно современной каминной решетке, сидели два молодых джентльмена, облаченные в шлафроки из узорчатой ткани и черные шелковые носки, явно диссонируя своим обликом с плетеными стульями с высокими

спинками, на которых устроились. Воплощенная мерзость, именуемая сигарой, смердела в левом углу рта у одного и в правом — у другого; удачное расположение способствовало тому, чтобы ядовитые табачные испарения поднимались через дымоход и сидящие не «коптили» друг друга, что непременно происходило бы, будь подход к табакокурению менее научным. Маленький раскладной стол стоял между ними, вмещая с каждой стороны по локтю сидящего и по стакану грога. Так в «уединенном задумчивом созерцании» коротали время два достойных джентльмена, когда «полночь языком своим железным двенадцать отсчитала»[25].

— Пробил час призраков! — сказал Инголдсби, извлекая из кармана жилета часы, похожие на золотую полукрону, и сверяясь с ними, — словно он подозревал, что башенные часы над конюшнями лгут.

— Тише! — воскликнул Чарльз. — Не послышались ли мне шаги?

Последовала пауза: раздались шаги — они звучали весьма отчетливо и вот поравнялись с дверью, замедлились, остановились и…

---

[25] Сноски: 25

Из пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (акт 5, сц. 1). Перев. Т. Щепкиной-Куперник.

Том метнулся через комнату, распахнул дверь и увидел миссис Ботерби, которая шла в свою комнату на другом конце галереи, предварительно напоив одну из захворавших горничных джулепом по рецепту из «Домашнего лечебника» графини Кентской[26].

— Доброй ночи, сэр! — сказала миссис Ботерби.

— Подите к черту! — вскричал разочарованный охотник за привидениями.

Миновал и час, и другой — но привидения все не появлялись, и ничто не превращало ночь в кошмар; а когда башенные часы наконец пробили три, Инголдсби, у которого терпение и грог были на исходе, вскочил со стула и сказал:

— Все это адская чепуха, мой дорогой друг. Черт возьми, мы сегодня ночью не увидим ни одного привидения; их урочный час давно прошел. Я отправляюсь спать; а что касается ваших панталон, я застрахую их по крайней мере на следующие двадцать четыре часа и готов заплатить за них.

— Разумеется. О! Благодарю вас, конечно! — про-

---

[26] Сноски: 26

«Домашний лечебник: редкостные и избранные секреты медицины и хирургии. Собраны и опробованы достопочтенной графиней Кентской» («Choice Manual: Or, Rare and Select Secrets in Physick and Chirurgery. Collected and Practised by the Right Honourable the Countess of Kent»). Популярный сборник, впервые изданный в 1726 г. Джоном Кларком и с тех пор выдержавший 22 переиздания.

бормотал Чарльз, пробуждаясь от задумчивости, которая успела уже перейти в крепкий сон.

— Спокойной ночи, мой мальчик! Крепко заприте за мной дверь и не обращайте внимания, кто бы сюда ни явился, хоть папа римский, хоть сам дьявол, хоть претендент[27].

Сифорт последовал совету друга и на следующее утро спустился к завтраку, облаченный так же, как и вчера. Чары были разрушены, демон побежден; светло-серые с красной полосой по швам панталоны все еще были in rerum natura[28] и украшали их законного владельца.

Том поздравил себя и своего напарника с результатом их ночного бдения; однако деревенская поговорка советует не хвалить коня на переправе, — Сифорту было еще далеко до берега.

На следующее утро стук в дверь застал Тома Инголдсби врасплох, когда он брился, и он порезался.

— Войдите, черт бы вас побрал! — сказал бедняга, прижимая большим пальцем ранку на

---

[27] Сноски: 27

Отсылка к памфлету Генри Филдинга «Диалог между папой, дьяволом и претендентом» («A dialogue between the devil, the Pope, and the Pretender», 1745).

[28] Сноски: 28

В природе вещей *(лат.)*.

лице. — Дверь открылась, и появился мистер Барни Магуайр.

— Ну, Барни, что стряслось? — спросил страдалец, переняв говор своего посетителя.

— Хозяин, сэр…

— Ну, что ему понадобилось?

— Он, ваша милость, просит одолжить ему панталоны.

— Как, неужели ты хочешь сказать, — силы небесные, это прямо великолепно! — вскричал Том, разразившись приступом неудержимого смеха. — Ну, Барни, ты же не хочешь сказать, что призрак снова завладел ими!

Мистер Магуайр не ответил на насмешку молодого сквайра; лицо его хранило самое серьезное выражение.

— Ей-ей, они исчезли, пропали, истинно так! Уж разве я сам не искал на кровати, и под кроватью, и в кровати, если уж на то пошло, и черт меня побери, если там нашлось хоть полштанины. Я совсем разумение утратил!

— А теперь вот что, мистер Барни, — сказал Том, неосторожно отняв большой палец от подбородка и позволив струйке крови «окрасить в красный

цвет»[29] мыльную пену на его шее, — может, с твоим хозяином эти трюки и пройдут, но меня не обмануть, сэр. Ну-ка, живо признавайся, что ты сделал с одеждой?

Столь резкий переход от «бойкости к строгости» со всей определенностью застал Магуайра врасплох, и на мгновение он, казалось, был настолько смущен, насколько вообще посильно смутить ирландского слугу.

— Я? По мнению вашей милости, я и есть этот самый призрак? — после минутной паузы ответствовал Магуайр с легким оттенком негодования в голосе. — Неужто я стащу хозяйское добро? Да и что бы я стал с ним делать?

— Уж это тебе лучше знать; какова цель, я гадать не берусь и думаю, что ты не «стащить» панталоны собираешься, как ты это назвал; я твердо убежден, что ты заинтересован в их исчезновении. Чертова рана! Дай же мне полотенце, Барни.

Магуайр повиновался.

— Могу поклясться, ваша милость, — торжественно сказал он, — ничегошеньки я не знаю о

---

[29] Сноски: 29

Отмоет ли с моей руки / Весь океан Нептунов эту кровь? / Верней, моя рука, морей коснувшись, / Их празелень окрасит в красный цвет. — У. Шекспир. «Макбет» (акт 2, сц. 2). Перев. М. Лозинского.

тех панталонах; а уж после того, что увидал…

— Что увидал! Так что же именно ты увидал? Барни, я не желаю вдаваться в подробности твоих амурных дел; но не надейся, что тебе удастся меня провести невинно округленными глазами да побасенками про призрака с огненным взором!

— Да я видал призрака собственными глазами, как вижу сейчас вашу милость, не сойти мне с этого места! И как же мне было его не видать, когда мамзель Полин тоже его видала и…

— Хватит с меня этого вздора, вон отсюда, сэр!

— Но как же хозяин? — взмолился Барни. — Как же он без панталон-то? Еще схватит простуду да расхворается…

— На, забирай, негодяй! — воскликнул Инголдсби и швырнул бриджи слуге или, скорее, в слугу. — Но не следует думать, сэр, будто подобные проделки и впредь останутся безнаказанными; и не следует забывать, что существует такая вещь, как ступальная мельница, и что отец мой — окружной мировой судья!

Глаза Барни вспыхнули огнем, он расправил плечи и хотел было что-то сказать; но, не без усилия овладев собой, схватил панталоны и вышел из комнаты, невозмутимый, как квакер.

— Инголдсби, — сказал Чарльз Сифорт после

завтрака, — это уже не шутки; сегодня последний день моего пребывания здесь; ибо, несмотря на удерживающие меня узы, приличия обязывают посетить отчий дом после столь долгого отсутствия. Я немедленно объяснюсь с вашим отцом о предмете, столь близкому моему сердцу, и отбуду, пока у меня еще осталась смена одежды. От его ответа будет зависеть мое возвращение! А пока скажите мне откровенно, — я спрашиваю это со всей серьезностью и как друг, — не стал ли я жертвой вашей хорошо известной склонности к мистификациям? Разве вы не причастны к…

— Нет, клянусь небом, Сифорт; я понимаю, о чем вы: слово чести, я столь же озадачен, как и вы; и если ваш слуга…

— Нет, он здесь ни при чем. Если тут и замешана какая-то хитрость, то он, по крайней мере, не посвящен в нее.

— Какая-то хитрость? Как, Чарльз, вы думаете…

— Я не знаю, что и думать, Том. Так же верно, как то, что вы живой человек, и то, что это привидение с ногами скелета вчера ночью вновь посетило мою комнату, ухмыльнулось мне в лицо и удалилось с моими панталонами, и я не смог вскочить с кровати или разорвать незримые пу-

ты, которые, казалось, приковывали меня к ней.

— Сифорт! — молвил Инголдсби после краткой паузы. — Я… Но тише! Вот барышни и мой отец. Я уведу дам и предоставлю вам возможность объясниться с батюшкой один на один: изложите ему вашу просьбу, а о ваших панталонах мы потолкуем позже.

Отвлекающий маневр Тому удался; он повел дам en masse[30] якобы посмотреть замечательный образчик растения семейства Dodecandria Monogynia, который они так и не смогли найти, в то время как Сифорт смело двинулся на штурм и одним ударом снес укрепления «батюшки». Не буду вдаваться в подробности атаки: достаточно сказать, что она принесла такую викторию, какой только и можно было пожелать, и что Сифорта снова отправили к дамам. Счастливый влюбленный последовал за интересующимися ботаникой и вскоре настиг их; и вот уже Чарльз крепко сжимал руку Кэролайн, немного отставшей от остальной компании в тщетных попытках записать по классификации Линнея название даффи-даун-дилли[31].

---

[30] Сноски: 30
Всех вместе *(фр.)*.

[31] Сноски: 31
Так в Англии называют желтые нарциссы. — *Ред.*

Что был им весь мир, его шум, его бессмыслица и пресловутые «панталоны»?

Сифорт находился на седьмом небе от счастья; в тот вечер он удалился в свою комнату таким счастливым, будто никогда и не слышал ни о каких злых духах, а его движимое имущество было так же надежно ограждено законом, как и недвижимое. Иное дело Том Инголдсби: тайна — а тайна, несомненно, существовала — не только возбудила его любопытство, но и задела его самолюбие. Прошлой ночью боевой дозор оказался напрасным, вероятно, по той причине, что Том нес его в открытую. Сегодня вечером он спрячется — не за гобеленом, поскольку то немногое, что от гобелена осталось, было, как мы уже убедились, прибито к стене, а в маленькой кладовке в углу «дубовых покоев»: если неплотно прикрыть дверцу, то оттуда можно видеть все, что происходит в комнате.

Там-то юный охотник за привидениями, запасшись крепкой тростью, и занял позицию за полчаса до того, как Сифорт отправился спать. В свою затею Том не посвятил даже друга, твердо решив, что если замысел не сработает, то виноват в неудаче будет только он сам.

В обычный час, когда все отправлялись спать,

Том увидел из своего укрытия, как лейтенант вошел в комнату и несколько раз прошелся по ней с таким радостным выражением лица, которое свидетельствовало, что все его мысли заняты главным образом скорым счастьем. Затем лейтенант начал неторопливо раздеваться: сюртук, жилет, черный шелковый галстук, за ними сброшены зеленые сафьяновые туфли, затем — да, и затем — лицо Чарльза приобрело серьезность; его, казалось, внезапно осенило, что у него остались лишь последние панталоны, причем не его собственные, и что завтрашнее утро будет для него последним в этом доме, и что, если он потеряет и эти бриджи… Взгляд его говорил о том, что решение принято: Сифорт застегнул ту единственную пуговицу, которую только что расстегнул, и улегся в постель, не совершив до конца трансформацию, — наполовину куколкой, наполовину личинкой.

Том Инголдсби утомленно следил за спящим при мерцающем свете ночника, пока бой часов, возвестив час ночи, не побудил его пошире приоткрыть дверцу, чтобы удобнее было наблюдать. Каким бы легким ни было это движение, но, судя по всему, оно привлекло внимание Чарльза: тот внезапно сел на постели, прислушался, а затем и

встал. Инголдсби уже приготовился обнаружить свое присутствие, но тут при свете ночника, ярко осветившего лицо его друга, заметил, что, хотя глаза Чарльза и открыты, «их чувства закрыты»[32], — и тот все еще во власти сна. Сифорт медленно подошел к туалетному столику, зажег свечу от стоявшей там лампы, затем, вернувшись к изножью кровати, казалось, нетерпеливо искал что-то и не мог найти. Несколько мгновений он, казалось, был чем-то встревожен, расхаживая по комнате и осматривая стулья. Подойдя вплотную к большому зеркалу-псише, стоявшему сбоку от туалетного столика, Чарльз остановился, словно бы разглядывая в нем свое отражение. Затем он вернулся к кровати, надел сафьяновые туфли и, крадучись, направился к маленькой двери, которая выходила на отдельную лестницу.

Когда он отодвинул засов, Том Инголдсби выбрался из своего укрытия, но лунатик не услышал его; Чарльз Сифорт тихо спустился по лестнице, сопровождаемый на должном расстоянии своим другом, открыл дверь в сад и сразу же оказался среди самого густого кустарника, который рос здесь у подножия угловой башни и

---

[32] Сноски: 32

У. Шекспир. «Макбет» (акт 5, сц. 1). Перев. М. Лозинского.

скрывал заднюю дверь от посторонних взоров. В этот миг Инголдсби чуть не испортил все дело, оступившись: легкий звук вспугнул Сифорта, он остановился и обернулся. И когда полная луна осветила бледное и настороженное лицо Чарльза, Том испуганно заметил, что взор его друга неподвижен и тускл.

Но мысли не было в глазах,
На что направлен взор?[33]

Полнейшая неподвижность, соблюдаемая преследователем, казалось, успокоила лунатика; он отвернулся, вытащил спрятанную в ветвях густого лавра садовую лопату и, вскинув ее на плечо, проворно углубился в заросли кустарника. Дойдя до того места, где, казалось, землю недавно вскапывали, он с усердием принялся за работу, пока, откинув несколько лопат земли, не остановился, не отбросил свой инструмент и не начал преспокойно снимать панталоны.

До этой минуты Том не сводил с лунатика взгляда; теперь же он осторожно двинулся вперед, и, пока его друг был занят тем, что выпутывался из своих одежд, завладел лопатой. Тем временем

[33] Сноски: 33

Чарльз Кингсли. «Глаукус, или Прибрежные чудеса» («Glaucus, or The Wonders of the Shore», 1855).

Сифорт достиг цели: на мгновение он замер со «знаменами, что вьются на ветру»[34], всецело занятый тем, что аккуратно сворачивал белье в тугой узелок, и совершенно не обращая внимания на дыхание небес, которое, как можно предположить, в такой момент и в таком положении «слишком грубо касалось его тела».

Он как раз собирался наклониться пониже, чтобы уложить панталоны в могилу, которую сам же для них и вырыл, когда Том Инголдсби подошел к нему сзади и плоской стороной лопаты…

Потрясение оказалось сильным: сколько нам известно, лейтенант Сифорт никогда больше не страдал сомнамбулизмом. Одни за другими его бриджи, брюки, шерстяные в рубчик панталоны, шелковое нижнее белье, серая форма с красными лампасами Второго Бомбейского полка были извлечены на свет божий — спасены из могилы, в которой были погребены слоями, точно рождественский пирог, и, после того как их хорошенько проветрила миссис Ботерби, снова годились к носке.

Семья, особенно дамы, посмеялись; Питерсы посмеялись; Симпкинсоны посмеялись; Барни

---

[34] Сноски: 34
Ричард Барэм. «Призрак».

Магуайр воскликнул: «Черт побери!», а мадемуазель Полин — свое «Mon Dieu!»

Чарльз Сифорт, не в силах выдержать насмешек, подстерегавших его со всех сторон, отбыл на два часа раньше намеченного — однако в скором времени возвратился и, повинуясь просьбе тестя, отказался от охоты на раджей и отстрела набобов и повел свою застенчивую невесту к алтарю.

Мистер Симпкинсон из Бата на церемонии присутствовать не смог, так как находился на грандиозном съезде ученых мужей, которые тогда собрались со всех уголков цивилизованного мира в городе Дублине. Его эссе, доказывающее, что земной шар — это огромный ком заварного крема, взбитого вихрями и сваренный электричеством, несколько перепеченный на острове Портленд и недопеченный в торфяниках болота Аллена, — получило высочайшую оценку и едва не завоевало Бриджуотерскую премию.

Мисс Симпкинсон и ее сестра были на свадьбе подружками невесты; первая написала эпиталаму, а вторая воскликнула «Душа моя!» при виде парика священника. С тех пор прошло несколько лет; брачный союз Чарльза и Кэролайн увенчался двумя-тремя хорошенькими маленькими ростками семейного древа, из которых мастер Недди

— «дедушкин любимец», а Мэри-Энн — маменькина «булочка». Я лишь прибавлю, что мистер и миссис Сифорт живут вместе так счастливо, как только могут жить два добросердечных и добродушных, очень любящих друг друга человека, и что со дня женитьбы Чарльз не выказывал склонности выпрыгивать из постели или бродить по ночам на воздухе, — хотя, несмотря на всю его готовность следовать каждому желанию и прихоти молодой жены, Том намекает, что прелестная Кэролайн все еще иногда пользуется этим, чтобы «надеть панталоны».

Э. и Х. Херон

История Грей-хауса

Перевод А. Бродоцкой

Мистер Флаксман Лоу утверждает, что лишь единожды взялся за расследование загадочных потусторонних явлений по собственному почину. Этот случай он всегда называет «Дело о Грей-хаусе». Этот дом значится под другим названием в анналах отнюдь не одного научного общества, и странные подробности истории, которая сильно раздвинула горизонты наших представлений об ужасном и фантастическом, вызывают жаркие споры. О Грей-хаусе написаны статьи и исследования едва ли не на всех европейских языках, и это пролило свет на множество леденящих душу фактов более или менее аналогичной природы. Поначалу возникли сомнения, стоит ли знакомить публику с этой историей, хотя у нее и есть объяснение — кошмарное, но все же не совсем безосновательное. Однако в дальнейшем было принято решение включить ее в настоящий сборник.

Засушливым летом 1893 года мистер Лоу по воле случая остановился в уединенной деревушке

на Девонском побережье. Он был всецело поглощен изучением ископаемых находок, связанных с древнескандинавскими календарями, а посему из всех местных жителей общался только с одним человеком — это был некий доктор Фримантл, и он, помимо врачебного дела, неплохо знал еще и ботанику.

Как-то днем, совершая совместную автомобильную прогулку, мистер Лоу и доктор Фримантл очутились в долине, подобно чаше прятавшейся среди холмов в нескольких милях от берега. Проезжая через нее по проселку, который вел круто в гору и с обеих сторон был обсажен густым кустарником, разросшимся и нависавшим над головой, они в просвете среди листвы заметили серую двускатную крышу, видневшуюся над ветвями раскидистого кедра.

Флаксман Лоу указал на нее спутнику.

— Это дом молодого Монтессона, — ответил Фримантл, — и слава у него самая недобрая. Впрочем, не по вашей части, — добавил он с улыбкой. — Кошмарная слава этого дома вызвана отнюдь не обитающими в нем привидениями, а чередой произошедших здесь загадочных убийств.

— Похоже, сад давно заброшен. Пожалуй, я

нигде не видел таких зарослей.

— На Британских островах подобного уж точно быть не может, — отозвался Фримантл. — Усадьба опустела, отчасти потому, что Монтессон не хочет здесь жить, отчасти потому, что невозможно найти работников, которые согласились бы приблизиться к дому. Климат в наших краях теплый и влажный, дом расположен уединенно, поэтому зелень и разрослась так буйно. В низине протекает ручей, и я думаю, что под пригорком, там, где виднеется полоса желтой африканской травы, образовалось настоящее болото.

Фримантл прибавил скорости, и они выехали на гребень холма. Оттуда была видна пышная растительность, подернутая пеленой поднимающегося тумана, который заволакивал крышу Грей-хауса.

— Да, — сказал Фримантл в ответ на замечание мистера Лоу. — Сторож Монтессона, который жил здесь и присматривал за усадьбой в отсутствие хозяина, превратил эти угодья в субтропический сад. Когда-то бродить по нему было для меня одним из величайших удовольствий, но я женился, и супруга, наслушавшись всяческих россказней, этого не приветствует.

— Что же может с вами случиться?

— Я могу погибнуть, — кратко отвечал Фримантл.

— От чего? От малярии?

— Нет, не от болезни, друг мой. Убитые в Грейхаусе были повешены!

— Повешены? — изумленно повторил Флаксман Лоу.

— Да, повешены. Именно повешены, а не просто задушены, как показывают следы на шее. Если бы здесь был замешан призрак, вы могли бы провести расследование. Монтессон был бы вам только благодарен, если бы вам удалось разгадать загадку.

— Расскажите поподробнее.

— Я расскажу все, что знаю сам. Отец Монтессона умер лет пятнадцать назад, назначив ему в опекуны дальнего родственника по имени Лемперт, который, как я уже упомянул, был садоводом-любителем и высадил вокруг дома всевозможные заморские цветы и кустарники в восхитительном разнообразии. Лемперта в округе недолюбливали, и его внешность лишь способствовала общей неприязни — косоглазый, лицо, похожее на свиную морду, и манера подходить бочком, по-крабьи, и никогда не смотреть в глаза собеседнику. Он погиб первым.

— Его тоже повесили? Или он повесился сам?

— В его случае ни то ни другое. С ним приключился какой-то припадок, прямо перед домом, когда он высаживал свое очередное приобретение. Если бы не свидетельства тех, кто был тогда рядом, я бы сказал, что его смерть последовала от какого-то страшного душевного потрясения. Но и садовник, и родственница покойного, миссис Монтессон, единодушно заявили, что он отнюдь не перенапрягся и не узнал никаких неприятных новостей. Он был вполне здоров, и я не видел никаких существенных причин для его смерти. Он просто садовничал — и, по-видимому, укололся о гвоздь: на указательном пальце была капелька крови.

Затем все шло хорошо года два, но потом, во время летних каникул, случилась беда. Монтессону тогда было, наверное, лет шестнадцать, и у него был гувернер. Жили в усадьбе и его мать и сестра — хорошенькая девушка несколькими годами старше. Однажды утром девушку нашли на гравии под окном — мертвой. Послали за мной, и после осмотра я обнаружил поразительный факт: ее повесили!

— Убийство?

— Разумеется, убийство, хотя мы не нашли

никаких следов убийцы. Девушку похитили из спальни и повесили. Затем веревку убрали, а бедняжку выбросили из окна, под которым она и лежала. Преступление стало настоящей сенсацией в округе, и полиция долго им занималась, но расспросы так ничего и не дали. Недели через две Платт, гувернер, сидел и курил у открытого окна кабинета. А утром его обнаружили перевесившимся через подоконник. В том, как он встретил свою смерть, не было никаких сомнений: мало того что у него осталась глубокая борозда от веревки поперек горла, но и шея его была сломана аккуратно, как в Ньюгейтской тюрьме! Однако, помимо этого, как и в предыдущем случае, ничто не указывало на то, как он встретил свою смерть: ни веревки, ни следов чьих-то ног или борьбы, которые позволили бы заподозрить присутствие посторонних, одного или нескольких. Но я могу сказать на основании фактов, что это не могло быть самоубийством!

— Вижу, у вас были какие-то подозрения, — сказал Флаксман Лоу.

— Да, были. Но дело было давно, и теперь я думаю, что, вероятно, ошибся. Должен объяснить, что ветви кедра, который вы видели, тянутся к окнам комнат, которые занимали соответствен-

но мисс Монтессон и Платт в момент гибели, и не доходят до них на несколько футов. Я уже говорил вам, что никаких следов, ведущих к дому, не нашли. Поэтому мне пришло в голову, что человек достаточно сильный и ловкий мог прыгнуть с кедра в открытые окна и затем сбежать тем же путем, поскольку окна открываются вертикально, и, если обе створки открыты, промежуток между ними довольно велик. Но убийства были настолько бесцельными и случайными, что поневоле приходила в голову мысль о слепой силе, не наделенной разумом.

Мне вспомнился рассказ Эдгара По об убийстве на улице Морг, где, как вы помните, преступление совершал орангутан. Я не исключал, что Лемперт, который был человеком замкнутым и чудаковатым, мог, помимо всего прочего, купить обезьяну и выпустить ее на волю в лес. Поэтому я как следует обыскал и парк, и все угодья, но мы так ничего и не нашли, и я давно отбросил эту идею.

Лоу некоторое время молча обдумывал услышанное, затем уточнил даты всех трех смертей. Фримантл ответил со всей определенностью, и оказалось, что все убийства произошли в одно и то же время года, то есть летом. Тогда мистер

Лоу предложил расследовать их как дела с участием потусторонних сил, если Монтессон не станет возражать. В ответ Монтессон первым же поездом примчался в Девон и попросил разрешения сопровождать мистера Лоу во время его изысканий.

Флаксман Лоу быстро обнаружил, что общество Монтессона может оказаться очень полезным для него. Монтессон был блондин плотного сложения, человек явно волевой и с сильным характером. Лоу отложил свои книги и сразу же вместе с Монтессоном отправился обследовать Грей-хаус, пока солнце еще не село.

Трудно подобрать слова, чтобы описать все пышное буйство дикой растительности, сквозь которую им приходилось продираться. Молодая, сочная, роскошная листва застилала и отчасти скрывала сырую гниющую старую поросль под ней. Пробравшись сквозь заросли высокого тростника, под толстым ковром которого разливался ручей, стремительно превращавший сад в болото, Лоу и Монтессон вышли на открытое пространство, когда-то бывшее лужайкой вокруг дома.

Под нестрижеными деревьями буйно разрослись сорняки и кусты ежевики. Там и сям цвели

экзотические растения. При приближении людей лишь ласка метнулась прочь по узкой тропе, грязной и заросшей крапивой, — эта тропа вела вглубь почернелых кустов вокруг дома. В остальном всюду царило запустение; казалось, ни один листок не дрогнет в этот безветренный знойный день. Приземистый серый фасад был увит лианами с темными листьями и красными цветами наподобие орхидей, а чуть левее Лоу заметил кедр, о котором упоминал доктор Фримантл.

Лоу медленно подошел к оплетенной вьюном покосившейся калитке, выходившей на лужайку, и впервые подал голос.

— Расскажите мне о нем. — Он кивнул в сторону дома.

Монтессон повторил уже знакомую историю, но с некоторыми подробностями:

— Отсюда видно то самое место, где все происходило. Верхнее из этих двух окон в тени кедра, окруженных лианой, — бывшая комната моей сестры, а нижнее — окно кабинета, где погиб Платт. Гравийная дорожка внизу тянулась вдоль всего фасада, но теперь заросла. Фримантл рассказывал вам о Лоуренсе?

Лоу покачал головой.

— Мне невыносимо даже смотреть на этот

дом, — хрипло проговорил Монтессон. — Его ужасная тайна у меня будто в крови. Не могу забыть… Мать уехала в тот день, когда погиб Платт, и больше ни разу здесь не была. Но когда я стал совершеннолетним, я решил предпринять еще одну попытку пожить здесь, надеясь, что при этом мне подвернется случай разобраться в событиях прошлого. Я велел расчистить территорию вокруг дома и, выпустившись из Оксфорда, приехал сюда с однокурсником по имени Лоуренс. Мы провели здесь пасхальные каникулы за чтением, и все шло неплохо. Тем временем я осмотрел весь дом, чтобы обнаружить какой-то тайный вход или комнату, но ничего подобного не нашлось. В этом доме нет призраков. Ничего сверхъестественного здесь никогда не видели и не слышали, ничего, кроме двух жутких бессмысленных убийств!

Через несколько мгновений он продолжил рассказ:

— Следующим летом Лоуренс снова приехал со мной. Однажды жарким вечером мы курили, прогуливаясь по гравию под окнами. Ярко светила луна, и я помню тяжелый аромат этих красных цветов. — Монтессон огляделся со странным выражением. — Я отлучился за сигарой. Мне

потребовалось несколько минут, чтобы выбрать нужную коробку и раскурить сигару. Когда я вернулся, Лоуренс лежал у стены скорчившись, словно упал с большой высоты, и был мертв. Вокруг его шеи шла та же синеватая борозда, которую я видел в двух других случаях. Можете представить себе, каково это — оставить человека живым и здоровым всего на пять минут, а вернувшись, найти его мертвым, причем, судя по всему, повешенным! И, как всегда, никаких следов ни веревки, ни борьбы, ни убийцы!

Задав несколько вопросов, мистер Лоу предложил войти в дом. Было очевидно, что его покидали в спешке. В комнате, которую когда-то занимала мисс Монтессон, лежали ее девичьи сокровища — пыльные, выцветшие, поеденные молью. На пороге Монтессон остановился.

— Бедная малютка Фэн! Все так, как она это оставила! — пробормотал он.

Кедр за окном бросал в комнату мрачную тень, диковинные красные цветы неподвижно висели в раскаленном воздухе.

— Окно было открыто, когда нашли вашу сестру? — спросил Лоу, осмотрев комнату.

— Да, стояла жара — начало августа. С тех пор в этой комнате никто не жил. После истории с

Платтом я старался не заглядывать в это крыло, так что мы с Лоуренсом решили покурить на этом участке лужайки по чистой случайности.

— Значит, можно предположить, что неведомая опасность подстерегает только по эту сторону дома?

— По-видимому, да, — ответил Монтессон.

— Вашу сестру видели живой в последний раз в этой комнате? А Платта — в комнате прямо под ней? А вашего друга?

— Лоуренс лежал на гравийной дорожке прямо под окном кабинета. Все они погибли в тени кедра. Это ведь Фримантл натолкнул вас на такую мысль? Гибель бедняги Лоуренса заставила отмести его теорию. Никакая обезьяна не выжила бы в Англии целых пять лет на воле, к тому же в любом случае ей нужно было бы где-то скрываться.

— Пожалуй, — рассеянно отозвался Лоу. — А теперь нам следует постараться найти смысл во всем этом. Чувствуете ли вы себя в силах — учитывая все, что вам довелось пережить в этом доме, — чувствуете ли вы себя в силах остаться здесь со мной на одну-две ночи?

Монтессон снова встревоженно обернулся через плечо.

— Да, — сказал он. — Я знаю, мои нервы не

так спокойны и крепки, как следовало бы, но я поддержу вас. К тому же вы не найдете в наших краях больше никого, кто был бы готов так рискнуть. Вы видите, что это не призрак и не какая-то воображаемая сила, — вам грозит самая реальная опасность. Подумайте хорошенько, мистер Лоу, прежде чем пускаться в такую авантюру.

Лоу посмотрел в голубые глаза Монтессона, устремленные на него. Это были глаза усталые и беспокойные — и в сочетании со сжатыми губами и выпяченным квадратным подбородком они сказали Лоу о том, какая внутренняя борьба идет в этом человеке — между расшатанными нервами и сильной волей, которая сдерживает их.

— Если вы поможете мне, я постараюсь докопаться до сути, — сказал Лоу.

— Не уверен, что мне следует позволять вам так рисковать своей жизнью, — отозвался Монтессон и провел рукой по лбу, изборожденному ранними морщинами.

— Но почему же? Кроме того, я сам вызвался. Что касается риска для жизни, мы действуем во благо человечества.

— Не могу сказать, что мной движет то же самое, — удивленно отвечал Монтессон.

— Если мы лишимся жизни, то лишь потому,

что старались сделать этот уголок земли чистым, здоровым и безопасным для жизни человека. Когда речь идет о преступлении, изловить убийцу — наш долг перед обществом. А здесь у нас действует какая-то убийственная сила непостижимой природы — и разве мы не должны точно так же стараться уничтожить ее, даже рискуя собой?

Итогом этой беседы было решение провести ночь в Грей-хаусе. Около десяти часов вечера Лоу и Монтессон отправились в путь, намереваясь пройти той же тропой, которую более или менее успешно расчистили себе днем. По совету Флаксмана Лоу Монтессон взял с собой длинный нож. Ночь была необыкновенно жаркая и тихая, и путь им озарял лишь тонкий серп луны. Они пробирались сквозь кусты, спотыкаясь о спутанные корни и сорняки, и искали дорогу буквально ощупью, пока не очутились у калитки возле лужайки. Там они ненадолго остановились, чтобы посмотреть на дом, высившийся посреди диковинного моря зелени, и на тусклую луну — она висела низко над горизонтом, бросая тусклые блики на окна и запустелые окрестности. В это время над лужайкой пролетела сова, ухая и хлопая крыльями.

В любой момент им предстояло схватиться с загадочной смертоносной силой, обитавшей в усадьбе. Теплый, проникнутый запахом зелени воздух и зловещие тени словно искрились, заряженные чем-то неведомым и зловещим. Когда Лоу и Монтессон подошли к дому, Лоу уловил тяжелый сладкий аромат.

— Что это? — спросил он.

— Так пахнут те алые цветы. Невыносимо! Их завез сюда Лемперт, — раздраженно ответил Монтессон.

— В которой из комнат вы проведете ночь? — спросил Лоу, когда они очутились в холле.

Монтессон ответил не сразу.

— Вы слышали, как седеют от страха? — И он рассмеялся в темноте. — Это обо мне!

Его смех Флаксману Лоу не понравился: Монтессон был всего на волосок от истерики, причем на самый тоненький волосок.

— Мы ничего не обнаружим, если не будем сидеть в одиночестве у раскрытого окна, как они, — сказал Лоу.

Монтессон взял себя в руки.

— Да, пожалуй, вы правы. Они были одни, когда… Доброй ночи. Если что-то случится, я позову вас, и вы должны поступить так же. Только, ради

бога, не усните!

— И помните, что бы к вам ни прикоснулось, отсекайте это ножом, — напутствовал его Лоу.

Он постоял на пороге кабинета, слушая тяжелые шаги Монтессона, удалявшегося вверх по ступеням, поскольку тот предпочел провести ночь в комнате сестры. Лоу услышал, как Монтессон наверху прошел к окну и распахнул его.

Вернувшись в кабинет, мистер Лоу тоже попытался открыть окно, но обнаружил, что это невозможно, так как вьющаяся лиана плотно оплела деревянную раму и намертво скрепила створки вместе. Оставалось только одно: выйти из дома и встать там, где в роковую ночь стоял Лоуренс. Лоу осторожно обошел дом и очутился с его южной стороны.

Там он около часа мерил шагами лужайку в темноте.

В обманчивом радужном свете луны ему померещилось, что из тени кедра ему кивает чья-то бледная голова, но, метнувшись туда, он схватил лишь желтое соцветие гигантского крестовника. Тогда он замер и всмотрелся в ветви над головой — скрюченные черные ветви в бахроме из липкой черной хвои. Теория Фримантла о гигантской обезьяне, которая пробиралась по ним и прыгала

на жертв, внезапно обрела в мыслях Лоу правдоподобие, и его охватил ужас. Он представил себе девушку, проснувшуюся оттого, что ее схватило ужасное чудовище…

Напряженную тишину ночи расколол вопль — а точнее, рев, сиплый, прерывистый, пульсирующий рев, прекратившийся так же резко, как начался.

Не медля ни секунды, мистер Лоу схватился за ближайшую ветвь и, подтянувшись, поспешно вскарабкался к окну комнаты Монтессона, откуда, как он почти не сомневался, доносился вопль. Будучи человеком необычайно сильным и натренированным, он прыгнул с ветки в открытое окно и кубарем скатился на пол. При этом мимо него что-то мелькнуло — что-то извивающееся, быстрое, наподобие змеи, — и исчезло за окном!

Лоу вспомнил, что на туалетном столике есть свеча; он встал на ноги, зажег ее и осмотрелся.

Монтессон лежал на полу скорчившись — именно так он когда-то описывал позу Лоуренса. Лоу сразу вспомнил об этом и в ужасе бросился к бедняге. На щеке Монтессона виднелось какое-то темное пятно, похожее на кровь, однако он был жив, хотя и без сознания. Лоу поднял его, уложил на постель и, как мог, постарался привести в

себя, но безуспешно. Монтессон лежал, будто окаменелый, и его дыхание, медленное, почти неощутимое, свидетельствовало о глубоком обмороке.

Лоу хотел было подойти к окну, но свеча внезапно погасла, и он остался в сгущавшейся темноте, в сущности, один — и ему предстояло столкнуться с неведомым, но вполне реальным убийцей.

В доме снова воцарилась тишина — то есть тишина ночи, леса, густой листвы и всего того, что таит в себе ночь.

Лоу замер у окна и прислушался. Шепот и шелест казались ему резкими, пульсирующими — он словно слышал их за много миль. Запах алых цветов просочился в мозг, словно ядовитые фимиамы, и Лоу попятился от окна и, внезапно обессилев, бросился на диван. Тогда он вытащил нож, который носил на поясе, и не без труда заставил себя насторожиться.

Он знал, что ожидать нападения следует скорее всего из окна. Слабый неверный свет луны, пронизывавший листья и усики лианы, постепенно померк. Должно быть, небо затянуло облаками: влажная духота стала еще более гнетущей.

Низкий подоконник был всего в футе от пола, и Флаксману Лоу померещилось, что по ковру

в тени густой листвы что-то ползет, но темнота сгустилась настолько, что он не мог ни в чем быть уверен. Монтессон дышал уже спокойнее. Стояла глубокая ночь, и теперь не было слышно ни звука.

Внезапно Лоу ощутил легкое прикосновение к колену. Он был всецело поглощен слушанием, и внезапное пробуждение другого чувства заставило его вздрогнуть. Теперь он ощущал эти прикосновения — быстрые, легкие, мягкие — по всему телу, там и здесь, словно какое-то животное обнюхивало его во тьме. Потом что-то гладкое и холодное прижалось к его щеке.

Лоу вскочил и наобум замахал в темноте ножом.

В этот миг что-то обхватило его и стиснуло — что-то гибкое и змеевидное вмиг обвило кольцами его руки и тело, словно лассо.

Флаксман Лоу был почти обездвижен в тугой хватке — но чьей же? Щупалец какого-то неведомого создания? Или это и вправду была огромная змея — явно разумное существо, норовившее дотянуться до горла? Нельзя было терять ни секунды. Нож был прижат к его телу, и Лоу бешеным усилием развернул его лезвием от себя и резко полоснул по сжимавшимся кольцам. Руку

окатило струей вязкой жидкости, и щупальце обмякло, отпустило Лоу и упало куда-то в густую мглу.

Утром Монтессон пришел себя в одной из комнат на первом этаже, в противоположном крыле здания. Рядом сидел Фримантл.

— В чем дело? — спросил Монтессон. — Ах да, теперь помню. Вот и Лоу. Оно снова победило нас, Фримантл! Это безнадежно. Я не знаю, что произошло. Я не спал — и вдруг ощутил, как что-то схватило меня, подняло и потащило к окну, придушив живыми веревками. Только взгляните на Лоу! — сипло воскликнул он, приподнимаясь. — Какой кошмар, вы весь в крови!

Флаксман Лоу посмотрел на свои руки.

— Похоже на то, — проговорил он.

— Оно победило даже вас, Лоу! — продолжал Монтессон. — В этом проклятом доме обитает что-то куда ужаснее и реальнее любого призрака! Только посмотрите! — Он потянул вниз воротничок. Поперек горла тянулась бледная синеватая полоса, испещренная точками кровоизлияний.

— Это какой-то вид ядовитых змей! — воскликнул Фримантл.

Лоу сидел в задумчивости, оседлав стул.

— Жаль, что я не могу согласиться ни с кем из

вас. Однако я склонен думать, что мы имели дело не со змеей — правда, мы могли бы, пожалуй, с некоторой натяжкой назвать его призраком. Все указывает лишь в одном направлении.

— Ваше стремление вопреки всему искать сверхъестественный смысл мешает вам рассуждать логически, и вы напрасно это допускаете, — сухо заметил Фримантл. — Разве призрак обладает настоящей, материальной силой? Более того, разве у него может быть кровь?

Монтессон, разглядывавший свою шею в зеркале, быстро обернулся.

— Это какое-то ужасное творение природы, нечто среднее между змеей и осьминогом! Что вы скажете на такое, Лоу?

Лоу строго посмотрел на него.

— Что бы ни возражал Фримантл, логическая цепочка вполне отчетливо прослеживается с начала и до конца.

Фримантл и Монтессон недоверчиво переглянулись.

— Мой дорогой друг, изнурительные ученые занятия помутили ваш разум. — Фримантл смущенно засмеялся.

— Прежде всего, — продолжал Лоу, — мы знаем, где погибли все жертвы.

— Строго говоря, они все погибли в разных местах, — парировал Фримантл.

— Верно; но это было в пределах строго ограниченной территории. Небольшие различия оказали мне весьма существенную помощь. Все эти случаи произошли вблизи одного объекта…

— Кедр! — воскликнул Монтессон, охваченный волнением.

— Такова была моя первая версия, но теперь я имею в виду стену. Не могли бы вы сказать мне, сколько примерно весили Лоуренс и Платт в момент гибели?

— Платт был невысок — должно быть, он весил меньше девяти стоунов. Лоуренс, хотя был значительно выше, отличался худобой и едва ли весил больше одиннадцати. А что касается бедной малютки Фэн, она была совсем миниатюрной.

— Три человека были убиты, одному удалось спастись. Чем вы отличаетесь от остальных, Монтессон? — спросил Лоу.

— Если вы имеете в виду, что я вешу больше всех, то так и есть, безусловно. Во мне около пятнадцати стоунов. Но что это меняет?

— Решительно все. Очевидно, у этих колец недостаточно силы, чтобы лишить человека жизни, просто удушив его. Нужно еще и повесить

жертву. Вы оказались для них слишком тяжелым, и они с вами не справились.

— Но что это за кольца?

— Вот они.

Лоу поднял руку с зажатым в ней то ли побегом, то ли щупальцем — заостренным к концу, красновато-бурым, с редкими треугольными зубами, окаймленными алым. Его собеседники уставились на непонятный предмет, а потом Монтессон выпалил:

— Это же лиана на стене! — В его голосе звучало разочарование. — Не может быть! И к тому же — разве у этого растения есть кровь?

— Давайте пойдем и посмотрим на него, — сказал Лоу. — Этот плющ никогда не срезали, поскольку каждую зиму он полностью увядает, а летом отрастает снова. Смотрите! — Он достал нож и отсек кожистый побег. Брызнул сок, и на манжете появилось темно-красное пятно. — Насколько я знаю, единственным, кто резал эту лиану, был мистер Лемперт, когда он прикреплял ее к стене. Он умер от потрясения, увидев на пальце красную каплю, поскольку что-то знал о смертоносных свойствах этого растения. Однако, хотя оно может одурманить, что и показало ваше состояние нынешней ночью, Монтессон, это не

смертельно. Даже для того, чтобы лишить жертву сознания, соки должны проникнуть в кровь. Все убийства произошли в пределах досягаемости для щупалец этого растения. А еще — в одно время года, то есть в то время, когда плющ разрастается пышнее всего. Монтессону удалось спастись еще и благодаря нынешней засухе. Этим летом лиана разрослась хуже обычного, верно?

— Да, ее побеги тоньше — гораздо тоньше и короче.

— Вот именно. Так что ваш вес спас вас, хотя ядовитые шипы и вызвали временное оцепенение. Я этого боялся и предупреждал, что нужно пустить в ход нож.

— Но где же у него мозг? — воскликнул Фримантл. — Неужели у него есть и воля, и знания, и злые намерения?

— У него самого, насколько я понимаю, нет, — отвечал Лоу. — Возможно, вы припишете все случившееся длинной цепочке совпадений, однако я предлагаю иное объяснение, которого веками придерживались оккультисты других стран. И Пифагор, и другие мыслители учили, что душа всякий раз, при каждой инкарнации, воплощается в новой форме — либо высшей, либо низшей. Вспомните учение браминов — и,

добавлю, различных африканских племен, — согласно которому дух смертного существа в момент внезапной или безвременной гибели может вселиться в растения или деревья определенных видов, поскольку эти растения от природы привлекают к себе подобные сущности. Далее, говорят, что такой душе, воплотившейся в низшей форме, на некоторое время даруется способность к осознанным действиям, добрым или злым, и эти действия влияют на дальнейшие инкарнации.

— Что вы имеете в виду? В чем вы пытаетесь убедить нас? — спросил Монтессон и осекся.

— В нашу эпоху неверия трудно облечь подобное в слова, — сказал Лоу, — однако мы знаем, что рядом с этим растением умер человек, скажем так не очень хороший, причем он был привит его соком. Фримантл знает, что этот плющ — малайская лиана, принадлежащая к семейству, которое обладает удивительными свойствами и способностями. Мне вспоминается старинная история об анчаре и другая, более современная, о дереве-убийце, которое обнаружил герр Болтце близ Колве в Восточной Африке. Были и другие схожие случаи.

— Это невероятно! — сказал Фримантл чуть ли

не рассерженно.

— А я и не прошу мне верить, — тихо отозвался Флаксман Лоу. — Я просто говорю, что есть такие легенды. Монтессон может предпринять некоторые шаги, чтобы подтвердить мою теорию. Пусть он уничтожит растение и рассудит по результатам.

Побег, который мистер Лоу отрезал во время схватки с растением, он предоставил властям в Кью.

Мистер Монтессон последовал советам мистера Флаксмана Лоу. В Грей-хаусе теперь живут, ничего не опасаясь. Но вот что странно: никакая зелень, даже самый живучий плющ, не растет на том месте, где когда-то распускались на лиане красные цветы.

История поместья Янд-мэнор

Перевод А. Бродоцкой

Просматривая заметки мистера Флаксмана Лоу, порой за стальной твердостью фактов различаешь нежный румянец романтики, но чаще — темные закоулки безымянного ужаса. Нынешняя история, пожалуй, послужит примером последнего. Мистер Лоу не просто разгадал загадку усадьбы Янд, но и доказал ценность дела всей своей жизни месье Тьерри, знаменитому французскому критику и философу.

В конце долгой беседы мистер Тьерри, который вел дискуссию со своей, сугубо материалистической точки зрения, заметил:

— Тот фактор экономики человека, который вы называете душой, невозможно учесть.

— Согласен, — отвечал Лоу. — Но ведь когда человек умирает, нет ли какого-то неучтенного фактора в случившихся с ним переменах? Да! Его тело продолжает существовать, однако быстро распадается, а это доказывает, что исчезла та сила, которая сохраняла его в целости.

Француз засмеялся и решил зайти с другой

стороны.

— Ну, что касается меня, я в потустороннее не верю. Явления призраков, оккультные феномены — разве это не мусорная куча, куда люди определенного толка сваливают все, что не в состоянии понять или для чего у них нет объяснения?

— Тогда что вы скажете, месье, если я сообщу вам, что большую часть жизни посвятил исследованиям этой самой мусорной кучи и по счастливому стечению обстоятельств сумел не без успеха разобрать кое-какой мусор? — отвечал Флаксман Лоу.

— Тема эта, безусловно, интересная, но я бы предпочел иметь личный опыт в таких вопросах, — с сомнением заметил Тьерри.

— Как раз сейчас я расследую весьма примечательный случай, — сказал Лоу. — Можете ли вы посвятить этому день-другой?

Тьерри ненадолго задумался.

— Благодарю вас, — ответил он. — Но, прошу прощения, это действительно призрак, в который я смогу поверить?

— Поезжайте со мною в Янд, и вы все увидите. Я уже побывал там и вернулся, чтобы получить кое-какие сведения из манускриптов, к которым имею особый доступ, поскольку, признаюсь, про-

исходящее в Янде совершенно выходит за рамки всего моего предыдущего опыта.

Лоу откинулся в кресле, заложив руки за голову — его излюбленная поза, — и лениво выпустил дым из длинной трубки прямо в лицо золотой Изиды, закрепленной на стойке позади него. Тьерри, смотревший на него, внезапно поразился удивительному сходству лиц египетской богини и ученого девятнадцатого века. На обоих читалась спокойная, непроницаемая отрешенность, говорящая о бездонной глубине мысли. И тогда Тьерри решился:

— Три дня я готов быть в полном вашем распоряжении.

— Сердечно благодарю, — отвечал Лоу. — Сотрудничество со столь блестящим логиком, как вы, в такого рода расследовании — мог ли я мечтать о подобном! Материи, с которыми мне приходится иметь дело, до того неуловимы, а предмет моих исследований покрыт такой густой завесой мрака и отягощен таким количеством предрассудков, что мне крайне редко удается найти людей по-настоящему сведущих, кто согласился бы подойти к моим изысканиям серьезно. Я отправляюсь в Янд сегодня вечером и надеюсь оставаться там, пока не удастся разгадать загадку.

Будете ли вы сопровождать меня?

— Разумеется. А пока, прошу, расскажите мне в общих чертах, в чем дело.

— Вкратце история такова. Несколько недель назад я приехал в поместье Янд-мэнор по просьбе его владельца, сэра Джорджа Блэкбертона, чтобы попытаться расследовать происходящее там. Обитатели дома жалуются лишь на то, что не могут находиться в одной из комнат, в столовой.

— И кто же он, этот месье ле Кошмар? — со смехом поинтересовался француз.

— Его никто не видел и, уж если на то пошло, не слышал.

— Тогда как же…

— Его не видно и не слышно, у него нет запаха, — продолжал Лоу, — но его можно… попробовать на вкус!

— Mon Dieu! Вот так оказия! Неужели он такой… невкусный?

— Сами и попробуете, — с улыбкой ответил Флаксман Лоу. — После определенного часа никто не может оставаться в комнате, там становится слишком тесно.

— Но из-за кого? — спросил Тьерри.

— Именно это, надеюсь, мы и выясним сегодня вечером или завтра.

Последний вечерний поезд доставил мистера Флаксмана Лоу и его спутника на небольшую станцию близ Янда. Было поздно, однако гостей ждала двуколка, и вскоре они прибыли в усадьбу. Огромный дом высился перед ними в абсолютной темноте.

— Блэкбертон должен был встретить нас, но, видимо, еще не прибыл, — сказал Лоу. — Эгей! Дверь не заперта, — добавил он, шагнув за порог.

Теперь они различили свет за занавесью, разделявшей длинный холл. Пройдя за нее, они очутились у подножия широкой лестницы в конце.

— Но кто же это? — воскликнул Тьерри.

Пошатываясь и спотыкаясь на каждой ступеньке, к ним навстречу спускался какой-то человек. Он был словно пьяный, лицо у него посинело, глаза глубоко ввалились.

— Слава богу, вы здесь! Я слышал, как вы подъехали, — слабым голосом проговорил он.

— Это сэр Джордж Блэкбертон, — сказал Лоу, когда тот пошатнулся и упал ему на руки. Они уложили его на ковер и постарались привести в чувство.

— Он похож на пьяного, но на самом деле это не так, — заметил Тьерри. — У месье сильнейшее

нервное потрясение. Только взгляните, как бьется жилка на шее.

Через несколько секунд Блэкбертон открыл глаза и с трудом поднялся на ноги.

— Пойдемте. Я не мог оставаться там один. Пойдемте скорее.

Они быстро пересекли холл. Блэкбертон провел их по широкому коридору к двустворчатой двери, которую после заметной паузы распахнул, — и они вошли в нее вместе.

На огромном столе посередине комнаты стояла погасшая лампа и тарелки с объедками и горела большая свеча. Однако глаза всех троих устремились на темную нишу у массивного резного камина, где на спинке большого резного кресла примостилась неподвижная фигура.

Флаксман Лоу схватил свечу и зашагал туда через комнату.

На спинке кресла, поставив ноги на подлокотники, съежившись, сидел молодой человек могучего сложения. Рот у него был открыт, глаза закатились. Снизу было больше ничего не разглядеть, кроме смертельной бледности щек и шеи.

— Кто это? — воскликнул Лоу. Затем он мягко положил ладонь на колено молодого человека.

От этого прикосновения фигура рухнула на пол

— и к ним обратилось застывшее от ужаса лицо с разинутым ртом.

— Он мертв! — сказал Лоу после краткого осмотра. — Я бы сказал, он мертв уже несколько часов.

— Господи! Бедный Батти! — простонал сэр Джордж, совершенно лишившийся присутствия духа. — Как я рад, что вы приехали.

— Кто он и что делал в этой комнате? — спросил Тьерри.

— Это мой лесничий. Он всегда мечтал разузнать о призраке и прошлой ночью уговорил меня запереть его здесь, снабдив запасом пищи на сутки. Сначала я отказался, а потом решил, что, если что-то случится, пока он будет здесь один, это вас заинтересует. Кто мог подумать, что все так обернется?

— Когда вы его обнаружили? — спросил Лоу.

— Я вернулся от матери полчаса назад. Зажег свет в коридоре и вошел сюда со свечой. Как только я очутился в комнате, свеча погасла — и… и… кажется, у меня случился приступ помешательства.

— Расскажите, что видели, — велел ему Лоу.

— Вы сочтете, что я не в себе, но, когда свет погас и я рухнул в кресло, едва ли не парализованный, я увидел, как на меня смотрят два зарешеченных

глаза!

— Зарешеченных? Что вы имеете в виду?

— Эти глаза смотрели на меня сквозь вертикальную решетку, вроде клетки. Что это?

Сэр Джордж со сдавленным криком отпрянул: приблизившись к мертвецу, он будто бы ощутил чье-то прикосновение к своей щеке.

— Вы стояли на этом месте, под резной панелью над камином. Я останусь здесь. А пока, мой дорогой Тьерри, не сомневаюсь, вы поможете сэру Джорджу перенести этого несчастного в более подходящее место, — сказал Флаксман Лоу.

Когда труп молодого лесничего вынесли, Лоу медленно обошел комнату, заглянув во все углы. Довольно долго он простоял перед старинной резной панелью над камином, доходившей до потолка. Она была рельефная, и из нее далеко выдавались причудливые головы сатиров и диких зверей. Совсем рядом с нишей была голова грифона с ощеренной пастью. Именно под ней стоял сэр Джордж, когда ощутил прикосновение к своему лицу. Оставшись один в этой просторной полутемной комнате, Флаксман Лоу стоял на том же месте и ждал. Тускло-желтый свет свечи пронизывал тени, которые словно надвинулись со всех сторон и тоже ждали. Внезапно где-то да-

леко хлопнула дверь, и Лоу, подавшийся вперед, чтобы прислушаться, отчетливо почувствовал прикосновение к затылку!

Он обернулся. Ничего! Тщательно осмотревшись, он положил ладонь на голову грифона. И снова ощутил мягкое прикосновение — на сей раз к тыльной стороне ладони, словно что-то пролетело по воздуху.

Сомнений не оставалось. Дело было в голове грифона. Взяв свечу, чтобы изучить все досконально, Лоу обнаружил, что с зазубренных клыков свисают четыре длинных черных волоса. Он как раз снимал их, когда снова появился Тьерри.

— Надо поскорее увезти отсюда сэра Джорджа, — сказал он.

— Да, к сожалению, — согласился Лоу. — Расследование придется отложить до завтра.

Назавтра они вернулись в Янд. Это был большой сельский дом, красивый, старомодный, с решетчатыми окнами и высокими ступенчатыми фронтонами, которые проглядывали за высокими кустарниками. Дом окружали лужайки с клумбами, а на бархатном газоне нежились на солнце павлины. С одной стороны от дома за деревьями виднелся церковный шпиль, а

сад от церковного двора отделяла старая стена, покрытая плющом и вьюнами и прорезанная несколькими арками.

Комната с привидениями располагалась в задней части дома. Она была квадратная, со вкусом обставленная в стиле минувшего века. Дубовая панель над камином доходила до потолка, а из широкого окна, занимавшего почти всю стену, открывался вид на западные ворота церкви.

Лоу немного постоял у открытого окна, глядя, как вечернее солнце заливает лужайки и цветники.

— Видите слева дверь в церковной стене? — послышался рядом с ним голос сэра Джорджа. — Это дверь в семейный склеп. Бодрящее зрелище, не правда ли?

— Мне бы хотелось как можно скорее войти туда, — заметил Лоу.

— Что? В склеп? — Сэр Джордж разразился сиплым смехом. — Я провожу вас, если хотите. Может быть, рассказать или показать вам еще что-нибудь?

— Да. Ночью я обнаружил вот эти волоски, свисавшие с головы грифона. — Лоу показал тонкую прядь черных волос. — Скорее всего, именно они коснулись вашей щеки, когда вы стояли у ками-

на. Вы знаете, чьи они могут быть?

— Женские волосы? Нет, насколько я знаю, единственная женщина, побывавшая в этой комнате за последние несколько месяцев, — это старая седая служанка, которая приходила наводить порядок, — отозвался Блэкбертон. — Уверен, никаких волос не было, когда я запирал здесь Батти.

— Это человеческие волосы, на удивление жесткие и давно не стриженые, — заметил Лоу, — но не обязательно женские.

— Точно не мои, поскольку у меня волосы русые, а бедный Батти был блондин. Доброй ночи. Я вернусь за вами утром.

Вскоре, когда сгустилась ночь, Тьерри и Лоу расположились в комнате с привидениями и стали ждать дальнейшего развития событий. Они курили и разговаривали допоздна. На столе ярко горела большая лампа, и все кругом дышало теплотой и домашним уютом.

Тьерри это подметил, добавив, что призрак, вероятно, сочтет за лучшее пропустить свой обычный визит.

— Опыт показывает, что у призраков есть любопытная склонность выбирать для своих экспериментов людей либо легковерных, либо

чересчур возбудимых, — добавил он.

К удивлению месье Тьерри, Флаксман Лоу согласился с ним.

— Безусловно, они выбирают подходящих жертв, — сказал он, — но не столько легковерных, сколько достаточно чувствительных, чтобы ощутить присутствие призрака. В своих исследованиях я стремлюсь исключить все, что вы назвали бы сверхъестественным. Насколько возможно, я изучаю эти загадочные явления с материалистической точки зрения.

— Тогда что вы скажете о гибели Батти? Он умер от страха — всего-навсего.

— Не сказал бы. Обстоятельства его смерти определенным образом согласуются с тем, что мы знаем о страшной истории этой комнаты. Он умер и от страха, и от пережитого воздействия одновременно. Слышали ли вы замечание доктора? Это было важно. Он сказал: «В точности то же самое я наблюдал у людей, которых задавили насмерть в толпе!»

— Да, признаю, это достаточно любопытно. Вижу, уже больше двух часов ночи. Что-то в горле пересохло, выпью-ка я зельтерской. — Тьерри встал с кресла и, подойдя к буфету, налил себе стакан воды из сифона. — Фу! Какая мерзость!

— Что? Зельтерская?..

— Нет-нет, — раздраженно отвечал француз. — Я ее даже не попробовал. Наверное, мне в рот залетела какая-то гадкая муха. Фу! Отвратительно!

— А на что это похоже? — спросил Флаксман Лоу, вытирая рот платком.

— На что похоже? Будто во рту взорвался какой-то гадостный гриб.

— Точно. Я тоже почувствовал. Надеюсь, это вот-вот убедит вас.

— Что? — воскликнул Тьерри, повернувшись всем своим тучным телом и уставясь на Лоу. — Неужели вы хотите сказать…

При этих его словах лампа внезапно потухла.

— Зачем вы погасили лампу в такой момент? — вскричал Тьерри.

— Я ее не гасил. Зажгите свечу на столе рядом с вами.

Лоу услышал, как француз удовлетворенно крякнул, нашарив свечу. Затем чиркнула спичка. Огонек рассыпался искрами и погас. Точно так же повела себя и следующая спичка, и следующая, причем Тьерри, не смущаясь, вполголоса сквернословил.

— Дайте мне ваши спички, месье Флаксман:

мои, по-видимому, отсырели, — сказал он наконец.

Лоу встал и ощупью двинулся через комнату. Темнота была кромешная.

— Тьма египетская. Где вы, дорогой друг? — услышал он голос Тьерри, однако тот доносился словно бы издалека.

— Иду, — ответил Лоу. — Но продвигаться очень трудно.

Стоило ему произнести эти слова, как его осенило, что они означают.

Он остановился и попытался понять, в какой части комнаты находится. Тишина стояла непроницаемая, и со всех сторон на него что-то давило — все сильнее и сильнее, словно в страшном сне. Снова послышался голос Тьерри, слабый, удаляющийся:

— Я задыхаюсь, месье Флаксман! Где же вы? Я у двери. Ах!

Послышался сдавленный вопль, полный страха и боли, но Лоу едва расслышал его в сгущавшемся воздухе.

— Тьерри, что с вами? — закричал он. — Откройте дверь.

Ответа не последовало. Что же произошло с Тьерри в этой жуткой клубящейся мгле? Неужели

он тоже погиб, расплющенный о стену непостижимой силой? Что случилось?

Воздух словно бы сгустился, стал осязаемым и отвратительным, будто прикосновение холодной влажной плоти.

Лоу вытянул вперед руки, страстно мечтая прикоснуться к столу, к стулу, к чему угодно — лишь бы не ощущать натиска чего-то липкого и мягкого, которое теснило его со всех сторон, душило, забивалось между пальцами.

Теперь он знал, что в одиночку сражается… но против чего?

Ноги скользили в отчаянном усилии ощутить пол, сырая плоть ползла вверх по шее, по щеке, дыхание стало частым, затрудненным — а неведомая сила лишь мягко качала его туда-сюда, беспомощного, охваченного дурнотой.

Липкая плоть теснила его, словно туша ужасной жирной твари; затем что-то словно бы обожгло его щеку. Лоу вцепился во что-то, послышался грохот, затем повеяло свежим ветром — и следующее ощущение, которое мистер Флаксман Лоу сумел осознать, было чувство смертельной слабости. Он лежал на мокрой траве, его обдувал ветер, а ноздри щекотали чистые, целительные запахи сада под открытым небом.

Он сел и огляделся. На востоке, за гонимыми ветром облаками, занималась заря, и при ее свете он различил, что находится на лужайке перед поместьем Янд-мэнор. Решетчатое окно комнаты с привидениями было распахнуто у него над головой. Он попытался вспомнить, что случилось. Проверил, цел ли он, — и постепенно осознал, что все еще сжимает что-то правой рукой — что-то темное, тонкое и изогнутое. То ли длинный завиток коры, то ли сброшенная шкура гадюки — разглядеть в тусклом свете было невозможно.

Через некоторое время Флаксман Лоу вспомнил о Тьерри. С трудом поднявшись на ноги, он забрался на подоконник и заглянул внутрь. Вопреки его ожиданиям, никакого беспорядка в комнате не было — все оставалось на тех же местах, как и в ту секунду, когда потухла лампа. И его собственное кресло, и то, которое занимал Тьерри, выглядели точно так же, как тогда, когда они встали с них. Однако самого Тьерри видно не было.

Лоу спрыгнул с подоконника в комнату. Вот и стакан с зельтерской, и разбросанные вокруг горелые спички. Взяв коробок Тьерри, Лоу чиркнул спичкой. Она вспыхнула, и он без труда зажег свечу. В сущности, комната была абсолютно

нормальной, и от ужасов, царивших в ней всего час-другой назад, не осталось и следа.

Но где же Тьерри? Держа в руке зажженную свечу, Лоу вышел за дверь и обыскал соседние комнаты. В одной из них, к своему облегчению, он нашел француза — тот спал глубоким сном в кресле.

Лоу прикоснулся к его руке. Тьерри вскочил, заслонившись локтем от ожидаемого удара. Потом он обратил к Лоу искаженное от ужаса лицо.

— Как? Это вы, месье Флаксман! Как вам удалось спастись?

— Я бы предпочел узнать, как удалось спастись вам, — сказал Лоу, невольно улыбнувшись тому, как пережитое ночью сказалось на наружности и настроении его друга.

— Меня вытолкнуло из комнаты и прижало к двери. Какая-то инфернальная тварь — что это было? — влажная набухшая плоть напирала со всех сторон! — От отвращения Тьерри весь содрогнулся и умолк. — Я увяз, как муха в желе. Не мог пошелохнуться. Тонул в удушающей жиже. Воздух сгустился. Я звал вас, но не слышал ответ. Потом словно бы огромная рука притиснула меня к двери — по крайней мере, так это ощущалось. Мне пришлось биться не на жизнь, а на

смерть, меня едва не раздавило — а потом, сам не знаю как, я очутился за дверью. Я кричал вам, но напрасно. И поскольку помочь вам я не мог, я пришел сюда — и, признаюсь вам, дорогой друг, запер дверь на замок и задвинул засов. Через некоторое время я вернулся в холл и прислушался, однако, так ничего и не услышав, решил ждать рассвета и возвращения сэра Джорджа.

— Все в порядке, — сказал Лоу. — Ради такого опыта стоило пострадать.

— Ничего подобного. Мне этот опыт ни к чему. Если вы вынуждены расследовать столь отвратительные тайны, я вам не завидую. Теперь я прекрасно понимаю, почему сэр Джордж утратил присутствие духа: ему пришлось пережить такие ужасы. Кроме того, все это совершенно необъяснимо.

В эту минуту они услышали, что прибыл сэр Джордж, и вышли встретить его.

— Я глаз не сомкнул — все думал о вас! — воскликнул Блэкбертон, увидев их. — Приехал, как только рассвело. Что-то случилось?

— Конечно случилось! — воскликнул месье Терри и закивал с самым серьезным видом. — Случилось нечто самое поразительное, самое ужасное. Месье Флаксман, расскажите нашу ис-

торию сэру Джорджу. Вы пробыли в проклятой комнате всю ночь, но остались в живых и можете все рассказать.

Когда Лоу завершил свой рассказ, сэр Джордж вдруг воскликнул:

— Мистер Лоу, вы поранили щеку!

Лоу повернулся к зеркалу. Теперь, когда совсем рассвело, стало видно, что от глаза ко рту протянулись три параллельные царапины.

— Помню, как меня что-то обожгло, словно удар хлыстом. Как вы думаете, Тьерри, что могло оставить такие следы?

Тьерри осмотрел царапины и покачал головой.

— Ни один здравомыслящий человек не стал бы предлагать никаких объяснений событиям минувшей ночи, — отвечал он.

— Что-то в этом роде, правда? — снова спросил Лоу и положил на стол то, что держал в руке.

Тьерри взял предмет и вслух описал его:

— Длинный, узкий, коричнево-желтого цвета, скрученный, будто обоюдоострый штопор… — Он слегка вздрогнул и посмотрел на Лоу.

— Человеческий ноготь, полагаю, — подсказал тот.

— Но ведь у людей не бывает таких когтей — разве только у китайских аристократов.

— Китайцев здесь нет, да и никогда не было, насколько я знаю, — резко отозвался Блэкбертон. — Я очень боюсь, что, невзирая на все опасности, которые вы так храбро преодолели, мы ни на шаг не приблизились к рациональному объяснению.

— Напротив, по-моему, картина начинает складываться. Полагаю, что я наконец сумею обратить вас, Тьерри, — сказал Флаксман Лоу.

— Обратить меня?

— Заставить поверить в целесообразность моей работы. Впрочем, вам решать. Каково ваше мнение? Ведь вы, несомненно, знаете столько же, сколько и я.

— Мой добрый, дорогой друг, у меня нет никакого мнения. — Тьерри пожал плечами и развел руками. — Мы имеем последовательность беспрецедентных событий, которую не объяснит ни одна теория.

— Однако с этим спорить невозможно. — Флаксман Лоу показал почерневший ноготь.

— Как же вы думаете связать этот ноготь с черными волосами, с глазами, смотревшими из-за прутьев какой-то клетки, с участью Батти, который, судя по симптомам, погиб от сдавления и удушья, с тем, что ощутили мы сами, — напор разбухшей плоти, когда что-то заполняло ком-

нату, вытесняя все остальное? Как вы намерены свести все это во сколько-нибудь связную гипотезу? — не без ехидства спросил Тьерри.

— Я намерен попытаться, — ответил Лоу.

За ленчем Тьерри поинтересовался, как продвигается теория.

— Есть успехи, — ответил Лоу. — Кстати, сэр Джордж, кто жил в этом доме, скажем, до тысяча восемьсот сорокового года? Ведь это был мужчина? Могла бы быть и женщина, однако по природе его ученых занятий я склонен думать, что это был мужчина, ведь он был весьма начитан в области древней некромантии, восточной магии, месмеризма и тому подобных материй. И разве не он похоронен в фамильном склепе, который вы мне показывали?

— А что-нибудь еще вы о нем знаете? — удивленно спросил сэр Джордж.

— По-видимому, — задумчиво продолжал Флаксман Лоу, — он был длинноволосый и смуглый; вероятно, замкнутый, а еще он страдал от непомерного, нездорового страха смерти.

— Откуда вы все это знаете?

— Я всего лишь спросил. Я прав?

— Вы во всех подробностях описали моего дальнего родственника сэра Джилберта Блэкбертона.

Я покажу вам его портрет в соседней комнате.

Пока они стояли и рассматривали портрет сэра Джилберта Блэкбертона с его узким меланхолическим смуглым лицом и густой черной бородой, сэр Джордж продолжал:

— Мой дед унаследовал Янд от него. Я часто слышал рассказы отца о сэре Джилберте, его странных исследованиях и болезненном страхе смерти. Как ни поразительно, умер он внезапно, в расцвете сил. Он предсказал скорую смерть и неделю или две до кончины был под наблюдением врача. Его поместили в гроб, который он велел изготовить для себя по особому заказу, и погребли в склепе. Умер он в тысяча восемьсот сорок втором или сорок третьем году. Если угодно, я могу показать вам его бумаги, которые могут заинтересовать вас.

Над этими документами мистер Флаксман Лоу просидел до конца дня. Когда настал вечер, он со вздохом удовлетворения оторвался от работы, потянулся и присоединился к Тьерри и сэру Джорджу в саду.

Ужинали они у леди Блэкбертон, и сэр Джордж сумел уединиться с мистером Флаксманом Лоу и его другом лишь поздно вечером.

— Что вы думаете о той силе, которая обитает в

усадьбе? — спросил он в тревоге.

Тьерри не спеша закурил сигарету, положил ногу на ногу и прибавил:

— Если вы и в самом деле пришли к определенному выводу, умоляю, позвольте нам выслушать его, мой дорогой месье Флаксман.

— Я пришел к самому определенному и правдоподобному выводу, — отвечал Лоу. — В усадьбе обретается сэр Джилберт Блэкбертон, который умер или, точнее, якобы умер пятнадцатого августа тысяча восемьсот сорок второго года.

— Чушь! Ноготь длиной пятнадцать дюймов с лишним — какое отношение он, по-вашему, имеет к сэру Джилберту? — раздраженно возразил Блэкбертон.

— Я убежден, что он принадлежал сэру Джилберту, — ответил Лоу.

— А черные волосы, длинные, как у женщины?

— В случае сэра Джилберта разложение произошло не полностью, оно, так сказать, не завершилось, и я надеюсь вскоре доказать это вам. Известно, что волосы и ногти растут даже после смерти. Я кое-что прикинул на основании скорости роста ногтей в таких случаях и приблизительно определил дату смерти сэра Джилберта. Все это время у него росли и волосы.

— Но зарешеченные глаза? Я сам их видел! — воскликнул молодой человек.

— Ресницы тоже растут. Вы следите за моей мыслью?

— Полагаю, у вас есть в связи с этим какая-то теория, — заметил Тьерри. — И наверняка прелюбопытная.

— По-видимому, сэр Джилберт, одержимый страхом смерти, сумел вывести диковинную древнюю формулу, благодаря которой все низменное в организме уничтожается, однако более возвышенные его составляющие продолжают удерживать дух, и таким образом тело избегает полного разложения. А тогда подлинную смерть можно отсрочить на неопределенное время. Такое духовное тело не подвержено обычным переменам, связанным со временем и превратностями судьбы, и может оставаться в некотором смысле живым практически вечно.

— Какая неординарная мысль, мой дорогой друг, — заметил Тьерри. — Но почему же сэр Джилберт теперь обитает в усадьбе, причем только в одной комнате?

— Склонность духов возвращаться туда, где протекала их телесная жизнь, можно сказать, универсальна. Однако причину такой привязан-

ности к определенной среде мы пока не знаем.

— Но как же ощущение давления, напор неведомого вещества, которое все мы почувствовали? Этого вы точно не сумеете объяснить, — уперся Тьерри.

— Полностью, как мне бы хотелось, — пожалуй, нет. Однако способность расширяться и сжиматься, выходящая далеко за пределы нашего понимания, — известное свойство одухотворенной субстанции.

— Погодите секундочку, мой дорогой месье Флаксман, — послышался через некоторое время голос Тьерри. — Все это и в самом деле очень умно и изобретательно и вызывает искреннее восхищение как гипотеза, но доказательство? Доказательство — вот что нам теперь требуется.

Флаксман Лоу прямо взглянул на полных скептицизма собеседников.

— Это волосы сэра Джилберта Блэкбертона, — проговорил он медленно. — А это ноготь с мизинца его левой руки. Проверить мои утверждения вы можете, открыв гроб.

Сэр Джордж, который до этого нервно расхаживал по комнате, подошел поближе.

— Происходящее в доме мне не нравится, мистер Лоу, скажу откровенно. Совсем не нравится.

У меня нет никаких возражений против того, чтобы вскрыть могилу, однако подтверждение этой вашей малоприятной теории заботит меня в последнюю очередь. Желание у меня лишь одно — избавиться от этой потусторонней силы в своем доме, какой бы она ни была.

— Если я прав, — отвечал Лоу, — вскрытие гроба и краткое воздействие яркого солнечного света на останки освободит вас от этой силы навсегда.

Рано утром, когда лужайки Янда залило теплое летнее солнце, трое наших героев перенесли гроб из склепа на уединенную прогалину среди кустов, где и подняли крышку, не опасаясь посторонних глаз.

Труп в гробу был очень похож на Джилберта Блэкбертона, однако до глаз зарос длинными жесткими волосами и бородой. Спутанные ресницы обрамляли впалые щеки, а ногти на костлявых руках были скрученные, как штопоры. Лоу нагнулся и осторожно приподнял левую руку трупа.

Ногтя на мизинце не было!

Два часа спустя они вернулись и посмотрели снова. За это время солнце сделало свое дело — не осталось ничего, кроме голого скелета и нескольких полуистлевших лоскутов ткани.

С тех пор о призраке из Янд-мэнор больше не слышали. Прощаясь с Флаксманом Лоу, Тьерри сказал:

— Со временем, мой дорогой месье Флаксман, вы прибавите к имеющимся у нас наукам новую дисциплину. Ваши факты обоснованы так надежно, что это совершенно обезоруживает меня.

Мэри Элеонор Уилкинс Фримен

Юго-западная комната

Перевод В. Полищук

— Сегодня приедет учительница из Эктона, — объявила старшая из сестер Джилл, София.

— Верно, — согласилась младшая, Аманда.

— Я решила отвести ей юго-западную комнату, — сообщила София.

Аманда посмотрела на сестру, и в лице ее смешались сомнение и ужас.

— Полагаю, она… — нерешительно начала Аманда.

— Она что? — резко переспросила София; она была решительнее сестры.

Обе были невысокого роста и полными, но София — коренастой, а Аманда — дряблой. День выдался жаркий, и Аманда надела мешковатое муслиновое платье, София же никаких послаблений себе не позволила, и под накрахмаленным батистом ее пышный стан был затянут в корсет.

— Мне кажется, она будет против того, чтобы спать в этой комнате, ведь тетя Харриет умерла там совсем недавно, — запинаясь, пробормотала Аманда.

— Пф! Что за чепуха! — воскликнула София. — Если ты намерена в этом доме выбирать для постояльцев комнаты, где никто не умер, забот не оберешься. У дедушки Экли было семеро детей; насколько мне известно, четверо из них умерли здесь, не говоря о дедушке и бабушке. Помнится, прабабушка Экли, мать дедушки, тоже умерла здесь; и прадедушка Экли; и дедушкина незамужняя сестра, Фанни Экли. Сомневаюсь, что в этом доме найдется хоть одна комната или постель, где никто не отошел в мир иной.

— Что ж, наверное, глупо с моей стороны рассуждать об этом, а учительница пусть живет там, куда мы ее поселим, — ответила Аманда.

— Именно. Комната на северо-восточной стороне тесна и душновата, а эта дама тучная, и ей, скорее всего, будет там жарко. Она скопила денег и может позволить себе снимать жилье на лето, а если ей у нас все понравится, то, верно, и в будущем году приедет, — рассудила София. — Ну а теперь ступай-ка ты и проверь, не налетело ли пыли, с тех пор как там делали уборку, да отвори западные окна, чтобы было солнечно, а я займусь пирогом.

Аманда послушно отправилась в юго-западную комнату, а ее сестра тяжело протопала по лестни-

це, спускаясь в кухню.

— Вот что, расстели там постель, пока проветриваешь и прибираешь, а потом застели снова, — громко крикнула она.

— Да, сестрица, — вздрогнув, ответила Аманда.

Никто не знал, как эта дама преклонных лет с необузданным воображением ребенка страшилась войти в юго-западную комнату, и все же Аманда не сумела бы сказать, отчего так боится. Ей не раз приходилось бывать в комнатах, которые некогда занимали те, кого теперь уже нет на свете. В небольшом доме, где сестры жили, прежде чем приехать сюда, ее комната прежде принадлежала покойной матушке. Если Аманда и задумывалась об этом, то неизменно лишь с благоговением и почтением. Но страха никогда не испытывала. Совсем не то было сейчас. Стоило ей переступить порог, как стук собственного сердца гулко отдался у нее в ушах. Руки похолодели. Комната была весьма просторной. Из четырех окон два выходили на юг, два — на запад, и все были закрыты, как и ставни на них. Здесь царил зеленоватый полумрак, и в нем смутно вырисовывалась меблировка. Блик света приглушенно блеснул на золоченой раме какой-то едва различимой старинной гравюры на стене.

Белое покрывало на постели напоминало чистую страницу.

Аманда пересекла комнату, затем с усилием, от которого нелегко пришлось ее слабым плечам и спине, отворила одно из западных окон и распахнула ставни. Теперь стало видно, что мебель в комнате обветшалая, старинная, но все еще не утратившая ценности. Из сумрака выступили предметы красного дерева; изголовье постели обито было ситцем с павлиньим узором. Такой же обивкой пестрело и большое мягкое кресло, где любила сиживать прежняя обитательница комнаты.

Дверца гардеробной была распахнута. Заметив это, Аманда удивилась. Внутри виднелось какое-то фиолетовое одеяние, висевшее на вешалке. Аманда подошла поближе и сняла вещь. Странно, что сестрица забыла это, когда прибирала в комнате. Одеяние оказалось не чем иным, как поношенным, свободного кроя платьем, некогда принадлежавшим покойной тетушке. Аманда взяла его и, с опаской оглядев темные глубины гардеробной, затворила дверцу. Гардеробная была просторной, и из нее так и пахло любистоком. Тетушка Харриетт имела привычку есть любисток и всегда носила его с собой в карманах. Не

исключено, что и в карманах старого фиолетового платья, которое Аманда бросила на кресло, тоже притаился небольшой корень любистока.

Аманда вздрогнула, почувствовав этот запах, как будто увидев перед собой тетушку. В некотором смысле запах — это особое свойство того или иного человека. Запах способен пережить того, кому принадлежал, будто верная тень, и тогда он словно бы сохраняет в себе что-то от прежнего хозяина. Прибирая в комнате, Аманда все время ощущала настойчивый запах любистока. Раскрыв постель, как ей и велела сестра, Аманда затем стерла пыль с тяжелой мебели красного дерева. Приготовила на умывальнике и на комоде свежие полотенца, застелила постель. Ей подумалось, что надо забрать фиолетовое платье, отнести на чердак и спрятать в сундук, вместе с другими предметами из гардероба покойной; но фиолетового платья на кресле словно не бывало!

Аманда Джилл даже в собственных поступках уверена была не всегда. Она тотчас подумала, что, должно быть, ошиблась и вовсе не вынимала платье из гардеробной. Аманда взглянула на дверцу гардеробной, которую оставляла закрытой, и с удивлением увидела, что та отворена, — и Аманда засомневалась, точно ли она закрывала

дверцу? Аманда заглянула в гардеробную в поисках фиолетового платья. Но его и тут не было!

Вся ослабев, Аманда отошла от гардеробной и вновь взглянула на тетушкино кресло. Фиолетового платья не было и там! Аманда лихорадочно оглядела комнату. Она опустилась на дрожащие колени и заглянула под кровать, затем выдвинула ящики комода, вновь осмотрела гардеробную. Наконец она остановилась посреди комнаты и заломила руки.

— Что ж такое? — потрясенно прошептала Аманда.

Она ведь собственными глазами видела фиолетовое платье покойной тетушки Харриет!

Есть некий предел, за которым всякий здравомыслящий человек перестает сомневаться в себе. Аманда Джилл достигла этого предела. Она твердо знала, что видела фиолетовое платье в гардеробной; знала, что сняла его и положила на кресло. Твердо знала она и то, что не выносила платье за порог комнаты. Аманду охватило такое чувство, будто она сходит с ума. Казалось, все законы и правила бытия перевернулись с ног на голову. Никогда еще, за всю ее незатейливую жизнь, не бывало такого, чтобы вещи пропадали с того места, куда она их положила, если только

их не брали чьи-то другие руки.

Вдруг Аманде подумалось: а может, пока она стояла спиной к двери, сестрица София незаметно вошла в комнату и унесла платье? Аманде сразу стало легче. Сердце забилось спокойнее, нервное напряжение спало.

— Какая я глупая, — произнесла Аманда вслух.

Она поспешила из тетушкиной комнаты в кухню, где София хлопотала над пирогом и плавными движениями деревянной ложки вымешивала кремово-желтое тесто. Когда Аманда вошла, сестра взглянула на нее.

— Что, уже прибрала? — спросила она.

— Да, — ответила Аманда.

Тут она засомневалась. Ее внезапно охватил ужас. Совершенно невозможно, чтобы София и на миг оставила пузырящееся тесто и отлучилась в комнату тетушки Харриет за фиолетовым платьем.

— Что ж, — продолжала София, — если ты все выполнила, не сиди без дела, займись стручками фасоли. А то потом некогда будет сварить ее к ужину.

Аманда шагнула было к миске фасолью на столе, но помедлила и устремила взгляд на сестру.

— Ты заходила в тетушкину комнату, пока я

там прибирала? — пролепетала она. И, еще не успев договорить, уже знала ответ.

— В тетушкину комнату? Разумеется, нет! Тесто ни на минуту нельзя оставить без присмотра, иначе оно не подымется. И тебе это превосходно известно. А в чем дело?

— Ни в чем, — ответила Аманда.

Она вдруг поняла, что не найдет в себе сил поведать сестре о случившемся, ибо рассудок ее пасовал перед непомерной нелепостью всей этой истории. Аманда знала, что ответит София, если сознаться ей. Так и слышала сестрин голос: «Аманда Джилл, ты что, совсем спятила?»

Вот Аманда и решила ни за что и ничего не сообщать сестре. Опустилась на стул и дрожащими пальцами начала лущить фасоль. София вперила в нее пытливый взгляд.

— Аманда Джилл, да какая муха тебя укусила? — спросила она.

— Ничего, — ответила Аманда и еще ниже склонила голову над стручками.

— Нет, что-то случилось! Ты побелела как простыня, и руки у тебя так трясутся, что ты с трудом справляешься с работой. Я думала, у тебя побольше здравомыслия, Аманда Джилл.

— Право, не знаю, о чем ты, София.

— Ты превосходно знаешь, о чем; и нечего тут притворяться. Отчего ты спросила, заходила ли я в тетушкину комнату, и отчего сейчас ведешь себя так странно?

Аманда помедлила. Ведь ее приучили говорить правду. А потом она солгала.

— Я хотела спросить, видела ли ты то пятно на обоях возле комода — потеки после давешнего дождя, — произнесла она.

— Но отчего ты так побледнела?

— Сама не знаю. Должно быть, мне дурно от жары.

— Вот уж не подумала бы, что в юго-западной комнате будет жарко, она ведь так долго простояла запертая, — возразила София.

Видно было, что ответ сестры не утолил ее любопытства, но тут явился зеленщик, и разговор прервался.

Весь следующий час сестры трудились не покладая рук. Ведь прислугу они не держали. Унаследованный по смерти тетушки великолепный старый дом оказался для них бременем. У сестер не было ни гроша, чтобы заплатить за ремонт, налоги и страховку, не считая тысячи двухсот долларов, которые им удалось выручить за продажу крошечного домишка, где они и про-

жили всю жизнь. Много лет назад в семье Экли произошел раскол. Одна из дочерей вышла замуж вопреки воле матери и лишилась наследства. Избранником ее стал бедняк по фамилии Джилл, с которым она и делила все тяготы, хотя сестра и мать по-прежнему жили в достатке; она родила трех дочерей, а затем скончалась, измученная заботами и непосильным трудом.

Мать и старшая сестра так и не выказали к несчастной ни малейшей жалости. Они и не вспоминали о ней с тех самых пор, как она сбежала из дома, чтобы в ту же ночь пойти под венец. Души их были черствы.

Три дочки этой лишенной наследства ослушницы вели жизнь тихую и крайне скромную, но все-таки не бедствовали. Средняя, Джейн, вышла замуж и менее чем через год скончалась. Когда ее овдовевший супруг вновь женился, Аманда и София взяли к себе маленькую сиротку-племянницу. София много лет служила учительницей в начальной школе; ей удалось скопить денег и купить крошечный домик для себя, сестры и племянницы. Аманда вязала кружева, вышивала покрывала, шила салфеточки и игольницы и тем вполне зарабатывала на одежду себе и племяннице, малютке Флоре Скотт.

Их отец, Уильям Джилл, скончался, когда сестрам не исполнилось еще и тридцати; и вот, когда они уже вошли в преклонные лета, умерла тетушка Харриет, с которой они никогда и словом не обмолвились, хотя частенько видели ее; она жила в полном одиночестве в старом особняке Экли, пока ей не перевалило за восемьдесят. Завещания тетушка не оставила, София и Аманда были единственными наследницами, не считая маленькой Флоры Скотт, дочки их покойной сестры.

Едва узнав о наследстве, сестры первым делом подумали о Флоре.

— Для девочки все складывается просто замечательно; когда нас не станет, она будет обеспечена, — заметила София.

Она уже знала, что надлежит предпринять. Домик следует продать, сами они переедут в старый особняк Экли, а чтобы покрыть расходы на его содержание, пустят жильцов. Мысль о том, чтобы продать фамильное гнездо, София отвергла. Слишком уж она гордилась своим происхождением и всегда, проходя мимо великолепного старого особняка, родового гнезда, куда ей вход был заказан, высоко держала голову. Когда юрист, к которому София обратилась за советом, сооб-

щил ей, что Харриет Экли успела истратить все семейное состояние до последнего цента, София осталась невозмутима.

— Да, я понимаю, что нам с сестрой придется работать, — только и ответила она, — но мы решительно хотим сохранить дом.

Тем дело и кончилось. София и Аманда прожили в старом фамильном особняке уже две недели, и у них поселились трое жильцов: пожилая состоятельная вдова, молодой священник-конгрегационалист и средних лет старая дева, ведавшая сельской библиотекой. И вот теперь на лето в доме должна была поселиться мисс Луиза Старк, школьная учительница из Эктона, — таким образом, жильцов будет уже четверо.

София полагала, что они с сестрой вполне обеспечены. Потребности у них были самые скромные; и у Флоры, пусть и молодой девушки, расходы были весьма невелики, поскольку нарядов ей хватит на многие годы благодаря гардеробу покойной тетушки. На чердаке особняка хранилось такое великое множество черных просторных платьев — шелковых, атласных, бомбазиновых, — что Флора сможет всю жизнь носить мрачные и роскошные наряды.

Флора, кроткая барышня с гладкими льняны-

ми волосами и серьезным взглядом больших голубых глаз, была юной и очень хрупкой. На ее прелестных губах редко появлялась улыбка. Девушке шел шестнадцатый год.

Флора вернулась из бакалейной лавки с кульками сахара и чая. Она с серьезным видом вошла в кухню и выложила покупки на стол, за которым ее тетушка Аманда готовила фасоль. Флора была в старомодной черной шляпке-тюрбане, доставшейся ей от покойной тетушки. Шляпка сидела на ее голове как корона, открывая лоб. Столь же старомодным было и платье из набивной ткани, фиолетовой с белым, — слишком длинное и большое, а в бюсте смотрелось так, будто на Флоре прямого покроя жилет.

— Сними-ка ты лучше шляпку, — велела София и тут же обратилась к сестре: — Ты наполнила водой кувшин в той комнате, которую отвели учительнице? — строго спросила она, уверенная в том, что Аманда позабыла это сделать.

Аманда виновато вздрогнула и покраснела.

— Ох, мне положительно кажется, что я позабыла, — ответила она.

— Так я и думала! — с сарказмом откликнулась София.

— Флора, ступай в бывшую комнату тетушки

Харриет, возьми с умывальника кувшин и налей воды. Да смотри осторожно, не разбей его и не расплескай воду!

— В ТУ комнату? — переспросила Флора. Голосок ее прозвучал тихо, но она слегка переменилась в лице.

— Да, в ту самую комнату, — резко повторила тетя София. — Ступай сейчас же.

Флора вышла, и ее легкие шаги послышались на лестнице. Вскоре девушка возвратилась с сине-белым кувшином и осторожно наполнила его водой в кухонной раковине.

— Смотри мне, не пролей, — напомнила София, когда Флора аккуратно понесла кувшин прочь.

Аманда смущенно посмотрела на Флору — ей любопытно было, видела ли та фиолетовое платье.

Тут Аманда вздрогнула, потому что к парадному входу подъехал деревенский дилижанс. Дом стоял на перекрестке.

— Вот что, Аманда, ты выглядишь получше меня; ступай встречать гостью, — распорядилась София. — А я поставлю пирог и приду. Проводи учительницу прямо в ее комнату.

Аманда поспешно сняла фартук и послушно отправилась встречать гостью. Тем временем

София принялась разливать тесто по формам. Она как раз только-только закончила с этим, когда в кухню вошла Флора все с тем же кувшином.

— Зачем ты принесла кувшин обратно? — осведомилась София.

— Учительница просит воды, вот тетушка Аманда и прислала меня, — объяснила Флора. Ее хорошенькое бледное личико было озадаченным.

— Ради всего святого, она что, так быстро выпила всю воду из кувшина? Он же большой!

— Но он был пуст, — ответила Флора и в недоумении наморщила высокий детский лобик, глядя на тетю.

— Как это так — пуст?

— Пуст, мэм.

— Разве я не видела, как ты наполнила его собственноручно не далее как десять минут назад, хотела бы я знать?

— Наполнила, мэм.

— И что ты сделала с водой?

— Ничего.

— Ты отнесла кувшин с водой в ту комнату и поставила на умывальник?

— Да, мэм.

— И не расплескала?

— Нет, мэм.

— Вот что, Флора Скотт, изволь говорить мне правду! Ты налила полный кувшин воды и отнесла наверх, а потом он оказался пуст и учительнице нечем было умыться с дороги?

— В точности так, мэм.

— Дай-ка я взгляну на этот кувшин. — И София хорошенько изучила его. Кувшин был не просто пустым, а совершенно сухим и даже слегка запыленным изнутри. София с суровым видом повернулась к девушке. — Теперь я убедилась, что ты вовсе не наливала воды в кувшин. Ты нарочно лила воду мимо, потому что не желала нести тяжелый кувшин наверх. Мне за тебя стыдно. Лень — большое прегрешение, а уж что говорить о лжи…

Личико Флоры жалостно исказилось от замешательства, голубые глаза наполнились слезами.

— Клянусь, я налила полный кувшин воды! — запинаясь, произнесла она. — Честное слово, тетя София. Спросите у тети Аманды.

— Ни у кого я спрашивать не буду. Кувшин — сам по себе превосходное доказательство, что ты солгала. Если бы ты налила в кувшин воду десять минут назад, в нем не скопилась бы пыль. Ну а теперь живо налей полный кувшин и отнеси на-

верх, и, если ты прольешь хоть каплю, берегись, нотацией ты не отделаешься.

По щекам у Флоры катились слезы. Девушка наполнила кувшин водой, тихонько всхлипнула и вышла, осторожно прижимая его тонкой рукой к себе. София направилась следом.

— Довольно плакать, — приказала она. — Стыдись! Что, по-твоему, подумает мисс Луиза Старк? Сначала — пустой кувшин в комнате, потом ты являешься вся в слезах, точно выполняешь работу из-под палки.

Как ни хотела София проявить строгость, голос ее прозвучал успокаивающе — ведь она от души любила племянницу. Вслед за Флорой София поднялась по лестнице в комнату, где мисс Луиза Старк ждала, пока ей принесут воды, чтобы умыться с дороги. Она уже сняла шляпку, и та, украшенная геранью, ярко выделялась на фоне комода из темного красного дерева. Расшитую бисером накидку постоялица аккуратно положила на кровать. В эту самую минуту мисс Старк как раз беседовала с не помнящей себя от страха Амандой, напуганной тайной кувшина.

— Да, погода стоит жаркая, а я дурно переношу жару, — сказала мисс Старк.

Учительница была дамой дородной и крепко

сложенной, гораздо крупнее сестер Джилл. Она так и излучала властность, вошедшую в привычку за годы преподавания. Несмотря на грузность, двигалась она величественно, и даже лицо ее, потное и багровое от жары, ни на йоту не утратило важности.

Мисс Старк стояла посреди комнаты с таким видом, будто стоит на кафедре. Когда в комнату вошли София и Флора с кувшином, постоялица повернулась к ним.

— Моя сестра София, — дрожащим голосом сказала Аманда.

София приблизилась, пожала мисс Старк руку, поприветствовала и выразила надежду, что комната гостье понравится. Затем шагнула к гардеробной.

— В этой комнате прекрасная просторная гардеробная, лучшая в доме. Ваш дорожный сундук можно… — тут она осеклась.

Дверца гардеробной была приоткрыта, из темноты отчетливо виднелось фиолетовое платье, будто его занесло сюда каким-то ветром.

— Ох, тут, кажется, еще осталось кое-что из одежды, — огорченно воскликнула София. — Я думала, все уже убрали прочь.

Она схватила платье, и в тот же миг Аманда

кинулась мимо нее вон из комнаты.

— Боюсь, вашей сестрице нездоровится, — произнесла учительница. — Как только вы притронулись к этому платью, она вся побелела. Я сразу заметила. Быть может, вам лучше позаботиться о ней? Не упала бы она в обморок.

— Она не из тех, кто падает в обмороки, — ответила София, но все-таки поспешила за Амандой.

Сестру она обнаружила в их общей спальне. Аманда упала на постель и ловила ртом воздух. София склонилась над сестрой.

— Аманда, что с тобой, тебе дурно? — спросила она.

— Немного дурно.

София отыскала флакончик с камфарой и смочила сестре лоб.

— А теперь лучше? — спросила она.

Аманда слабо кивнула.

— Должно быть, всему виной пирог с зелеными яблоками, который ты ела на обед, — произнесла София. — Но куда я задевала платье тетушки Харриет? Если тебе уже лучше, сбегаю за ним и отнесу на чердак. А на обратном пути снова навещу тебя. Ты пока лучше полежи спокойно. Флора принесет тебе чашку чаю. Ужинать я бы на твоем месте не стала. — С этими словами, произнесен-

ными заботливо и участливо, София вышла.

Но вскоре вернулась — взволнованная и к тому же сердитая. Однако лицо ее не выражало и тени страха.

— Хотела бы я знать, — она проворно и зорко осмотрелась, — приносила я сюда фиолетовое платье или нет, в конце-то концов?

— Я не видела, чтобы ты его приносила, — ответила Аманда.

— Но должна была. Платья нет ни в комнате, ни в гардеробной. Ты, часом, не лежишь на нем, а?

— Я легла прежде, чем ты вошла, — ответила Аманда.

— И верно. Что ж, пойду поищу еще раз.

Вскоре Аманда услышала тяжелые шаги сестры — та поднималась на чердак. Но вот София вернулась, и теперь лицо у нее было озадаченное и недовольное.

— Оказывается, я все же отнесла платье на чердак и убрала в сундук, — сообщила София. — Не иначе как забыла. Должно быть, потому, что отвлеклась на твой обморок, вот оно что. А платье нашлось в сундуке, аккуратно сложенное, ровно там, куда я его и отнесла.

София поджала губы и пристально взглянула в испуганное и встревоженное лицо сестры.

— Да, — пролепетала Аманда.

— Теперь пойду в кухню и присмотрю за пирогом. — София повернулась. — Если почувствуешь дурноту, постучи в пол зонтиком.

Аманда проводила ее взглядом. Она знала, что София не убирала фиолетовое платье покойной тетушки Харриет в сундук на чердаке.

Тем временем мисс Луиза Старк обживалась в юго-западной комнате. Она открыла дорожный сундук и бережно развесила свои вещи в гардеробной. По ящикам комода она разложила аккуратно сложенное белье и прочие мелочи. Мисс Старк была весьма педантичной дамой. Затем она облачилась в платье индийского шелка, черное в лиловых цветах. Белокурые с проседью волосы зачесала назад, открыв широкий лоб. Кружевной воротничок у горла заколола очаровательной, хотя и несколько устаревшей брошкой — в виде грозди жемчужных виноградин на черном ониксе, в золотой филигранной оправе. Мисс Старк приобрела эту брошку несколько лет назад, истратив на нее изрядную часть жалованья за весенний семестр.

Оглядев себя в маленькое зеркало-псише, венчавшее старомодный комод красного дерева, мисс Старк вдруг наклонилась поближе и при-

стально вгляделась в брошь. Ей показалось, будто что-то не так. И верно! Вместо знакомой грозди жемчужин на черном ониксе она вдруг увидела узел из прядей белокурых и черных волос, уложенный под стекло, в витой золотой оправе. Мисс Старк обдало ужасом, хотя она и не сумела бы сказать почему. Она поспешно отколола брошь и увидела, что держит в руках хорошо знакомое украшение, жемчужные виноградинки на черном ониксе.

— Что за глупости, — подумала мисс Старк.

Она приколола брошь обратно к кружевам и вновь посмотрелась в зеркало, и что же? Снова узел из белокурой и черной прядей и витая золотая оправа.

Луиза Старк увидела отражение своего крупного и строгого лица: оно выражало ужас и изумление, какого никогда раньше не ведало. Уж не сходит ли она с ума? Она припомнила тетушку своей матери — вот та и впрямь была сумасшедшей. Мисс Старк не на шутку разозлилась на себя. В гневе и испуге взглянула на брошку в зеркале. Снова отколола брошку — и в ее ладони оказалось прекрасно знакомое украшение. Наконец мисс Старк снова пронзила кружева золотой иголкой, застегнула замочек, решительно повернулась

к зеркалу спиной и спустилась из комнаты на ужин.

За столом она познакомилась с другими постояльцами — престарелой вдовой, молодым священником и старой девой — библиотекаршей. На вдову мисс Старк взглянула сдержанно, на священника — почтительно, на библиотекаршу — с некоторым подозрением. Последняя была одета в щегольскую блузу, не по возрасту облегавшую талию, да и причесана была как молоденькая барышня, так что учительница, которая туго затягивала волосы в маленький строгий узел на макушке, сочла ее вид неподобающим.

Библиотекарша, которая не отличалась манерами, не чинясь, спросила мисс Старк, какую комнату ей отвели, и повторила свой вопрос, невзирая на явное нежелание учительницы вступать с ней в беседу. И даже, воспользовавшись близким соседством, фамильярно толкнула мисс Старк в черный шелковый бок.

— Так в какую комнату вас поместили, мисс Старк?

— Представления не имею, как она называется, — чопорно ответила учительница.

— В большую юго-западную?

— Да, она определенно выходит окнами на

юго-запад, — сказала мисс Старк.

Библиотекарша, которую звали Элиза Липпинкотт, резко повернулась к мисс Аманде Джилл, чье нежное лицо сначала побледнело, а потом зарумянилось.

— В какой комнате скончалась ваша тетушка, мисс Аманда? — простодушно осведомилась библиотекарша.

Аманда испуганно посмотрела на сестру, которая как раз подавала священнику вторую порцию десерта.

— В этой самой, — робко ответила она.

— Так я и подумала, — ответила библиотекарша с некоторым торжеством в голосе. — Я так и догадалась, что в этой самой комнате мисс Харриет и скончалась, поскольку комната самая лучшая в доме и вы в ней раньше никого не селили. Всегда так и бывает: комнату, где недавно кто-то умер, сдают в последнюю очередь. Полагаю, вы не из суеверных и не против ночевать в комнате, где несколько недель назад лежала покойница? — спросила она, глядя на Луизу Старк острыми глазками.

— Нет, не против, — твердо ответила мисс Старк.

— И даже в той же самой постели? — не отста-

вала Элиза Липпинкотт, как назойливая игривая кошка.

Молодой священник оторвался от десерта. Человек он был очень набожный, но не мог отказать себе в удовольствии хорошенько поесть у мисс Джилл, памятуя о скудном рационе предыдущего пансиона, где ему довелось жить.

— Вы бы тоже наверняка не убоялись, мисс Липпинкотт? — спросил он мягко, едва ли не вкрадчиво. — Ведь вы ни на миг не поверите, что высшие силы позволят отлетевшей душе, — которая, как мы верим, обрела вечный покой, — хоть как-то потревожить смиренных слуг Господа и навредить им?

— О, мистер Данн, разумеется, нет. — Элиза Липпинкотт покраснела. — Разумеется, нет. У меня и в мыслях не было…

— Я бы никогда вас в подобном и не заподозрил, — мягко сказал священник.

Он был очень молод, но из-за постоянных тревог между его бровей уже пролегла морщинка, а на губах играла заискивающая улыбка, и морщинки от нее тоже были глубокие.

— Разумеется, мисс Харриет Джилл была добропорядочная христианка, — заговорила вдова, — а по моему мнению, добропорядочная христианка

не станет возвращаться с того света и пугать добрых людей. Я бы ни на вот столечко не побоялась ночевать в той комнате; лучше уж в ней, чем в этой, где меня поселили. А если бы и испугалась спать там, где скончалась благопристойная женщина, так никому бы об этом не сказала. И если бы что увидела там или услышала, так винила бы себя: знать, совесть моя нечиста. — Она обратилась к мисс Старк: — Если вам будет в этой комнате не по себе, вы мне сразу скажите, я охотно с вами поменяюсь.

— Благодарю вас, у меня нет ни малейшего желания меняться. И комната меня вполне устраивает, — с ледяным достоинством отвечала мисс Старк, чтобы поставить вдову на место.

— Ну все-таки, — продолжала та, — если передумаете и вам сделается там не по себе, вы знаете, как быть. Моя комната — прелесть что такое; окна выходят на восток, так что солнце там с утра; а все же, как по мне, она не так хороша в сравнении с вашей. Я бы предпочла жить в комнате, где кто-то умер, чем в такой, где летом жара. Я больше боюсь солнечного удара, чем привидений, вот что я вам скажу.

Мисс София, которая до сих пор не вымолвила ни слова, но все сильнее поджимала губы, вдруг

резко поднялась из-за стола, так что священнику не удалось доесть десерт и он сожалением посмотрел на остатки.

После ужина мисс Луиза Старк не пошла в гостиную с прочими постояльцами, а отправилась прямиком к себе. Она устала с дороги и предпочла переодеться во что-то посвободнее и в тишине и покое написать несколько писем, а потом лечь в постель. Кроме того, у нее возникло чувство, что если она еще замешкается, то у нее уже не достанет присутствия духа, чтобы пойти в юго-западную комнату. Она все больше злилась на себя за свою слабость.

Итак, мисс Старк решительно перешагнула порог юго-западной комнаты, где царил приятный полумрак. Учительница смутно различала очертания мебели; отчетливее всего проступал белый узор на атласных обоях и белое покрывало на кровати. И то и другое привлекло внимание учительницы. Она разглядела, что на стене, прямо напротив двери, чернеет лиф ее лучшего платья из черного атласа — висит на раме картины.

— Странное дело, — сказала себе мисс Старк, и ее снова охватила волна неясного ужаса.

Она знала — или думала, что знает, — что убрала это черное атласное платье с поясом,

завернутое в полотенца, в дорожный сундук. Мисс Старк очень гордилась этим платьем и берегла его.

Она сняла лиф и положила его на постель, готовясь сложить и убрать, но, едва взялась за дело, как обнаружила, что рукава платья накрепко пришиты один к другому. Луиза Старк не поверила своим глазам.

— Это как прикажете понимать? — спросила она саму себя.

Она внимательно рассмотрела стежки: маленькие, аккуратные, уверенные; нитки крепкие, черный шелк.

Учительница огляделась. На тумбочке у постели она только сейчас заметила маленькую старомодную шкатулку для рукоделия, на крышке которой был изображен малютка-мальчик в передничке. Рядом со шкатулкой, будто владелица только что закончила работу, лежали катушка черных шелковых ниток, ножницы и большой стальной наперсток с дырочкой наверху — такие делали в старину. Луиза посмотрела на эти вещицы, потом на сшитые вместе рукава платья. Она попятилась к двери. На миг ей пришло в голову призвать к ответу хозяек, но она засомневалась. Допустим, шкатулка стояла здесь с самого начала;

допустим, она, Луиза Старк, просто о ней позабыла; допустим, она собственноручно совершила этот абсурдный поступок или не совершала, но что помешает другим подумать на нее; что помешает им усомниться в ее здравом рассудке и твердой памяти?

Обладая крепким здоровьем и недюжинной силой воли, Луиза Старк была на грани нервного срыва. Невозможно сорок лет прослужить в школе и сохранить совершенную ясность ума. Сейчас она, как никогда еще в жизни, готова была поверить, что память и разум ее подвели. Мисс Старк вся похолодела от ужаса, и все же не столько перед сверхъестественным, сколько перед самой собой. Столь сильная натура вряд ли допустила бы такую слабость, как суеверие. Чем поверить в потусторонние силы, она скорее поверила бы, что ей изменили силы душевные.

— Не пойму, неужели меня ждет участь тетушки Марсии, — пробормотала она, и полное лицо ее исказил испуг.

Мисс Старк направилась к зеркалу, чтобы расстегнуть платье, но тотчас вспомнила о непонятном происшествии с брошкой и застыла как вкопанная. Однако она взяла себя в руки, решительно подошла к комоду и взглянула в

зеркало. И там, в зеркальной глади, к кружевам у горла была приколота большая овальная брошь в витой золотой оправе, брошь с узлом из двух локонов. Мисс Старк дрожащими пальцами отколола брошь и посмотрела на нее. То была ее собственная брошь — жемчужные виноградинки на черном ониксе. Луиза Старк положила вещицу в шкатулочку с розовой подкладкой внутри и спрятала в ящик комода. Лишь смерти по силам было помешать ее привычной педантичности.

Оледенелыми, бесчувственными пальцами мисс Старк еле расстегнула платье и, сняв его через голову, пошатнулась. Она подошла к гардеробной, чтобы повесить платье, и отпрянула. В ноздри ей ударил резкий запах любистока; фиолетовое платье, висевшее у самой двери гардеробной, мягко коснулось ее лица, словно его шевельнул порыв ветра. И на всех вешалках здесь висела чужая одежда, по большей части совершенно черная, хотя было и несколько шелковых и атласных нарядов с необычайными узорами.

Внезапно к Луизе Старк вернулось присутствие духа. Она твердо сказала себе, что никакой мистики во всем этом нет. Кто-то здесь вольничал. Кто-то успел развесить в ее гардеробной чужие платья. Она поспешно облачилась в свое платье

и зашагала прямиком в гостиную.

Там проводили вечер постояльцы и хозяева; вдова со священником играли в триктрак. Библиотекарша следила за игрой. Мисс Аманда Джилл что-то зашивала у большой лампы, стоявшей на столе посреди гостиной. Когда Луиза Старк возникла на пороге, все посмотрели на нее с изумлением. Очень уж необычное выражение было у нее на лице. Но она ни на кого не обратила внимания, кроме Аманды.

— Где ваша сестра? — строго спросила она.

— В кухне, замешивает хлеб, — пролепетала Аманда. — А что случи…?

Но учительницы уже не было.

София Джилл и впрямь стояла за кухонным столом и с большим достоинством месила тесто. Юная Флора как раз принесла из кладовки муку. Девушка застыла и уставилась на мисс Старк, на хорошеньком, нежном личике Флоры отразилась тревога.

Мисс Старк сразу перешла к делу.

— Мисс Джилл, — строго сказала она самым что ни на есть учительским тоном, — я бы хотела узнать, почему вы убрали мои вещи из гардеробной и развесили там чужие?

София Джилл замерла, погрузив руки в тесто

и не сводя глаз с постоялицы. Лицо ее заметно побледнело, губы сжались.

— Что? Я не вполне понимаю, о чем вы, мисс Старк, — сказала она.

— Моих платьев в моей гардеробной нет, и вся она заполнена чьими-то чужими вещами, — повторила Луиза Старк.

— Подай сюда муку, — резко велела София девушке, и та повиновалась, смущенно и испуганно глядя на мисс Старк. София Джилл принялась вытирать руки от теста.

— Мне об этом решительно ничего не известно, — с трудом сдерживаясь, ответила она. — А тебе, Флора?

— О нет, я ничего об этом не знаю, тетя София, — робко ответила девушка.

София повернулась к мисс Старк.

— Я схожу с вами наверх, мисс Старк, — сказала она, — и погляжу, в чем там дело. Должно быть, произошла какая-то ошибка. — Тон у нее был сдержанный и вежливый, но в нем явственно сквозило раздражение.

— Превосходно, — с достоинством отозвалась мисс Старк.

И они с мисс Софией отправились наверх, а Флора так и стояла, глядя им вслед.

София и Луиза Старк вошли в юго-западную комнату. Дверь гардеробной была закрыта. София распахнула ее и обернулась к мисс Старк. На вешалках в обычном порядке висела одежда учительницы.

— Я не понимаю, что здесь не так, — недовольно объявила София.

Мисс Старк хотела что-то произнести, но не смогла выдавить ни слова. Она опустилась на ближайший стул. Она даже не попыталась оправдаться, увидев в гардеробной свои платья. За считаные минуты ни один человек не сумеет поснимать с вешалок чужие платья, которые, как ей казалось, она видела раньше, и развесить вместо них ее вещи. Невозможно, никак невозможно! Мисс Старк снова ужаснулась тому, что с ней происходит.

— Не иначе, вы что-то перепутали, — раздался у нее над ухом голос Софии.

Мисс Старк пробормотала, сама не понимая что. София удалилась из комнаты. Тогда учительница разделась и легла в постель. Утром она не вышла к завтраку и, когда София наведалась к ней, попросила, чтобы ей заказали дилижанс к полуденному поезду. Она извинилась, объявила, что больна и боится, как бы ей не стало хуже, и

потому немедленно отправляется домой. Выглядела она нездоровой и даже не притронулась к тостам и чаю, приготовленным для нее Софией. Та даже пожалела учительницу, но жалость мешалась в душе хозяйки с негодованием. София чувствовала, что знает истинную причину болезни и внезапного отъезда мисс Старк, — оттого-то она и гневалась.

— Если постояльцы начнут так глупить, нам нипочем не удастся сохранить дом, — сказала София сестре, когда учительница отбыла; и Аманда отлично поняла, о чем речь.

Едва миссис Эльвира Симмонс, та самая вдова, прознала, что учительница уехала и юго-западная комната свободна, она принялась упрашивать хозяек, чтобы те переселили ее. София на минуту задумалась, пристально глядя на вдову. И что-то в широком, румяном, улыбчивом лице миссис Симмонс, выражающем полную решимость, успокоило ее.

— Я не против, миссис Симмонс, — сказала София, — если только…

— Если только что? — спросила вдова.

— Если у вас хватит здравого смысла не поднимать шумиху из-за того, что в этой самой комнате скончалась моя тетушка, — прямолинейно за-

явила София.

— Вздор! — воскликнула вдова.

В тот же день она перебралась в юго-западную комнату. Перенести вещи ей помогла юная Флора, хотя и крайне неохотно.

— Отнеси все платья миссис Симмонс в гардеробную и аккуратно развесь, и позаботься, чтобы у нее имелось все необходимое, — распорядилась София Джилл. — И перестели белье на постели. Что ты на меня так смотришь?

— Ах, тетя София, можно я лучше займусь чем-нибудь другим?

— Почему это?

— Мне страшно.

— Чего тебе страшно? Так я и думала, что ты впадешь в уныние. Нет! Ступай прямиком в юго-западную комнату и делай, что тебе велено.

Но вскоре Флора, бледная как смерть, вбежала в гостиную, где находилась София, в руке она сжимала странный старомодный ночной чепец с оборками.

— Что это еще такое? — спросила София.

— Он лежал под подушкой.

— Под какой подушкой?

— В юго-западной комнате.

София взяла чепец и внимательно осмотрела

находку.

— Это тетушки Харриет, — пролепетала Флора.

— Ступай к бакалейщику, купи, что я тебе говорила, а я займусь комнатой, — с достоинством сказала София.

Чепец она отнесла на чердак и убрала в сундук, где, как полагала, он и лежал раньше вместе со всеми вещами покойницы. Затем София перестелила постель в юго-западной комнате и помогла миссис Симмонс переселиться туда; тем дело и кончилось.

Вдова торжествовала по поводу своей новой комнаты и за обедом говорила о ней.

— Это лучшая комната во всем доме, так что вы все наверняка мне завидуете, — заявила она.

— А вы в самом деле не боитесь привидений? — поинтересовалась библиотекарша.

— Привидений! — насмешливо ответила вдова. — Если меня посетит привидение, я уступлю ее вам. Ваша комната ведь как раз напротив.

— Не стоит, — с содроганием возразила Элиза Липпинкотт. — Я ни за что не соглашусь ночевать в юго-западной комнате после… — Она поймала взгляд священника и осеклась.

— После чего? — спросила вдова.

— Так, ничего, — смутилась Элиза Липпин-

котт.

— Убежден, что мисс Липпинкотт достанет рассудительности и веры, чтобы воображать нечто подобное, — сказал священник.

— Так и есть, — поспешно подтвердила Элиза.

— Вы и впрямь что-то видели или слышали? В таком случае что именно, желала бы я знать? — спросила вдова тем же вечером, когда они с библиотекаршей остались в гостиной вдвоем, а священник ушел с визитом.

Элиза помедлила.

— Так что же это было? — настаивала миссис Симмонс.

— Что ж… — нерешительно начала Элиза. — Если вы обещаете никому не рассказывать…

— Да, обещаю; так что вы видели и слышали?

— Так вот, на прошлой неделе, как раз перед приездом учительницы, я зашла в ту комнату — посмотреть в окно, не облачно ли. Я, видите ли, хотела в тот день надеть серое платье и опасалась, как бы не было дождя, вот и решила посмотреть на небо по всем сторонам света и заглянула в ту комнату, а там…

— Что — там?

— Вы, должно быть, знаете, какой там ситец на креслах, изголовье кровати, балдахине; какой,

по-вашему, на ткани узор?

— Ну как же, павлины на синем фоне. Помилуйте, кто раз видел эту обивку, тот ее не забудет.

— Павлины на синем фоне, вы уверены?

— Разумеется. А в чем дело?

— В том, что, когда я заглянула туда, это были вовсе не павлины на синем фоне! А крупные алые розы на желтом.

— Что вы такое говорите?

— Ровно то, что вы слышали.

— Разве мисс София велела сменить обивку?

— Нет. Час спустя я снова зашла в юго-западную комнату, и павлины были на месте.

— Наверное, в первый раз вам изменило зрение.

— Я так и думала, что вы скажете именно это.

— Но сейчас павлины на месте; я их только что видела.

— Полагаю, да. Не иначе, как прилетели обратно.

— Но они не могли исчезнуть, а потом вернуться.

— Да вот похоже, что так оно и было.

— Но как это возможно? Такого не бывает.

— Я знаю лишь, что в тот день павлины исчезли из комнаты на целый час и вместо них появились

алые розы на желтом фоне.

Вдова уставилась на Элизу, а затем разразилась истерическим смехом.

— Ну, — сказала она, — я не откажусь от такой превосходной комнаты из-за подобной чепухи. Думаю, меня бы устроили алые розы на желтом фоне, как и павлины на синем; да что тут толковать — вам просто примерещилось это, и все. Разве такое возможно?

— Этого я не знаю, — ответила Элиза Липпинкотт, — но твердо знаю, что не согласилась бы переночевать в той комнате и за тысячу долларов.

— Ну а я бы переночевала, — возразила вдова, — и переночую.

Тем вечером, войдя в юго-западную комнату, миссис Симмонс первым делом окинула взглядом балдахин и обивку на кресле. На синем фоне красовались павлины. Вдова с презрением вспомнила Элизу Липпинкотт.

«Я не верю в эту чепуху, а у нее сдают нервы, — подумала миссис Симмонс. — Может статься, у нее в роду были сумасшедшие».

Однако прежде чем лечь в кровать, вдова еще раз окинула взглядом балдахин и кресло, и что же — крупные розы алели на желтом фоне, а пав-

линов на синем как не бывало. Миссис Симмонс напрягла зрение. Потом крепко зажмурилась, вновь открыла глаза и вновь огляделась. Розы на желтом никуда не подевались. Тогда она подошла к южному окну и, стоя спиной к кровати, посмотрела на ночное небо. Ночь выдалась ясная, ярко светила полная луна. Миссис Симмонс минуту-другую созерцала, как луна сияет на темной синеве неба, окруженная золотым ореолом. Потом обернулась к балдахину. И по-прежнему увидела алые розы на желтом фоне.

Миссис Симмонс испытала потрясение. Случившееся было столь очевидно и столь противоречило здравому смыслу и явило себя в таком будничном предмете, как мебельная обивка, что потрясло эту не склонную к фантазиям даму, как не потряс бы ни один призрак. Эти алые розы на желтом фоне для миссис Симмонс были куда более сверхъестественными, чем любая призрачная фигура в развевающемся белом саване, явись такая в комнату.

Вдова шагнула было к двери, но затем решительно развернулась.

— Нет уж, никакие алые розы вместо павлинов не заставят меня пойти вниз и признаться, что я напугалась, и позволить этой девчонке Липпин-

котт одержать надо мной верх. Полагаю, розы меня не укусят, а поскольку мы обе видели их, то вряд ли мы обе спятили, — рассудила вдова.

Миссис Эльвира Симмонс потушила свет, улеглась в постель под ситцевый балдахин и долго разглядывала залитую лунным светом комнату. Как всегда, она помолилась на сон грядущий в постели, — так оно было удобнее и вполне допустимо для доброй христианки с тучным телосложением. Помолившись, она вскоре уснула; миссис Симмонс была слишком практичной натурой, чтобы томиться бессонницей из-за того, что никак не влияет на нее физически. И никаким душевным потрясениям не случалось потревожить ее крепкий сон. А потому она уснула то ли среди алых роз, то ли среди павлинов — не зная в точности, какие именно узоры ее окружают.

Однако около полуночи миссис Симмонс проснулась от непонятного ощущения в горле. Ей приснилось, будто ее душат чьи-то длинные белые пальцы, и привиделось, будто над ней склоняется какая-то старуха в белом ночном чепце. Миссис Симмонс открыла глаза, но никакой старухи не было, а яркий свет полной луны озарял комнату, как днем, и вид она имела самый мирный; однако ощущение удушья не отпускало

миссис Симмонс, а кроме того, ей показалось, что лицо и уши у нее чем-то словно спеленуты. Миссис Симмонс ощупала свою голову и поняла, что на ней чепец с оборками, завязанный под подбородком слишком туго. Ее охватил ужас. Отчаянным движением она сорвала с себя чепец и яростно отшвырнула, будто паука. При этом миссис Симмонс коротко, но пронзительно вскрикнула. Она вскочила с кровати и направилась было к двери, но замерла на полпути.

А вдруг это проделки Элизы Липпинкотт? Вдруг та прокралась ночью, пока миссис Симмонс крепко почивала, и надела на нее чепец, туго затянув завязки? Ведь Эльвира Симмонс не запирала дверь на ночь. Вдова заглянула под кровать и в гардеробную: никого. Тогда она хотела было открыть дверь, но, к своему изумлению, обнаружила, что дверь заперта — на засов изнутри.

«Не иначе как я все же закрыла ее», — подумала миссис Симмонс удивленно, поскольку никогда дверей не запирала. Теперь ей уже приходилось признать, что происходит нечто необычное. Разумеется, никому не удалось бы войти в комнату, а затем выйти, заперев ее изнутри. От ужаса миссис Симмонс пробрала дрожь, но все равно вдова сохраняла присутствие духа. И она решила

выбросить чепец в окно.

— Вот я дознаюсь, кто выделывает со мной такие трюки, и мне все равно, кто бы это ни был, — громко заявила она вслух.

Миссис Симмонс все еще никак не могла поверить в то, что тут замешаны потусторонние силы. Ей по-прежнему казалось, будто виной всему чья-то недобрая воля, и потому в ней разгорался гнев.

Миссис Симмонс пошла туда, куда отшвырнула чепец: на пути к двери она перешагнула это место, но чепца на полу не было. Вдова зажгла лампу, обыскала всю комнату, но чепец так и не нашелся. В конце концов она сдалась, вновь потушила лампу и улеглась в постель. Снова уснула и спустя некоторое время опять пробудилась от удушья и скверного сна. На сей раз миссис Симмонс сорвала чепец, но не швырнула на пол, а крепко стиснула в руках. Кровь у нее кипела от гнева.

Сжимая белую ткань, вдова вскочила с кровати, подбежала к открытому окну, отогнула сетку и выбросила чепец вон; но внезапный порыв ветра, неведомо откуда взявшийся в тихой ночи, подхватил чепец и швырнул ей в лицо. Миссис Симмонс отмахнулась от него, точно от паутины,

и в ярости хотела схватить, но чепец как-то выскользнул из ее цепких пальцев. А потом и вовсе исчез. Она снова зажгла лампу, обследовала весь пол в комнате: искала, искала, но чепец пропал бесследно.

Тут уж миссис Симмонс разозлилась так, что все ее страхи рассеялись. Она сама не знала, на что гневалась, но ей чудилось чье-то насмешливое присутствие, незаметное, но ощутимое, — и, несмотря на слабость, вдова была настроена на самый решительный отпор. Она негодовала оттого, что над ней шутит шутки и вот-вот возьмет верх нечто неуловимое для всех ее напряженных пяти чувств.

Наконец миссис Симмонс опять вернулась в постель, но заснуть так и не смогла. Непонятная сонливость овладевала ею, но миссис Симмонс упорно сопротивлялась. Так она лежала, глядя на лунный свет, пока вдруг не ощутила, что мягкие белые тесемки чепца туго стягивают ей горло. Она поняла: вот он, враг, он напал снова. Миссис Симмонс перехватила тесемки, развязала их, сорвала с себя чепец, подбежала к столику, где лежали ее ножницы, и принялась яростно резать чепец на мелкие клочки. Она кромсала и рвала ткань, испытывая невероятное наслаждение.

— Вот так! — провозгласила наконец миссис Симмонс. — Ну, теперь уж этот старый чепчик больше не будет мне досаждать.

Клочки муслина миссис Симмонс победоносно бросила в мусорную корзинку и улеглась обратно в кровать. Не успела она опомниться, как белые тесемки снова впились ей в горло, затягиваясь все туже. И вот теперь миссис Симмонс наконец сдалась, побежденная. Это новое попрание всех законов разума, на которые миссис Симмонс, так сказать, с младых ногтей опиралась в жизни, окончательно нарушило ее душевное равновесие. С трудом она развязала тугие тесемки, стянула с головы чепец, с усилием соскользнула с постели и, подхватив капот, выбежала из комнаты. Она бесшумно прошла по коридору в свою прежнюю комнату, а там забралась в знакомую постель и остаток ночи пролежала, дрожа и прислушиваясь; а если ей и удавалось забыться, она то и дело, вздрогнув, пробуждалась от ощущения, будто ее душат, но ничего подобного не происходило, и все-таки ужас не отпускал миссис Симмонс.

На рассвете она прокралась в юго-западную комнату — взять там кое-что из одежды. Миссис Симмонс потребовалось собраться с духом, чтобы переступить порог, однако, пока она там нахо-

дилась, ничего необычного не случилось. Она поспешила вернуться в прежнюю комнату, оделась и с невозмутимым лицом вышла к завтраку — румяная, как всегда. Когда Элиза Липпинкотт осведомилась у нее, как спалось, миссис Симмонс с поразительной невозмутимостью ответила, что не очень хорошо. А причина лишь в том, что на новом месте ей всегда скверно спится, и потому она, пожалуй, вернется в свою прежнюю комнату.

Однако Элизу Липпинкотт эти слова не обманули, как и сестер Джиллс и юную Флору. Элиза сказала откровенно:

— Уж вы мне не рассказывайте, как вам скверно спалось на новом месте. Глядя на вас, я догадываюсь, что нынче ночью в юго-западной комнате творилось нечто странное.

Все вопросительно посмотрели на вдову: библиотекарша с торжеством и злорадным любопытством, священник — с печальным недоверием, София Джилл — испуганно и негодующе, а Аманда и юная Флора — с неприкрытым ужасом. Миссис Симмонс держалась с большим достоинством.

— Я не видела и не слышала ничего такого, чему нельзя найти разумное объяснение, — ответила она.

— Но что же там случилось? — не отставала Элиза Липпинкотт.

— Я не желаю больше обсуждать это, — отрезала миссис Симмонс. И протянула тарелку за добавкой картофельного пюре.

Она чувствовала, что скорее умрет, чем признается в нелепой и жуткой истории с ночным чепцом или в том, как ее напугали павлины, улетевшие с синего ситцевого поля, — и это после того, как она посмеялась над самой возможностью чего-то подобного. Вдове удалось уйти от внятного ответа и в известном смысле остаться хозяйкой положения. Она поразила всех своей невозмутимостью перед лицом неведомого ночного ужаса.

После завтрака вдова с помощью Аманды и Флоры перебралась в свою прежнюю комнату. Пока переносили вещи, дамы едва ли перемолвились словом, но работали они в спешке и выглядели виноватыми, когда встречались взглядами, будто сознавая, что выдают общий страх.

В тот же день молодой священник Джон Данн попросил у Софии Джилл дозволения занять юго-западную комнату — всего лишь на одну ночь.

— Я не прошу переносить туда мои вещи, — добавил он, — поскольку вряд ли смогу позволить

себе снимать комнату намного лучше той, которую занимаю сейчас. Но я бы хотел, с вашего разрешения, провести там всего лишь одну ночь — чтобы собственным примером опровергнуть любое злосчастное суеверие, которое, быть может, уже пускает здесь корни.

София Джилл от души поблагодарила священника и охотно согласилась.

— Я решительно не понимаю, как можно, обладая здравым рассудком, поверить в такую чепуху, — ответила она.

— А я решительно не понимаю, как добрый христианин может верить в привидения, — мягко сказал священник, и София Джилл была польщена его словами.

Молодой священник был для нее что дитя; она относилась к нему без всяких сантиментов, и все же ей нравилось, как он тайно осуждает двух других дам, тем самым будто возвышая ее над ними.

Около полуночи преподобный Джон Данн отправился почивать в юго-западную комнату. Он засиделся допоздна, трудясь над проповедью.

С маленьким ночником в руке священник пересек холл, отворил дверь юго-западной комнаты и шагнул вперед. В тот же миг он всем телом словно ударился о стену. Преподобный не верил

своим глазам. Дверь, несомненно, была открыта; он видел за ней комнату, залитую лунным светом, струившимся в окна, от которого предметы роняли черные тени, видел кровать, в которой ему предстояло провести ночь, но войти не мог. Он снова и снова пытался перешагнуть порог комнаты, и каждый раз у него возникало все то же необычайное ощущение, будто он наталкивается на непреодолимое препятствие — некоего невидимку, решительно преграждающего ему путь. Молодой священник был не самого крепкого сложения, но все-таки достаточно силен. Он расставил локти, крепко сжал губы и попытался протиснуться в комнату. Но вновь встретил незримое и упорное сопротивление, которое своим грозным безмолвием напоминало непреодолимую скалу.

Следующие полчаса преподобный Джон Данн тщетно пытался войти в юго-западную комнату — его мучил не страх, но ярость и смутные сомнения, не помутился ли у него рассудок. Перед этим странным препятствием он был беспомощен. Наконец священника охватил ужас, как если бы он столкнулся с силами зла. Ведь преподобный был очень молод и слаб нервами. А потому он убежал в свою комнату и заперся там, точно пе-

репуганная барышня.

Наутро священник явился к мисс Джилл и со всей откровенностью поведал ей о случившемся, причем отчаянно умолял никому ничего не рассказывать, ибо опасался, что проявленной слабостью испортил все дело; ведь он искренне поверил, будто в юго-западной комнате что-то не так.

— Что именно, я не ведаю, мисс София, — признался он, — однако поневоле должен признать: в этой комнате чинят козни некие злые силы, равно непостижимые для современной веры и науки.

Мисс София Джилл выслушала его, понуря голову. К духовенству она питала врожденное почтение, но твердо обещала себе восстановить репутацию юго-западной комнаты в дорогом ее сердцу старом фамильном гнезде.

— Сегодняшнюю ночь я сама проведу в юго-западной комнате, — объявила она, когда священник договорил.

Преподобный посмотрел на нее с сомнением и испугом.

— Я от души восхищаюсь вашей верой и отвагой, мисс София, — сказал он, — но разумно ли это?

— Я твердо решила провести сегодняшнюю ночь в той комнате, — сказала мисс Джилл тоном, не допускающим возражений.

Иногда она умела держаться как королева и именно это сейчас и проделала.

В десять часов вечера София Джилл вошла в юго-западную комнату. Сестру она предупредила о своем намерении заранее и не поддалась на слезные уговоры Аманды, взяв с нее слово ничего не говорить юной Флоре.

— Незачем пугать дитя по пустякам, — сказала София.

Вечером, войдя в юго-западную комнату, София поставила на комод принесенную с собой лампу и прошлась: задернула шторы, сняла с кровати прелестное белое покрывало — словом, готовилась ко сну.

Вела она себя невозмутимо и неспешно, но внезапно ей на ум стали приходить какие-то странные, будто чужие мысли. Она вспоминала о том, чего никак не могла помнить, поскольку случилось это еще до ее рождения: неприятности, связанные с замужеством матери, — семейную распрю, после которой матери отказали в помощи, изгнав ее из дома и навсегда забыв о ней. Острее всего София ощущала теперь горькую оби-

ду, и не на бабушку и тетю, которые так скверно обошлись с ее матушкой, но именно на матушку; а затем осознала, что обида эта уже обратилась на нее саму. Она гневалась на матушку, но та предстала перед Софией юной девушкой, какой дочь никак не могла ее помнить, и София гневалась на себя, и на сестру Аманду, и на Флору. В голове у нее возникали мысли одна другой злее — от них каменело сердце, и однако они завораживали. И все это время сознание Софии двоилось, и она понимала, что мысли эти ей чужды и навязаны чьей-то посторонней волей. Она знала, что так думает кто-то другой, и знала, кто именно. София ощутила, что одержима.

Однако невероятная мощь ее натуры возобладала. От своих предков она унаследовала силу духа, но не злую, как у них, а благую, и готовность постоять за себя. И вот теперь предки Софии обратили свое оружие против себя самих. Усилием воли, едва не стоившим ей жизни, Софи отогнала от себя злой дух, наводивший ужас. Чужие помыслы оставили ее. Затем София постаралась убедить себя, что поразительное ощущение, которое ей довелось испытать, не было вызвано хоть сколько-нибудь сверхъестественными причинами.

— Мне все привиделось, — сказала она себе и

продолжила готовиться ко сну.

Подойдя к комоду, София собралась было распустить волосы и посмотрелась в зеркало, но вместо мягких прядей, причесанных на пробор, она увидела гладко зачесанные седины, покрытые старомодным черным головным убором. Вместо гладкого широкого лба в зеркале отразился высокий, изборожденный морщинами, которые свидетельствовали о сосредоточенных эгоистичных размышлениях о долгой жизни; вместо спокойных голубых глаз на Софию с глубоко затаенной злобой смотрели из зеркала глаза черные, полные пагубных помыслов; вместо резко очерченной, но приветливой улыбки София увидела поджатые, тонкие губы, вокруг которых пролегли угрюмые морщины. Словом, вместо собственного лица, на которое было приятно смотреть, — лица дамы средних лет, прожившей честную жизнь, благожелательно относящейся к другим, терпеливо преодолевающей любые испытания, София увидела в зеркале лицо старухи, вечно мрачной от неизбывной злобы на саму себя и весь свет, на жизнь и смерть, на прошлое и будущее. Вместо собственного лица на Софию смотрело лицо покойной тетушки Харриет, и на тетушке было то самое фиолетовое платье!

София Джилл вышла из комнаты. Она направилась в ту, которую делила с Амандой. Увидев сестру, Аманда встрепенулась. София поставила лампу на столик и стояла, прижимая к лицу носовой платок. Аманда устремила на сестру взгляд, исполненный ужаса.

— Что? Что случилось, София? — взволнованно спросила она.

София все еще не отнимала платка от лица.

— Ах, сестрица, ты поранилась? Кого-нибудь позвать? София, что у тебя с лицом? — воскликнула Аманда.

София наконец отняла платок от лица.

— Взгляни на меня, Аманда Джилл, — приказала она ужасным голосом.

Аманда, дрожа, повиновалась.

— Что с тобой? Что случилось? Ты не ранена. В чем дело, София?

— Что ты видишь?

— Я вижу тебя, конечно.

— Меня?

— Да, тебя. Кого же, по-твоему, я должна видеть?

София Джилл пристально посмотрела на сестру.

— Никогда в жизни я не расскажу тебе о том,

что, как я предполагала, ты должна была увидеть, а ты поклянись никогда не спрашивать меня, — произнесла она.

— Не буду, конечно, София, — едва не плача от ужаса, пообещала Аманда. — Ты ведь больше не станешь ночевать в юго-западной комнате?

— Нет, — отчеканила София. — И я намерена продать этот дом.

Клетушка

Перевод Е. Микериной

Меня зовут миссис Элизабет Дженнингс. Женщина я почтенная и уважаемая. Пожалуй, могу назвать себя леди, благо с юных лет моя жизнь складывалась успешно. Я получила хорошее воспитание и окончила институт благородных девиц. И замуж вышла удачно. Муж мой был торговцем самого достойного сорта — аптекарем. Его заведение располагалось на углу главной улицы города Роктона, где я родилась и где жила до самой мужниной кончины. Родители умерли вскоре после моего замужества, и, когда супруг последовал за ними, я осталась совсем одна. Управлять аптекой мне было не под силу: в лекарствах я не разбиралась и до ужаса боялась по ошибке кого-нибудь отравить. Пришлось с порядочным убытком дело продать. Кроме вырученных пяти тысяч долларов, за душой у меня ничего не было. На мало-мальски приличную жизнь не хватало, и я поняла, что придется как-то зарабатывать. Сперва хотела стать учительницей, но я была уже немолода, и преподавали

теперь по-другому, не так, как в мое время. В знаниях, которыми я могла поделиться, никому не было надобности. Я не придумала ничего иного, как пустить к себе квартирантов. Только мне мешало то же препятствие, что и с учительством: Роктону не требовался пансион. В доме, который снимали мы с мужем, пустовало несколько комнат; я дала объявление, но никто не отозвался. Когда денег почти не осталось, я решилась на отчаянные меры: упаковала мебель и переехала в этот город, где сняла дом побольше. Затея была рискованной по многим причинам. Прежде всего, непомерная арендная плата, а потом, меня здесь не знала ни одна живая душа. Однако я находчива, в трудной ситуации не теряюсь и могу проявить недюжинную деловую хватку. Я поместила весьма оригинальное объявление, истратив на него в буквальном смысле последний цент, вернее, последний наличный цент. Чтобы купить все необходимое для обустройства, пришлось снять деньги с банковского вклада, хоть я и давала себе обещание ни в коем случае этого не делать. Но риск оправдался — через два дня после того, как мое объявление напечатали в газете, в дверь постучалось несколько желающих. Две недели спустя пансион заполнился жильцами,

дело процветало, и все бы так и шло, если бы не таинственные, необъяснимые события, о которых я собираюсь рассказать. Нынче я вынуждена съехать из этого дома и подыскать себе другой. Кое-кто из постояльцев переедет вместе со мной, иные, до крайности нервные, не желают иметь никакого, даже самого отдаленного отношения к пугающим, жутким происшествиям, о которых я вам поведаю. Последует ли несчастье за мной в новый дом и будет ли Тайна клетушки отныне вечно омрачать мое благополучие, покажет время. Не стану пересказывать эту странную историю своими словами, вместо этого предлагаю вам прочесть дневник мистера Джорджа Х. Уиткрофта. Я приведу фрагменты из него начиная с 18 января этого года, когда мистер Уиткрофт поселился в моем пансионе.

Вот что он пишет.

18 января 1883 года. Устроился в новом пансионе. Занял комнату по своим скромным средствам — отгороженную в конце коридора клетушку, да еще на третьем этаже. Я всю жизнь слышу о таких каморках, я и раньше видел их, бывал в них, но только сейчас, поселившись здесь, я осознал все ничтожество и в то же время суровую бескомпромиссность этого жилища. Оно сви-

детельствует о ничтожности своего обитателя. Мужчину тридцати шести лет (а мне именно столько) не поселят в клетушке, если только он сам не ничтожен, по крайней мере в сравнении с другими. Таким образом, неоспоримо доказано, что я плетусь в самом хвосте жизни. Может быть, я проживу в этой каморке до конца своих дней, если, конечно, будет чем платить хозяйке, — а это вполне вероятно, ведь мой небольшой капитал вложен так надежно, что я чувствую себя малолетним сиротой на попечении столпа благочестия. После того как все ценное стащили, я с большим тщанием запер двери. Я вкусил отвращения, которое рано или поздно настигает авантюрную натуру, знающую одни лишь провалы и так называемое невезение. Я ударился в другую крайность. Я проиграл во всем — я проиграл в любви, я проиграл в деньгах, я проиграл в борьбе за повышение по службе, я проиграл в здоровье и силе. Теперь вот обосновался в клетушке, буду жить на свои жалкие доходы и, умеренно попивая здешние минеральные воды, поправлять здоровье, если получится. В противном же случае буду здесь хворать — мой недуг необязательно смертелен, — пока Провидение не заберет меня из моего угла. Мне все равно, где жить. Даже если

воды не помогут, нет резона уезжать отсюда. Итак, мне предстоит обитать в клетушке. Хозяйка вежлива, даже добра, насколько может себе позволить доброту бедняжка, которой все время приходится думать о собственной выгоде. Борьба за существование вредит женской утонченности; женщина — слишком нежное создание, по своей натуре не старательница, и подобное занятие ее принижает; она спускается с высот — и копает, роет, скребет. Но зачастую несчастной просто не остается ничего другого, так что стоит простить ей это падение. Хозяйка отлично справляется, учитывая, в какие непростые обстоятельства она попала, и кормит хорошо, даже на совесть. Похоже, она опрометчиво старается и постояльцев не обидеть, и свою выгоду соблюсти (без этого тоже нельзя). Впрочем, из-за диеты для меня это большого значения не имеет.

Удивительно, до чего могут досаждать ограничения в еде, а ведь я считал, что, в сущности, равнодушен к гастрономическим радостям. Сегодня к обеду был пудинг, попробовать безнаказанно я его не мог, но желал страстно. Желал только потому, что подобного пудинга я никогда прежде не видел, и оттого он наполнился для меня психологическим и духовным смыслом.

Мне казалось — странная причуда, — что его вкус подарит мне новые ощущения, а вместе с тем и новую перспективу. Малейший пустяк может повлечь за собой большие перемены, так почему бы мне не обрести новый взгляд на мир благодаря пудингу? Здешняя жизнь донельзя монотонна, хочется найти хоть какую-то отдушину — вот же парадокс, ведь я удалился сюда с такой покорностью. С другой стороны, невозможно в одно мгновение преодолеть и в корне изменить свою натуру. Теперь я смотрю на себя критически и пытаюсь проникнуть в суть своей личности и своих поступков. Я всегда осознанно тянулся вперед, самонадеянно желал нового, неопробованного, горизонтов шире, морей дальше дальних, раскрепощения мысли. Именно эта черта и стала главной причиной всех моих несчастий. У меня душа исследователя, и в девяти случаях из десяти это приводит к краху. Мне бы следовало стать полярником, будь у меня капитал и достаточно энергии. Я усердно занимался астрономией. Я с жадностью изучал ботанику, мечтая о том, как обнаружу новые виды в неизученных уголках планеты; то же и с животным миром, и с геологией. Я желал богатства, чтобы узнать, каково обладать деньгами и

властью. Я желал любви, чтобы узнать, на что способны чувства. Я страстно желал всего, чего только может захотеть человеческий разум, не столько из чисто эгоистических соображений, сколько из неутолимой жажды познать общечеловеческие стремления. Однако мои способности ограниченны, я не совсем понимаю отчего — да и кто из смертных может постичь природу своей ограниченности, ведь подобное знание помогло бы от нее избавиться, — но, так или иначе, она не позволила мне достичь успеха. И вот он я, в своей клетушке, так глубоко увяз в колее судьбы, что не видать горизонта. Сейчас, когда я пишу эти строки, горизонт по левую руку от меня, мой материальный горизонт, — это стена, оклеенная дешевыми обоями. На обоях неопределенный бело-золотой узор. Я повесил в комнате несколько фотографий, а широкий участок стены над кроватью занимает большая картина маслом, принадлежащая хозяйке. Картина эта, в массивной потускневшей золотой раме, как ни странно, неплоха. Кто автор, не имею представления. На ней изображен традиционный пейзаж, такие были в моде лет пятьдесят назад, — сюжет, щедро растиражированный на литографиях: петляет река, влюбленные в лодочке, на правом берегу

домик, укрывшийся среди деревьев, мягкие склоны холмов и церковный шпиль на заднем плане — и все написано умело. Оригинальность мысли отсутствует, но техника у художника отменная. Однако по какой-то необъяснимой причине эта картина тревожит меня. Против своей воли я смотрю на нее и не в силах оторвать глаз. Она приковывает к себе внимание, словно чье-то сосредоточенное лицо. Попрошу миссис Дженнингс убрать ее. А на этом месте повешу фотографии, которые у меня в сундуке.

26 января. Я не каждый день пишу в дневник. Никогда не вел записи регулярно и не считаю, что должен. По-моему, понятие чувства долга здесь неприменимо. Иногда не происходит ничего интересного, о чем хотелось бы написать, иногда мне нездоровится или просто нет желания. Четыре дня я ничего не писал по всем трем причинам. Но вот сегодня есть и настроение, и повод. Кроме того, я гораздо лучше себя чувствую. Возможно, воды пошли мне на пользу, или все дело в смене обстановки. А может быть, причина не столь проста. Может быть, мой разум ухватился за что-то новое, за некое открытие, и это подстегнуло мое чахлое тело. Знаю лишь, что мне куда лучше, и я весьма озабочен тем, чтобы и дальше пребывать

в хорошем самочувствии. В последнее время я за собой такого не замечал — я был, пожалуй, сам себе безразличен и порой задумывался, не стало ли подобное отношение скорее причиной, нежели следствием моего слабого здоровья. Я столько раз упирался в тупик, что в итоге впал в ступор. Стою, привалившись к преграде, и мне вполне удобно. Все же ничто так не мучительно, как борьба. Перестань сопротивляться, и, может, даже получишь удовольствие. Если не брыкаться, уколов и не почувствуешь. Однако несколько дней назад я отчего-то встрепенулся. Несомненно, в будущем это сулит мне беду, но пока что я не печалюсь. Все началось с картины — той самой большой картины маслом. Вчера пошел к миссис Дженнингс, но она, к моему удивлению, — я-то думал, просьба пустяковая, — отказалась ее убрать. Причин у нее две, обе просты, обе понятны, к тому же я не слишком настаивал. Оказывается, картина не ее. Она уже висела здесь, когда хозяйка арендовала дом. Миссис Дженнингс говорит, что, если картину снять, за ней будет огромное уродливое темное пятно, а просить переклеить обои ей не хочется. Владелец, человек пожилой, сейчас путешествует, агент нелюбезен, и потом, она ведь только недавно въехала. Кроме того, в

моей комнате учинят неприятное разорение и мне придется терпеть неудобства. Убрать картину, по словам хозяйки, некуда, и в другой комнате ее не повесишь: слишком уж большая. Так что картина остается. Если подумать, это вовсе и не важно. Но я достал из сундука свои фотографии и развесил их вокруг картины. Теперь на стене почти не осталось пустого места. Фотографии я повесил вчера днем, а ночью снова произошло нечто странное — что-то подобное творится каждую ночь с тех пор, как я тут поселился, но я не был уверен, вполне ли это «происходит» или просто такой сон, когда снится, что проснулся. Но прошлой ночью все повторилось, и теперь я знаю наверняка. Есть в этой комнате что-то очень странное, и оно вызывает мой живой интерес. Запишу на будущее события прошлой ночи. Что касается всех предшествующих ночей, которые я провел здесь, скажу лишь, что все было примерно так же, только как будто в подготовительной стадии, словно прелюдия к вчерашнему.

Лечусь я не только минеральными водами — чтобы не допускать приступов и держать болезнь в узде, я принимаю лекарство, без которого мне в любой момент грозят серьезные боли. Должен заметить, что к наркотическим веществам это

снадобье не относится. Оно никак не могло стать причиной изложенного ниже. Мой рассудок прошлой ночью, как и во все предыдущие ночи, проведенные в этой комнате, был предельно ясен. Лекарство — его прописал доктор, занимавшийся мною до моего приезда сюда, — я должен пить каждые четыре часа, когда бодрствую. Сплю я всегда плохо, а следовательно, могу безо всяких неудобств принимать медикамент ночью по часам так же, как и днем. Потому я привык оставлять пузырек с ложкой там, где их легко будет взять, не зажигая газ. С самого первого дня я определил пузырьку место на комоде у стены, напротив кровати. Ближе специально не ставлю: один раз я уже нечаянно его опрокинул, и почти все пролилось, а лекарство дорогое, накладно. Стало быть, бутылочка надежно стояла на комоде, а комнатенка моя так мала, что от кровати до него всего три-четыре шага. Прошлой ночью я, как обычно, проснулся. Лег я около одиннадцати, значит, рассудил я, сейчас примерно три. Я всегда просыпаюсь как по будильнику, мне нет нужды смотреть на часы.

Спал я необычайно крепко и без сновидений и проснулся в одно мгновение, бодрым и полным сил, что мне несвойственно. Я тут же встал и

направился к комоду, на котором оставил лекарство.

К моему крайнему изумлению, шагов, которых прежде хватало, чтобы пересечь комнату, на сей раз оказалось недостаточно. Я пошел дальше, но мои руки, вытянутые вперед, ничего не коснулись. Я остановился, потом двинулся дальше. Я не сомневался, что иду по прямой, но даже если и нет, я точно знал: в этой крохотной квартирке невозможно идти так долго и не наткнуться на стену или мебель. Я шагал неуверенно — помню такую походку у актеров на сцене: выставил одну ногу вперед, помялся, подтянул другую ногу. Руки держал перед собой, они по-прежнему ничего не касались. Я снова остановился. Я не испытывал ни малейшего страха или ужаса. Скорее был ошеломлен. «Как такое возможно? — гремело у меня в голове. — Что происходит?»

Тьма стояла кромешная — ни одного проблеска света. Даже в так называемой темной комнате обычно что-то да отсвечивает: стены, картинные рамы, зеркала или белые предметы. Здесь же был абсолютный мрак. Дом стоит в тихой части города. Вокруг много деревьев; электрические фонари на улице гаснут в полночь; луны не было видно, небо затянули облака. Я не мог разглядеть

единственное в комнате окно, что мне показалось странным, даже в такую темную ночь. В конце концов я решил изменить направление и свернул, насколько я мог судить, под прямым углом. Если пойду в эту сторону, думал я, то скоро достигну письменного стола у окна; или, если окажется, что я иду в другую сторону, доберусь до двери в коридор. Я так никуда и не пришел. После этого, говорю истинную правду, я начал считать шаги и старался шагать равномерно — и так обошел, не найдя никакой мебели, пространство двадцать на тридцать футов, не меньше — просторнейшую комнату. Между тем под моими босыми ногами было нечто такое, чего им прежде касаться не доводилось. Я ступал по чему-то упругому, словно по воздуху или по воде, и оно выдерживало мой вес — точнее описать не могу. Странным образом это ощущение бодрило меня и наполняло энергией. Кроме того, эта поверхность, если ее можно так назвать, была на ощупь прохладной, точно туман или влага окутывали холодком мои ступни. Но вот я остановился; удивление наконец уступило место оцепенению ужаса. «Где я? Что делать?» В голове проносились средневековые истории об инквизиции, рассказы о путниках, похищенных прямо из постели и

увезенных в далекие и опасные края. Я отдавал себе отчет, что для человека, который лег спать в заурядной комнатушке в донельзя заурядном городке, подобные догадки крайне нелепы, но человеческому уму трудно принять иное объяснение, кроме человеческого. Пожалуй, любое толкование казалось мне тогда и кажется сейчас более рациональным, нежели мысль о том, что я столкнулся со сверхъестественным, как мы его понимаем. Наконец я вопросил вполголоса: «Что все это значит?» И уже громче: «Где я? Кто здесь? Чьи это проделки? Хватит с меня ваших шуточек. Если здесь кто есть, отзовитесь!» Гробовая тишина. И вдруг во фрамуге над дверью вспыхнул свет. Меня услышали — жилец из соседней комнаты, приличный господин, тоже приехал сюда поправить здоровье. Он зажег газовый рожок в коридоре и взволнованно, дрожащим голосом, спросил: «Что случилось?» Сосед мой — человек нервического склада.

Едва над дверью показался свет, я тотчас увидел, что нахожусь в своей комнате. Все было по-прежнему: я ясно различил смятую постель, письменный стол, комод, стул, умывальник, свою одежду, висящую на крючках, ту самую картину на стене. В лившемся из фрамуги свете картина

мерцала, приобретая необычайную четкость. Казалось, по воде и впрямь бежит рябь и лодка скользит по течению. Завороженно глядя на нее, я ответил переполошившемуся соседу:

— Ничего не случилось. А в чем дело?

— Мне показалось, вы что-то говорили, — отозвался сосед из-за двери. — Я подумал, вдруг вам плохо.

— Нет-нет. Со мной все в порядке. Просто искал впотьмах свое лекарство. Уже нашел, когда вы зажгли газ.

— Значит, все в порядке?

— Безусловно. Простите за беспокойство. Доброй ночи.

— Доброй ночи.

Через минуту я услышал, как хлопнула его дверь. Он явно остался не удовлетворен. Я принял лекарство и отправился в постель. Сосед оставил свет в коридоре. Какое-то время я лежал без сна. Перед тем как я уснул, кто-то — наверное, миссис Дженнингс — вышел в коридор и погасил газ. Сегодня утром, когда я проснулся, все было как обычно. Интересно, повторится ли мое приключение следующей ночью.

27 января. Буду вести записи ежедневно, пока не разберусь, что происходит. Ночь была еще

удивительнее предыдущих, и что-то подсказывает мне — это не предел. Лег я рано, в половине одиннадцатого, предусмотрительно положив на стул у кровати коробок спичек, чтобы не попасть впросак, как вчера. Перед сном я принял лекарство; стало быть, проснуться мне надлежало в два тридцать. Я уснул не сразу, но три часа точно проспал крепким сном без сновидений. Затем проснулся. Несколько минут я лежал, не решаясь зажечь спичку и осветить себе путь к комоду, на котором стоял пузырек. Моя нерешительность проистекала отнюдь не из чувства страха — так, бывает, человек скукоживается, собираясь с духом, чтобы сесть в ледяную ванну. Мне казалось, что зажечь спичку, подойти к комоду, принять лекарство и мирно вернуться в постель куда проще, чем рискнуть обречь себя на метания по неведомому миру, то ли призрачному, то ли реальному.

В конце концов дух приключений, всегда правивший мною, взял верх. Я встал. Взял спички и направился, как я полагал, прямо к комоду, стоявшему футах в пяти от кровати. Как и раньше, я шел и шел, а комода все не было. Я продвигался вперед, шаря перед собой руками, осторожно переставляя ноги, но лишь ощущал ступнями по-

верхность, которую мне не назвать и не описать. Но вдруг я что-то почувствовал. Что-то позвало, нет, даже властно окликнуло одно из пяти моих чувств — обоняние, как ни странно, — и произошло это доселе незнакомым мне образом, будто бы в обратном порядке. Аромат сперва достиг моего сознания, тогда как обычно, насколько мне известно, запах в первую очередь воздействует на обонятельный нерв, а уж тот передает информацию в мозг. Допустим, например, у меня под носом роза — нерв, отвечающий за обоняние, говорит мозгу: «Это роза». Но на этот раз мозг сказал: «Это роза», — и уже потом обоняние распознало запах. Я говорю «роза», но то была не роза, во всяком случае, розы с подобным ароматом я прежде не встречал. Запах, несомненно, был цветочный и, возможно, более всего напоминал розу. Мой разум отреагировал всплеском восторга. «Что за диво?» — спросил я себя. И тут восхитительный аромат ударил в ноздри. Я вдохнул его, и он насытил мои мысли, утолив голод, о котором я и не догадывался. Я шагнул вперед, и возник другой запах, который я, за неимением более подходящего сравнения, назвал бы лилейным, затем повеяло фиалками, потом — резедой. Мне не описать пережитое, но это было чистое

наслаждение, возвышенный экстаз. Я пробирался все дальше и дальше, и меня обступали все новые благоуханные волны. Я словно брел, утопая по грудь, через райские кущи, но нащупать вокруг себя так ничего и не сумел. Потом, словно от пресыщения, у меня вдруг закружилась голова. Что, если мне грозит неведомая опасность? Меня охватил нешуточный страх. Я зажег спичку — я был в своей комнате, на полпути между кроватью и комодом. Приняв лекарство, я лег в постель, через какое-то время уснул и до утра уже не просыпался.

28 января. Прошлой ночью не стал пить лекарство. Сейчас столько новых медикаментов, и на организм они порой действуют непостижимым образом, вот я и подумал: а что, если снадобье все же как-то связано с моими ночными приключениями? Лекарство не принимал. Пузырек поставил, как обычно, на комод — побоялся, что, если еще больше нарушу привычный порядок вещей, того и гляди не проснусь вовремя. Спички оставил на стуле у кровати. Уснул примерно в четверть двенадцатого, а проснулся, когда часы били два, — чуть раньше обычного. На сей раз я не колебался. Сразу встал, взял спички и отправился прежней дорогой. Я проделал, как мне

казалось, немалый путь, не встретив никаких препятствий. Я тянул носом воздух, но чудесные ароматы вчерашней ночи не возвращались. Вместо этого я вдруг ощутил вкус, неведомую приятную сладость, и — как дотоле с запахом — все было наоборот: вкус сперва проник в мое сознание и лишь потом скользнул под язык. Невольно вспомнилось «слаще меда и капель сота» из Писания. Я подумал о манне небесной. Я испытывал неизъяснимое удовлетворение, словно утолил сильный голод. Я шагнул вперед — и ощутил новый вкус. А потом другой. Сладость была вовсе не приторной, но столь пронзительной, что поистине обжигала. Физическое ощущение становилось духовным переживанием. «Всю свою жизнь до этой минуты я ходил голодным», — сказал я себе. Я чувствовал, как резво, будто под действием стимуляторов, заработал от этой божественной пищи мозг. И вдруг повторился вчерашний приступ. У меня закружилась голова, и я весь сжался, объятый неясным страхом. Я зажег спичку и снова оказался в своей клетушке. Я вернулся в постель и вскоре уснул. Лекарство принимать не стал. Решил пока что воздерживаться от него. Чувствую себя намного лучше.

29 января. Лег как обычно, спички на месте;

уснул около одиннадцати, проснулся в половине второго. Слышал, как пробило середину часа. Я стал просыпаться все раньше и раньше. Лекарство не принимал, но пузырек оставил, как всегда, на комоде. Снова взял спички, и пошел по комнате, и опять попал в какое-то странное место, но и на сей раз — так, видимо, предначертано — все было по-другому. Этой ночью я не ощущал ни вкусов, ни запахов, зато услышал звуки — бог мой, что за звуки! Сперва я различил непрерывно нараставший и затихавший шум реки, который исходил как будто из стены за кроватью, где висит старая картина. Ничто в природе, кроме реки, не способно одновременно и приближаться, и отступать. Реку ни с чем не спутаешь. Глухой рокот волн все громче и громче, и вот уже стихает, замирает вдалеке. Потом сквозь шум реки послышалась песня на незнакомом языке — я не знал, но понимал его — мой *разум* все понимал, не разбирая слов. В песне пелось обо мне, это был я из неведомого будущего, совершенно несопоставимого с прошлым, и все же мое сознание до краев заполнил экстаз, точно мне напророчили великое счастье. Песня не прекращалась, но, пройдя вперед, я окунулся в иные звуковые волны. Звонили колокола, отлитые ни

дать ни взять из хрусталя и созывавшие к райским вратам. Играли неведомые инструменты, в чудесные мелодии вплетался нежный любовный шепот, и все это наполняло меня уверенностью в безоблачном будущем.

Наконец я как будто оказался в центре грандиозной оркестровой ямы, которая становилась все глубже и шире, а потом почувствовал, что волны звука подхватывают меня мягко, но уверенно, совсем как морские волны. И снова меня обуяли ужас и настойчивое желание оказаться в знакомой обстановке. Я чиркнул спичкой и вернулся в свою комнату. Не понимаю, как мне удается заснуть после таких чудес, но тем не менее я сплю. Я спал без сновидений и проснулся, когда уже рассвело.

30 января. Вчера услышал кое-что касательно моей комнаты, нечто, странно меня взволновавшее. Напугало это меня, внушило страх перед неведомым или еще больше подогрело мою страсть к приключениям — не могу сказать, хоть убей. Я был в санатории, потягивал на веранде минеральную воду, когда кто-то окликнул меня. «Мистер Уиткрофт?» — произнес чей-то голос вежливо, вопросительно, словно извиняясь за возможную ошибку. Я обернулся и увидел

джентльмена, которого сразу узнал. Я редко забываю лица или имена. Это был мистер Аддисон, три года назад мы оба отдыхали в маленькой летней гостинице в горах и часто виделись. Мимолетное, в общем-то, ничего не значащее знакомство. Не сведет больше судьба — и не жаль, а сведет — без раздумий возобновишь приятельство. Это во всех отношениях неправильно. Но когда ты немощен и одинок, как я сейчас, то благодаришь случай за приветливую улыбку на знакомом лице. Я не на шутку обрадовался Аддисону. Он сел рядом. В руках у него тоже был стакан минеральной. Здоровье его не так скверно, как мое, но оставляет желать лучшего.

Аддисон много раз бывал здесь, какое-то время даже жил постоянно. Три года провел в санатории, ежедневно пил воды. Вот почему он знает об этом небольшом городке все, что только можно знать. Он поинтересовался, где я остановился, и, когда я назвал улицу, разволновался и спросил номер дома. Когда я сообщил ему номер — 240, он заметно вздрогнул, глянул на меня пристально, а потом с минуту молча цедил воду. Не было никаких сомнений, что ему известна какая-то тайна о моем пристанище, и я спросил:

— Что вы знаете о доме двести сорок по Пле-

зант-стрит?

— Да ничего, — ответил он уклончиво и глотнул еще воды.

Но чуть погодя осведомился этаким нарочито небрежным тоном, в какой комнате я живу.

— Я как-то сам несколько недель жил на Пле-зант-стрит, двести сорок, — сказал он. — По-моему, там всегда был пансион.

— Дом вроде бы пустовал несколько лет, пока не явился нынешний наниматель, — заметил я. Потом ответил на его вопрос: — У меня комната на третьем этаже. Тесновато, конечно, но вполне уютно, для клетушки-то.

На лице мистера Аддисона столь явно отразился ужас, что я принялся его расспрашивать и не отступал, пока он не сдался и не рассказал мне, что знает. Его смущало, что я могу заподозрить его в неподобающей мужчине склонности к суевериям, и, кроме того, ему не хотелось сообщать мне ничего сверх действительных фактов.

— Что ж, я расскажу, Уиткрофт. Вот вкратце то, что я знаю. Последнее, что я слышал о доме двести сорок по Плезант-стрит, — его не могли сдать, потому что там якобы кого-то убили, хотя ничего не доказано. Дважды пропадали люди, и в обоих случаях — обитатели каморки, в которой сейчас

живете вы. Первой исчезла невероятной красоты девушка, она приехала сюда на лечение и, говорят, разочаровалась в любви, отчего пребывала в глубокой меланхолии. Она остановилась в доме двести сорок и около двух недель прожила в той самой комнате, а потом однажды утром пропала, как в воду канула. Связались с ее семьей — родни у бедняжки было не много, да и друзей тоже, — повсюду ее искали, но, насколько мне известно, так и не нашли. Полиция арестовала двух или трех человек, но выяснить ничего не удалось. Это случилось еще до меня, а вот второй человек пропал, когда я жил в том доме, — приятный юноша, студент, переутомился в колледже. Он сам оплачивал учебу. Простудился, подхватил грипп, болезнь вкупе с перенапряжением чуть его не прикончила, вот он и приехал сюда на месяц отдохнуть и поправить здоровье. В комнате он прожил чуть меньше двух недель, пока однажды утром не исчез. Поднялся большой переполох. Вроде как студент намекал, что с комнатой что-то неладно, но полиция, конечно, не придала этому значения. Арестовали кучу народу, но парня так и не нашли, и всех отпустили, хотя некоторые из задержанных, возможно, до сих пор под подозрением. Пансион закрылся. Шесть лет назад

никто не поселился бы в том доме, не говоря уж о каморке на третьем этаже, но теперь, видно, приехали новые люди, и все забылось. Бьюсь об заклад, ваша хозяйка не скажет мне спасибо за то, что я разворошил прошлое.

Я заверил его, что мне до этой истории нет никакого дела. Он пристально посмотрел на меня и спросил без обиняков, не видел ли я чего дурного или необычного в этой комнате. Я ответил, исхитрившись при этом не солгать, что ничего странного видеть не видел, — и это чистая правда, я по-прежнему ничего не видел, но, вероятно, еще увижу. Время придет, я чувствую. Прошлой ночью я ничего не видел, не слышал, не обонял и не ощущал на вкус — зато я осязал. Вчера, вновь отправившись исследовать неведомое, я и шагу не ступил, как на что-то наткнулся. В первую секунду я ощутил разочарование. «Комод, я уткнулся в край комода», — подумал я. Но вскоре обнаружил, что передо мной вовсе не старый крашеный комод, а что-то резное, с крылышками, насколько могли распознать мои неопытные пальцы. Я нащупал острые изгибы длинных крыльев поверх, кажется, арабески из ажурных листьев и цветов. Не знаю, что это было, — может быть, сундук. Легко можно подумать, будто я преувеличиваю,

говоря, что предмет этот был какой-то непостижимой, ускользающей формы, какой я прежде никогда не встречал. Материал также был мне неизвестен. Гладкий, как слоновая кость, только не слоновая кость; удивительно теплый, словно долго стоял на жарком солнце. Я двинулся дальше и нашел еще мебель — я склонен считать, что это была мебель неизвестного мне стиля, а вероятно, и назначения, — и всю ее объединяла таинственность формы. Наконец я приблизился, вне всяких сомнений, к большому открытому окну. Я ясно чувствовал, как в лицо мне дует нежный, теплый, но в то же время исполненный прозрачной свежести ветер. И это точно было не окно моей клетушки. Я выглянул в проем, но ничего не увидел. Только ветер дул в лицо.

Потом вдруг совершенно неожиданно, справа и слева от себя, я нащупал живые создания в образах мужчин и женщин, осязаемых существ в осязаемых одеждах. Мягкие шелковистые ткани их нарядов обволакивали меня и завлекали в свои цепкие паучьи сети. Я бродил в толпе людей, чем бы и кем бы они ни были, но странное дело, не видя их, испытывал отчетливое ощущение, что я их знаю. То и дело чья-то знакомая рука мягко сжимала мою; один раз кто-то приобнял

меня. Потом я почувствовал, как колышущаяся толпа легко подхватывает меня и увлекает за собой, струящиеся одежды окутывают меня — и снова налетает страх. Я чиркнул спичкой и очутился в своей клетушке. Не лучше ли впредь не гасить на ночь газ? Не зашло ли все слишком далеко? Что сталось с теми людьми, с мужчиной и женщиной, которые жили здесь до меня? Не пора ли остановиться?

31 января. Минувшей ночью я видел — видел больше, чем могу описать и волен рассказать. Нечто благоразумно утаенное от нас природой открылось мне, но я не вправе полностью раскрывать ее секрет. Скажу лишь, что есть окна и двери, распахнутые во внешний мир, для которого наш мир — не более чем передняя. И еще река; что-то странное с этой картиной. По реке можно уплыть. Она текла беззвучно — ведь сегодня я мог только видеть, ничего больше. Вчера мне показалось, что я узнал кое-кого в толпе, сегодня убедился, что был прав, хотя там были и незнакомые лица. Девушка, исчезнувшая из этой комнаты, действительно была прекрасна. Все увиденное в эту ночь было прекрасно, хотя я и воспринимал это только зрением. Каково было бы воспринять происходящее всеми органами

чувств? Не стоит ли погасить на ночь газовый рожок? Быть может…

На этом дневник, оставленный мистером Уиткрофтом в его комнате, обрывается. Наутро жилец исчез. Пришел его друг мистер Аддисон, провели обыск. Даже снесли стену, на которой висела картина, и нашли кое-что странное, учитывая, что в доме и раньше был пансион, где, казалось бы, негоже жилой площади пропадать даром. За стеной оказалась еще одна комната, вытянутая, длиной с саму клетушку, но уже, почти что чулан. Ни окна, ни двери — все, что там было, — это лист бумаги, исписанный цифрами, какие-то вычисления. Про цифры ходило много разговоров, якобы эти расчеты — доказательство пятого измерения (что бы это ни было), но потом сказали, что ничего там не было доказано. Пытались найти подтверждение тому, что кто-то убил несчастного мистера Уиткрофта и спрятал тело; бедного мистера Аддисона арестовали, но ничего против него не нашли. Установили, что ту ночь он провел в санатории и никак не мог совершить убийство. Что сталось с мистером Уиткрофтом, так и не узнали. Теперь говорят, что из той же комнаты пропали еще двое, до того как я арендовала дом.

Приходил агент, пообещал присоединить найденную комнату к клетушке, переклеить обои и все перекрасить. Картину он забрал; поговаривали, что с ней что-то не так, подробностей не знаю. На вид это была самая обычная картина. По-моему, агент ее сжег. Он сказал, что, если я останусь, он договорится с хозяином — говорят, тот большой оригинал — и арендную плату мне снизят, а то и вовсе позволят жить бесплатно. Но я сказала, что не останусь, даже если он сам будет мне приплачивать. Сама я ничего не боюсь — хотя, признаться, прежде чем поселить в ту комнату кого-нибудь, я рассказала бы ему, что произошло, — но мои квартиранты съедут, и я знаю, что новых мне не найти. Я сказала агенту, что меня больше устроил бы обычный дом с привидением, а не такой, из которого можно исчезнуть неизвестно куда и пропасть навеки. Я переехала и, повторюсь, еще не знаю, последует ли за мной несчастье в новый дом, — время покажет. Как бы там ни было, клетушки в нем нет.

Монтегю Родс Джеймс

Трактат Миддот

Перевод Н. Роговской

Осенний день клонился к вечеру. Пожилой джентльмен с худощавым лицом и пышными седыми бакенбардами, толкнув распашную дверь, вошел в вестибюль одной знаменитой библиотеки и, обратившись к дежурному, сказал, что хотел бы воспользоваться своим правом взять книгу навынос. Да, конечно, — если его имя значится в списке лиц, обладающих этой привилегией. Он протянул свою визитную карточку: «Мистер Джон Элдред». Имя сверили с упомянутым списком, и разрешение было получено.

— Спасибо, только знаете что, — сказал посетитель, — я давно не был здесь, боюсь заплутать в ваших коридорах. К тому же до закрытия остается мало времени, а бегать вверх-вниз по лестнице мне здоровье не позволяет. Вот тут записано название книги. Нельзя ли попросить кого-нибудь из сотрудников сходить за ней?

Дежурный на секунду задумался и подозвал проходившего мимо молодого человека.

— Мистер Гарретт, у вас не найдется свободной

минутки помочь этому джентльмену?

— С удовольствием помогу, — ответил мистер Гарретт, забирая листок с названием. — Кажется, я даже знаю, где искать: месяц или два назад я проводил переучет в том отделе. Но на всякий случай посмотрю в каталоге. Как я понимаю, сэр, вас интересует именно это издание?

— Да, будьте любезны, это — и никакое другое, — подтвердил мистер Элдред. — Вы меня очень обяжете.

— Ну что вы, сэр, какие пустяки! — И мистер Гарретт поспешно удалился.

— Так я и думал, — сказал он сам себе, когда его палец, скользивший по страницам каталога, остановился на нужной записи. — «Талмуд: трактат Миддот, с комментариями Нахманида. Амстердам, 1707. 11.3.34». Отдел гебраистики, разумеется. Найти не составит труда.

Мистер Элдред, расположившись в глубоком кресле, с нетерпением ожидал в вестибюле своего гонца, и, когда тот сбежал вниз по лестнице с пустыми руками, лицо его разочарованно вытянулось.

— Сожалею, что вынужден огорчить вас, сэр, — сказал молодой человек, — но книга сейчас у другого читателя.

— О господи! — воскликнул мистер Элдред. — Неужели? Вы уверены? Тут не может быть ошибки?

— Вряд ли, сэр. Но если вы еще немного подождете, то, вероятно, встретите джентльмена, который взял ее. Он должен вскоре покинуть библиотеку. Я почти уверен, что видел, как он снял с полки эту самую книгу.

— Что вы говорите! Случайно, не знаете, кто он? Какой-нибудь профессор — или студент?

— Не думаю. Определенно не профессор, иначе я узнал бы его. Правда, вечером в той части библиотеки неважное освещение, а лица его я не видел. Невысокий, в летах… возможно, священник, судя по облачению. Это все, что я могу сказать. Если дождетесь его, я спрошу, не уступит ли он вам эту книгу. Может быть, она не так уж срочно нужна ему.

— Нет-нет, — воспротивился мистер Элдред, — я не… Я не могу здесь задерживаться. Спасибо, но… нет. Мне надо идти. Загляну опять завтра утром. Надеюсь, вам удастся выяснить, кто взял книгу.

— Непременно выясню, сэр. Книга будет ждать вас, если мы с ним…

Но мистер Элдред уже выскочил за дверь, хотя излишняя торопливость, по его же словам, грози-

ла навредить его здоровью.

У Гарретта оставалось немного времени до конца рабочего дня, и он подумал: «Вернусь-ка в отдел и поговорю со стариком. Скорее всего, он сможет на день-другой расстаться с книгой. Чутье подсказывает, что второй претендент не будет долго держать ее у себя». И он снова поднялся в отдел гебраистики. Однако внутри никого не было, а том с индексом 11.3.34 стоял на своем месте на полке. Выходит, он напрасно обманул ожидания клиента. Гарретту стало досадно: в каком-то смысле это задевало его профессиональную честь. Будь его воля — не уважай он библиотечные правила, — он тут же отнес бы книгу в вестибюль, чтобы наутро ее вручили мистеру Элдреду. Впрочем, мистер Элдред наверняка попросит вызвать его. Перед уходом мистер Гарретт сказал вахтеру-дежурному, чтобы тот немедля послал за ним, как только появится мистер Элдред. Однако утром он сам столкнулся с мистером Элдредом в вестибюле — через несколько минут после открытия библиотеки, когда там еще никого, кроме штатных сотрудников, не было.

— Прошу меня простить, — сказал он, — обычно я не допускаю таких глупых ошибок. Понимаете, сэр, тот старый джентльмен при мне снял том с

полки, но не раскрыл его — так поступают, когда хотят забрать книгу с собой, а не просто свериться с каким-то местом в тексте, и я был совершенно уверен… Не важно, я мигом сбегаю наверх и уж на этот раз вручу ее вам.

Потянулись минуты. Мистер Элдред прохаживался взад-вперед по вестибюлю, читал объявления, поглядывал на часы, садился, устремив взгляд на лестницу, — словом, делал все, что способен проделать за двадцать минут человек, снедаемый нетерпением. Наконец он не выдержал и спросил дежурного, очень ли далеко находится тот отдел, куда удалился мистер Гарретт.

— Я и сам удивляюсь, сэр, вообще-то он шустрый малый. Должно быть, его затребовал к себе старший библиотекарь, но все равно это странно: он сказал бы начальству, что вы ждете его внизу. Сейчас свяжусь с ним по переговорной трубе и выясню, в чем загвоздка.

Дежурный подошел к переговорному устройству, задал свой вопрос и приник ухом к трубе. Выслушав ответ, он переменился в лице и снова что-то спросил. Ему коротко ответили. Он вернулся к своей конторке и, понизив голос, сказал:

— К сожалению, сэр, опять какое-то недоразу-

мение. Кажется, мистеру Гарретту стало плохо. Начальник вызвал ему кеб к служебному входу и отправил домой. Какой-то удар, не иначе.

— Что? В самом деле? Его ударили?

— Нет, сэр, ничего такого, я говорю про удар в медицинском смысле, ну там внезапный приступ, обморок или еще что… Не больно-то крепок наш мистер Гарретт. Но если вы беспокоитесь о книге, сэр, так, может быть, вы сумеете сами найти ее. А то некрасиво получается — вы уже второй раз подряд приходите зря…

— Э-э… Даже не знаю. Я огорчен, что мистеру Гарретту стало плохо, пока он пытался оказать мне услугу. Думаю, книга подождет, сейчас будет правильнее навестить мистера Гарретта. Вы ведь дадите мне его адрес?

С этим не возникло затруднений. Взглянув на адрес, мистер Элдред понял, что молодой человек живет в меблированных комнатах неподалеку от вокзала.

— Да, и последний вопрос. Вчера, после того как я ушел, вы не заметили, выходил ли из библиотеки старый джентльмен, по виду священник, в таком… э-э… черном облачении? Я подумал, вдруг он… то есть, возможно, он еще оставался… в общем, вдруг я его знаю.

— Нет, сэр, точно нет. После вас отсюда вышли только два джентльмена, оба нестарые: мистер Картер с нотами и один профессор с парой романов. Больше никто не выходил. И я наконец сел выпить чаю…. Премного благодарен, сэр.

Встревоженный оборотом событий, мистер Элдред нанял кеб и поехал к мистеру Гарретту, однако молодой человек был не в состоянии принимать посетителей. По мнению квартирной хозяйки, ему стало лучше, но он все еще не оправился от случившегося. Сославшись на доктора, она посоветовала мистеру Элдреду перенести свой визит на утро. В сумерках мистер Элдред вернулся в гостиницу, где провел, сдается мне, не самый веселый вечер.

На следующий день ему удалось-таки повидаться с мистером Гарреттом. Когда мистер Гарретт пребывал в добром здравии, это был жизнерадостный молодой человек весьма приятной наружности. Но сейчас он являл собой какое-то жалкое, бледное существо, обложенное подушками в кресле у камина; он ежеминутно вздрагивал и косился на дверь. Впрочем, если больной и опасался нежелательных визитеров, мистер Элдред был очевидно не из их числа.

— Нет, это вы примите мои извинения! Я ужас-

но переживал, что не знаю вашего адреса и не могу с вами объясниться. И теперь очень рад видеть вас у себя. Простите великодушно, что доставил вам столько беспокойства, но, поверьте, я никак не мог предвидеть такого… того, что случилось со мной.

— Само собой! Однако… Я в некотором роде доктор. Могу я спросить вас… Не сомневаюсь, вы уже получили необходимые рекомендации, и все же… Вы упали?

— Нет. То есть я действительно рухнул на пол… но не с высоты, не оттого что закружилась голова. Я упал от… потрясения.

— Иными словами, вас что-то напугало. Померещилось что-нибудь?

— Боюсь, *не померещилось*. Я на самом деле кое-что увидел. Помните тот день, когда вы в первый раз пришли в библиотеку?

— Ну конечно. Только прошу вас, не надо ничего описывать… Воспоминания не пойдут вам на пользу.

— Напротив. Думаю, мне станет легче, если я расскажу об этом кому-то вроде вас: возможно, вы сумеете найти рациональное объяснение. Едва я зашел в отдел, где хранится ваша книга…

— Не нужно, мистер Гарретт, я настаиваю. По-

мимо всего прочего, у меня не так много времени, я еще должен собрать вещи и успеть на поезд. Нет, ни слова больше — это расстроит вас сильнее, чем вы можете себе представить. Напоследок позвольте мне сказать… Я поневоле чувствую свою вину за ваше нездоровье и хотел бы возместить вам расходы, которые выражаются в… мм?..

Его предложение было решительно отклонено. Мистер Элдред не стал тратить время на уговоры и откланялся, но, прежде чем он вышел за дверь, мистер Гарретт сунул ему в руку записку с библиотечным индексом трактата Миддот, чтобы он при желании мог самостоятельно отыскать книгу в библиотеке. Но мистер Элдред там больше не появлялся.

В тот же день Уильяма Гарретта посетил некий Джордж Эрл — его сверстник и коллега. Эрл был среди тех, кто обнаружил Гарретта лежащим без чувств на полу у выхода из так называемого отдела гебраистики — закутка с книгами на иврите, примыкавшего к центральному проходу в широкой галерее. С той минуты он не переставал тревожиться о здоровье товарища. Едва библиотека закрылась для читателей, Эрл примчался к нему.

— Послушай, старина, — сказал он (сперва

потолковав о том о сем), — я понятия не имею, отчего ты вдруг почувствовал себя скверно, но у меня такое впечатление, будто скверной отравлен самый воздух нашей библиотеки. Хочешь верь, хочешь нет, но перед тем, как мы наткнулись на тебя, я шел с Дэвисом по галерее и говорил ему: „Откуда здесь этот спертый, затхлый запах? Даже не знаю, с чем сравнить его. Таким надышишься — заболеешь“. На минуту представь, что кто-то долго живет в атмосфере зловония, — а ничего отвратительнее мой нос в жизни не нюхал, уверяю тебя!.. Ведь раньше или позже организм насквозь пропитается этим мерзким духом и сам начнет источать его, как ты думаешь?

Гарретт замотал головой.

— Запах запахом, но он не висит в воздухе постоянно, хотя в последние два дня я тоже замечал… что-то вроде невероятно сильного запаха трухи или тлена. Нет, не в том дело — на меня подействовало не это, а то, что я *увидел*. Давай я тебе расскажу. Я зашел в отдел гебраистики взять книгу для читателя, который ожидал меня в вестибюле, — ту самую, с которой я накануне допустил оплошность. Тогда я по просьбе того же человека поднялся в отдел и увидел, как старик-священник в рясе снял ее с полки. Сво-

ему клиенту я сообщил, что книга «на руках». С тем он и ушел, чтобы назавтра снова прийти за ней. А я вернулся наверх спросить у священника, нельзя ли ненадолго забрать ее у него, но священника нигде не было, а книга стояла на месте. На следующий день, то есть вчера, я опять поднялся в отдел, как уже сказал тебе, и — кто бы мог подумать! — в десять часов утра, при наилучшем освещении, какое только бывает в этих темных отделах, — я вновь вижу давешнего священника: стоит спиной ко мне и разглядывает книги на нужной мне полке, и голова у него такая страшная, лысая!.. (Шляпу он оставил на столе.) Я уставился на него, точно завороженный. На редкость уродливая лысая голова, говорю я тебе. И вид у нее был какой-то неживой, словно она вся высохла и наполовину истлела, а редкие тонкие волоски больше напоминали паутину, чем обычный человеческий волос. Я кашлянул, шаркнул ногой — словом, немного пошумел, желая привлечь его внимание. Он обернулся, и я увидел его лицо — совершенно мне незнакомое. Говорю тебе, я не мог ошибиться! Хотя нижней части лица я по какой-то причине не разглядел, зато верхнюю разглядел лучше некуда: сухая, как у мумии, с провалами глазниц, затянутыми от

бровей до скул *паутиной*... густой паутиной! Вот отчего я лишился чувств, как принято выражаться, и больше мне сказать нечего.

Какие бы объяснения вышеописанному феномену ни предложил Эрл, нам нет до них дела, поскольку они не смогли убедить Гарретта, что он не видел того, что видел.

Прежде чем Уильям Гарретт вновь вернулся к работе, он — по настоянию старшего библиотекаря — взял недельный отпуск, дабы сменить обстановку и окончательно прийти в себя. Через несколько дней после странного происшествия молодой человек уже шел по железнодорожной платформе, высматривая подходящее купе для курящих в поезде, который должен был доставить его в прибрежный городок Бёрнстоу, где прежде Гарретт никогда не бывал. Только одно купе отвечало его желаниям, но, едва он приблизился к двери, в проеме возникла мужская фигура, так живо напомнившая мистеру Гарретту о недавнем жутком случае в библиотеке, что ему сделалось тошно и он не раздумывая рванул на себя дверь соседнего купе, лишь бы поскорее спрятаться, словно за ним по пятам гналась смерть. Поезд тронулся. Должно быть, Гарретт снова лишился

чувств — очнулся он от запаха нюхательной соли, которую кто-то поднес к его лицу. Его лекарем оказалась миловидная пожилая леди; она и ее дочь были единственными пассажирами в этом вагоне.

Если бы не обморок, Гарретт навряд ли вступил бы в беседу с попутчицами. Однако при сложившихся обстоятельствах неминуемо воспоследовали изъявления благодарности, вежливые вопросы и ни к чему не обязывавший дорожный разговор. К концу пути Гарретт обзавелся не только заботливым лекарем, но и квартирной хозяйкой: миссис Симпсон сдавала в Бёрнстоу комнаты, которые, судя по их описанию, его более чем устраивали. В это время года городок был пуст, поэтому Гарретт довольно много времени проводил в обществе матери и дочери, находя его весьма приятным. На третий день своего пребывания в Бёрнстоу он уже так подружился с хозяйками, что те позвали его провести вечер в их гостиной.

В ходе вечерней беседы невзначай всплыл тот факт, что Гарретт служит в библиотеке.

— Ах, библиотеки — это чудесно! — сказала миссис Симпсон, со вздохом опустив рукоделие себе на колени. — Однако же книги сыграли со

мной злую шутку… Вернее, не книги, а книга.

— Книги кормят меня, миссис Симпсон, и я не скажу о них дурного слова. Мне очень жаль, что вам они принесли несчастье.

— Возможно, мама, мистер Гарретт сумел бы помочь нам разрешить загадку, — вставила мисс Симпсон.

— Я не хочу обременять мистера Гарретта поисками, на которые может уйти вся жизнь, моя милая, не хочу докучать ему нашими неурядицами.

— Нет-нет, миссис Симпсон. Если я хоть в какой-то мере могу вам помочь, прошу вас, скажите мне, в чем заключается эта загадка. Если нужно что-либо разузнать о книге, я к вашим услугам, у меня есть и навык, и возможности.

— Да, я понимаю… Беда только в том, что мы не знаем названия книги.

— А о чем она, вы тоже не знаете?

— Увы, и этого не знаем.

— Мы знаем, мама, что, скорее всего, она не на английском… Хотя для поисков этого явно мало.

— Пожалуй, мистер Гарретт, — произнесла миссис Симпсон, которая так и не возобновила свое шитье и теперь задумчиво смотрела на огонь в камине, — я расскажу вам нашу историю. Наде-

юсь, вы сохраните ее в тайне? Благодарю. История такая. У меня был дядя… доктор Рант. Возможно, вы слыхали о нем. Не потому что он был человек выдающийся, а потому что для своего погребения он избрал очень странный способ.

— Кажется, я встречал это имя в каком-то путеводителе.

— Вот-вот, — отозвалась миссис Симпсон. — Он завещал — старый негодник! — похоронить себя сидящим за столом и одетым как при жизни, для чего заранее выстроил под землей, прямо в поле за домом, большой кирпичный склеп. Надо ли удивляться, что люди из окрестных деревень до сих пор уверяют, будто знакомую фигуру в черном облачении постоянно видят тут и там. Но не будем, голубчик, рассуждать о загробных делах, — продолжила миссис Симпсон. — Так или иначе, он умер, лет двадцать с лишком тому назад. Мой дядя был священник, хотя каким чудом ему удалось принять сан, ума не приложу. В последние годы жизни он совсем забросил обязанности пастора — и хорошо сделал, по правде говоря! — и жил на доходы от имения… Очаровательная усадьба, неподалеку отсюда. У него не было ни жены, ни детей; из родни — только племянница, то бишь я, да племянник, и обоих он

не больно-то жаловал. Впрочем, дядюшка никого не любил, надо отдать ему справедливость. Но из нас двоих он все-таки больше благоволил к моему кузену — во многом они были под стать друг другу, чего нельзя сказать обо мне: Джон пошел в дядю и характером, и повадками, в которых, уж простите за прямоту, проявлялась его грубая и коварная натура. Возможно, мой дядя тем не менее предпочел бы меня, если бы я не вышла замуж, но я вышла, к его великому неудовольствию. Ну да ничего не поделаешь. Итак, у него было имение и куча денег, как выяснилось впоследствии, и всем своим богатством он распоряжался единолично. Предполагалось, что после его смерти мы с кузеном унаследуем его состояние в равных долях. Однажды зимой, лет двадцать назад, как я уже говорила, он сильно занедужил и послал за мной. Мой муж был тогда жив, но старик не желал и слышать о том, чтобы мы приехали вместе. Подъезжая к усадьбе, я увидела, как кузен Джон в открытой коляске отбывает в превосходном расположении духа, по крайней мере, мне так показалось. Я поселилась в дядином доме и прилежно ухаживала за больным, хотя очень скоро поняла, что он уже не поправится; да он и сам это понимал. За день до своей кончины он ни на

шаг не отпускал меня от себя, и я сердцем чувствовала: дядя собирается сообщить мне что-то… скорее всего, неприятное… и до последнего откладывает — боюсь, намеренно, желая заставить меня томиться неопределенностью. Наконец час пробил.

«Мэри, — сказал он, — Мэри, я составил завещание в пользу Джона: ему достанется все, Мэри».

Что и говорить, это был удар для меня. Мы с мужем жили небогато, и, если бы муж мог позволить себе свободнее распоряжаться деньгами, это продлило бы его дни. Так я подумала, но дяде ничего или почти ничего не сказала: лишь заметила, что он вправе поступать, как ему угодно, — отчасти потому, что не находила слов, отчасти потому, что ждала продолжения. И я не ошиблась, продолжение последовало.

«Однако ж, Мэри, — сказал он, — я недолюбливаю Джона и потому написал еще одно завещание — в *твою* пользу. Ты можешь получить все. Только сперва тебе придется найти это завещание. Ведь я не скажу, где оно! — Он захихикал, очень довольный собой, а я молча ждала, догадываясь, что он еще не закончил. — Умница, — похвалил он меня, — наберись терпения, и я сообщу тебе ровно столько, сколько уже сообщил Джону. Но

имей в виду: ты не сможешь обратиться в суд на основании моего устного заявления — *тебе* нечего будет предъявить, кроме своего честного слова, а Джона голыми руками не возьмешь, он на одно твое слово найдет десять таких, что хоть святых вон выноси! Ну, с этим ясно, теперь к делу. Видишь ли, мне пришла фантазия написать завещание каким-нибудь необычным способом, и я написал его в книге — в печатной книге, Мэри. А у меня в доме тысячи книг. Но — внимание! Не трать на них время, ибо той книги нет среди них. Она хранится в надежном месте — там, куда Джон мог бы запросто пойти, если бы знал, где искать, и куда тебе хода нет. Завещание выправлено как полагается, подписано и засвидетельствовано, только на свидетелей не очень рассчитывай, навряд ли ты их скоро отыщешь».

Я по-прежнему молчала. Если бы я позволила себе малейшее движение, то, боюсь, схватила бы старого негодника за плечи и хорошенько встряхнула. Он лежал да посмеивался.

«Так-так, — наконец изрек он, — ты приняла эту новость с похвальным спокойствием, и, раз уж я хочу предоставить вам обоим равные шансы, а у Джона есть небольшое преимущество в виде свободного доступа в то место, где хранится

книга, я сообщу тебе две дополнительные подробности, о которых ему не сказал. Завещание написано по-английски, но ты не поймешь этого, даже если тебе посчастливится увидеть его. Вот тебе первая подсказка. Вторую ты обнаружишь после моей смерти в письменном столе, в конверте с твоим именем: внутри будет некое указание для поиска книги, если, конечно, тебе хватит ума им воспользоваться».

Через несколько часов дядя скончался, и, хотя я обратилась к Джону Элдреду в попытке…

— К Джону Элдреду? Простите, миссис Симпсон… На днях я повстречал человека по имени Джон Элдред. Как выглядит ваш кузен?

— Мы с ним не виделись уже лет десять. Должно быть, теперь это сухопарый стареющий джентльмен, и, если он не сбрил свои чудовищные бакенбарды на пол-лица, которые, кажется, называют «дандрери»…

— Так и есть! Это он.

— Где же вы повстречали его, мистер Гарретт?

— Не знаю, можно ли вам сказать… — слукавил мистер Гарретт. — В одном публичном месте. Но вы не закончили рассказ.

— Собственно, рассказывать больше нечего. Джон Элдред, как и следовало ожидать, письма

мои попросту игнорировал. После дядиной смерти он завладел всем его имуществом, включая усадьбу, а мы с дочерью не от хорошей жизни стали сдавать внаем комнаты, хотя на поверку это оказалось вовсе не так ужасно, как я поначалу опасалась.

— Но вы остановились на конверте…

— Ах да! Загадка вот в чем… Достань-ка у меня из стола записку и покажи мистеру Гарретту.

На маленьком листке бумаги не было ничего, кроме пяти цифр, написанных подряд, без пробелов и разделительных знаков: 11334.

Мистер Гарретт задумчиво воззрился на них, хотя в первый миг глаза его вспыхнули. Потом он состроил недовольную гримасу и спросил:

— Как вы думаете, у мистера Элдреда есть какие-то возможности, которых нет у вас, чтобы выяснить название книги?

— Должно быть, есть; во всяком случае, у меня мелькала такая мысль, — ответила миссис Симпсон, — и вот почему. Вероятно, дядя составил завещание в мою пользу незадолго до смерти (кажется, он и сам говорил мне об этом) и книгу с завещанием незамедлительно удалил из своей библиотеки. Но все его книги учтены и описаны в каталоге, а каталог, понятное дело, у Джона, и

Джон всегда строго следил за тем, чтобы ни одна книга не была продана. Мне говорили, что он без конца ездит по книготорговцам и библиотекам. Полагаю, он давно сверил с каталогом все книги в дядюшкиной библиотеке и знает, каких именно недостает, — за ними-то он и охотится.

— Да-да, так и есть, — кивнул мистер Гарретт и погрузился в размышления.

На следующий день ему пришло письмо с приказом прервать отпуск в Бёрнстоу и срочно вернуться на службу, о чем он с большим сожалением известил миссис Симпсон.

Как ни жаль было Гарретту расставаться с милыми хозяйками (а им с ним), у него появилось предчувствие, что близится некий кризис, исход которого чрезвычайно важен для миссис (и мисс! — добавим мы от себя) Симпсон.

В поезде Гарретт изнывал от нетерпения и беспокойства. Он всю голову себе сломал, пытаясь припомнить библиотечный шифр той книги, которую запрашивал мистер Элдред, чтобы сопоставить его с цифрами на листке миссис Симпсон. Очевидно, недавнее потрясение так ужасно подействовало на него, что он напрочь забыл не только название и содержание книги, но даже отдел, куда сам не единожды ходил за

ней! Вся прочая топография библиотеки, как и прочие обстоятельства, связанные с его работой, послушно всплывали у него в памяти, и оттого он еще больше досадовал на себя.

Имелся и другой повод для недовольства. Надо же быть таким олухом — в раздражении Гарретт даже топнул ногой, — чтобы сперва замешкаться, а после и вовсе забыть спросить у миссис Симпсон, как называется усадьба, где живет Элдред! Ну, это хотя бы поправимо: всегда можно написать ей.

Хорошо еще, что у него был при себе секретный ключ, а именно ряд цифр, записанных на листке бумаги. Если они соотносятся с маркировкой книг в библиотеке, вариантов совсем не много: 1.13.34, 11.33.4 или 11.3.34. Он в два счета проверит их все и, если какой-то книги не окажется на месте, легко выяснит, где она. И Гарретт не мешкая приступил к делу. Правда, несколько минут ему все же пришлось потратить на то, чтобы объяснить свое преждевременное возвращение квартирной хозяйке и коллегам. Номер 1.13.34 был на месте и не содержал никаких посторонних записей. Далее следовало наведаться в одиннадцатый отдел, расположенный в той же галерее, и тут Гарретт почувствовал, как внутри у него все сжалось

— вероятно, от подспудных ассоциаций. Но он *обязан* был завершить начатое. Бегло взглянув на 11.33.4 (этот номер первым попался ему на глаза — на корешке какой-то новенькой книги), он скользнул взглядом по полке с изданиями ин-кварто, соответствовавшими коду 11.3. Там и обнаружился пропуск: отсутствовал номер 34. В мгновение ока убедившись, что книгу не переставили по ошибке на другое место, Гарретт помчался в вестибюль.

— Кто-нибудь выносил книгу одиннадцать — три — тридцать четыре? Не помните, не попадался вам на глаза такой номер?

— Номер? Вы хотите, чтобы я помнил номер? За кого вы меня принимаете, мистер Гарретт! Вот вам формуляры, сами и ройтесь в них, если вам нечем заняться.

— Ну хорошо, а мистер Элдред без меня не заходил? Пожилой джентльмен, который был здесь в тот день, когда я занемог. Вы должны его помнить!

— Обижаете. Ясное дело, я его помню. Нет, он больше не появлялся. После того, как вы уехали отдыхать, его здесь не было. Хотя, кажется… Сейчас! Робертс должен знать. Робертс, фамилия Хелдред тебе о чем-то говорит?

— Еще бы! — отозвался Робертс. — Вы про клиента, который заплатил шиллинг сверх цены за пересылку? Все бы так поступали!

— Вы что, отправляли в мое отсутствие книги мистеру Элдреду? Говорите, говорите же! Отправляли?

— Послушайте, мистер Гарретт, если джентльмен делает запрос, оформленный как полагается, и секретарь разрешает отправить книгу, и к заявке приложена коробка с адресом и нужная сумма денег для доставки по железной дороге, как бы *вы* поступили в таком случае, мистер Гарретт, позвольте вас спросить? Потрудились бы исполнить просьбу или выбросили бы заявку в мусорное ведро и…

— Вы все сделали правильно, Ходжсон… абсолютно правильно. Только… Не позволите ли взглянуть на заявку мистера Элдреда и не сообщите ли мне его адрес?

— Да пожалуйста, мистер Гарретт! Когда меня не учат жить и не рассказывают, что я не знаю своих обязанностей, я всегда рад помочь. Вот формуляр. Последняя отметка: Дж. Элдред, одиннадцать — три — тридцать четыре. Название: Т-а-л-м… Понимайте сами как хотите… в общем, не роман, насколько я могу судить. А вот и соб-

ственноручная заявка мистера Хелдреда, тут у него книга значится как… «тракт».

— Спасибо, спасибо… Но где адрес? В заявке он не указан.

— Да, верно, хм… адрес… Погодите, мистер Гарретт, есть у меня его адрес! Заявка-то была вложена в пакет с пустой коробкой, чтобы, значит, мы без лишних хлопот отправили коробку назад вместе с книгой… Очень предусмотрительно. И если я все же допустил какую-то промашку, то только в одном: я не записал адрес доставки в своей книжечке, которую для того и завел. Словом, оплошал, сам не знаю почему, ну да ладно, дело прошлое, сейчас ни у меня, ни у вас нету времени разбираться, отчего так получилось. А что до… Нет, мистер Гарретт, увольте, я *не стану* забивать себе этим голову!.. Иначе зачем было заводить эту книжечку? С виду обычная записная книжка, но я как раз для того ее и держу — записываю туда все нужные имена и адреса.

— Славная привычка, поистине… однако… Превосходно, благодарю вас. И когда же отправили посылку?

— Сегодня утром, в половине одиннадцатого.

— Это хорошо, сейчас только час пополудни.

Гарретт в задумчивости поднялся по лестнице.

Как же узнать адрес? Телеграфировать миссис Симпсон? Но пока ждешь ответа, опоздаешь на поезд. Впрочем, есть один способ. Она говорила, что Элдред поселился в усадьбе дяди. Если так, адрес, возможно, отыщется в библиотечной книге пожертвований. Теперь, когда он знает, как называется издание, пролистать записи не займет много времени. Вскоре журнал поступлений от дарителей уже лежал перед ним. Памятуя о том, что старик умер больше двадцати лет назад, Гарретт на всякий случай прибавил еще несколько лет и начал просмотр с 1870 года. Интересующая его книга упоминалась только в одной записи: «1875, 14 августа. *Talmud: Tractatus Middoth cum comm. R. Nachmanidæ*. Amstelod[35], 1707. Даритель: Дж. Рант, д-р богословия, Бретфилд-мэнор».

Согласно географическому указателю, Бретфилд находился в трех милях от маленькой станции на главной железнодорожной линии. В вестибюле Гарретт спросил дежурного, не видел ли тот в адресе на посылке чего-то похожего на «Бретфилд».

— Нет, ничего такого. Хотя, мистер Гарретт, вы мне напомнили: там было… то ли Брадфилд, то

---

[35] Сноски: 35
Амстердам *(сокр. лат.).*

ли Бритфильт, но ничего похожего на то, что вы сказали.

Пока все сходится, поздравил себя Гарретт. Теперь расписание. Так, поезд отходит через двадцать минут, до нужного полустанка идет два часа. Один шанс из ста, что ему повезет, но упускать его нельзя! И Гарретт сел в поезд.

Если на пути в город после разговора с миссис Симпсон его одолевало беспокойство, то теперь от роившихся в голове мыслей он чуть с ума не сошел. Допустим, он найдет Элдреда — и что он ему скажет? Что, оказывается, эта книга — библиографическая редкость и ее необходимо вернуть? Ложь, шитая белыми нитками. Или что в ней, по сведениям из надежного источника, содержатся важные рукописные пометки? Разумеется, Элдред предъявит книгу, из которой к тому времени уже вырвет лист с завещанием. Даже если удастся обнаружить место отрыва — скажем, на форзаце, — кто сможет разоблачить Элдреда, когда тот объявит (непременно объявит!), что тоже заметил рваный край и посетовал на варварское обращение с книгой? По всей видимости, погоня не сулила успеха. Единственный же вышеупомянутый шанс заключался в следующем. Книга покинула библиотеку в 10:30,

но, возможно, не уехала с ближайшим поездом, который отправился в 11:20. И если повезет, Гарретт одновременно с ней прибудет на станцию и состряпает какую-нибудь историю, чтобы вынудить Элдреда расстаться с нею.

Когда он сошел на платформу, уже вечерело. Как на большинстве сельских полустанков, здесь было неправдоподобно тихо. Гарретт подождал, пока один или два пассажира, сошедших с поезда вместе с ним, удалятся, и спросил у станционного смотрителя, проживает ли где-то в окрестностях мистер Элдред.

— Да, и вроде бы совсем близко отсюда. Кстати, он собирался заехать за посылкой. Один раз сегодня уже приезжал, верно, Боб? — обратился он за подтверждением к носильщику.

— Верно, сэр, и говорил со мной так, будто я виноват, что его посылку не доставили с двухчасовым. Ну вот, теперь она у меня. — Носильщик приподнял прямоугольный пакет, взглянув на который Гарретт уверился: в нем заключено то самое, что в настоящее время занимало все его мысли. — Бретфилд, сэр? Знаю… отсюда всего мили три. А напрямик, через вон те три поля, еще на полмили короче. Смотрите-ка: никак мистер Элдред пожаловал!

К домику смотрителя подкатила одноколка, в которой сидели двое; одного из них Гарретт, оглянувшись (он успел пересечь небольшой станционный двор), сразу узнал. Тот факт, что Элдред сам правил лошадью, был на руку Гарретту: навряд ли хозяин тут же, на глазах у слуги, вскроет посылку. Однако Элдред наверняка постарается как можно быстрее добраться до дому, и, если Гарретт не настигнет его там в первые минуты после возвращения, пиши пропало! Значит, надо поторапливаться. И Гарретт побежал вперед. Путь напрямик лежал вдоль одной стороны условного треугольника, тогда как повозке нужно было проехать по двум сторонам; к тому же она несколько задержалась на станции, и Гарретт услыхал приближавшийся грохот колес, находясь уже на третьем из трех полей. Как ни ускорял он свой бег, повозка двигалась явно быстрее, и это приводило его в отчаяние. При такой разнице в скорости его опередят минут на десять, а десяти минут Элдреду с лихвой хватит, чтобы осуществить свою бесчестную затею.

И тут удача улыбнулась Гарретту. В неподвижной вечерней тишине слышен был каждый звук. Но никогда еще никакой звук не радовал его больше, чем тот, который он внезапно услыхал

тогда, — звук замедлившей ход и остановившейся повозки. Ездоки обменялись короткими фразами, и копыта вновь застучали. Гарретт в волнении притаился возле перелаза и увидел, как мимо проехала одноколка — со слугой, но без Элдреда! Тот остался позади и дальше пошел пешком. Из-за высокой живой изгороди у перелаза на дорогу Гарретт наблюдал за его сухопарой фигурой. Вскоре Элдред поравнялся с ним, на ходу роясь в карманах (посылка торчала у него под мышкой), миновал перелаз… И вдруг у него из кармана что-то выпало в траву на обочине, почти бесшумно — Элдред ничего не заметил. Немного выждав, Гарретт вылез на дорогу и поднял… коробок спичек. Элдред стремительно шел вперед, нелепо взмахивая руками; о назначении этих резких, торопливых движений догадаться было сложно — мешала тень от нависших над дорогой деревьев. Однако, пока Гарретт крадучись преследовал его, стали появляться подсказки: тут обрывок бечевки, там клочок упаковочной бумаги — все то, что застряло в изгороди, не перелетев *через нее*, как рассчитывал Элдред.

Теперь Элдред шел намного медленнее. Насколько можно было разглядеть в потемках, он раскрыл книгу и начал листать страницы. Потом

остановился, очевидно испытывая затруднения из-за недостатка света. Гарретт проскользнул в открытые ворота, но продолжал следить за мошенником. Подозрительно оглядевшись по сторонам, Элдред сел на ствол поваленного дерева у дороги и поднял раскрытую книгу к самым глазам. Внезапно он опустил ее на колени, все в том же раскрытом виде, и пошарил в карманах. Очевидно, поиски не дали результата и лишь привели его в раздражение. «Ага, дружок, сейчас тебе очень пригодились бы твои спички», — злорадно подумал Гарретт. Наконец Элдред приподнял книжный лист и потихоньку начал его вырывать. И тут случилось невероятное. Сперва на белый лист бумаги как будто упало и соскользнуло вниз что-то черное. Элдред вздрогнул и медленно обернулся, не ведая, что у него за спиной из тени поваленного дерева возникла темная форма небольшого размера, но с двумя простертыми вперед руками, словно бы обнимавшими неясную, густо-черную массу. Элдред уткнулся в нее лицом и по самую шею погрузился в загадочный сгусток тьмы. Несколько мгновений он яростно дергал руками и ногами, хотя не издал ни единого звука; потом замер. Рядом с ним никого не было. Элдред навзничь

рухнул в траву позади древесного ствола. Книга отлетела на дорогу. Под впечатлением от чудовищной борьбы с таинственной силой Гарретт позабыл про свой праведный гнев и кинулся к жертве с криком «Помогите!». К его огромному облегчению, с такими же криками ему на подмогу поспешил работник, возвращавшийся с поля на противоположной стороне дороги. Вдвоем они приподняли Элдреда за плечи, но их усилия ни к чему не привели: тот был безнадежно мертв.

— Бедняга! — вздохнул Гарретт, когда они осторожно уложили его на землю. — Что приключилось с ним, как вы думаете?

— Я был всего в паре сотен ярдов, — ответил работник, — когда увидел, что сквайр Элдред сидит и читает книгу. Я бы сказал, у него случился припадок, иначе с чего бы он вдруг почернел лицом!

— Да, верно, — согласился Гарретт. — Вы никого не заметили рядом с ним? Не мог кто-то напасть на него?

— Нет, точно нет, не растворился же этот кто-то! Мы бы увидели его — не вы, так я.

— Вот и я так думаю. Что ж, надо сходить за помощью, вызвать доктора, сообщить в полицию… и, пожалуй, мне стоит передать им эту книгу на время разбирательства.

Для следствия случай был самоочевидным — как и то, что Гарретту придется задержаться в Бретфилде для дачи показаний. Медицинская экспертиза установила наличие мелких черных частиц на лице и во рту покойного, однако смерть наступила не от асфиксии, а от сердечного приступа, вызванного внезапным волнением. К делу приобщили злосчастную книгу — солидный том ин-кварто с текстом на иврите: явно не то издание, которое могло бы чересчур взволновать даже самого восприимчивого читателя.

— Мистер Гарретт, вы говорите, что покойный джентльмен за несколько секунд до приступа пытался, как вам показалось, вырвать лист из этой книги?

— Да, скорее всего форзацный.

— Действительно, правый форзац наполовину оторван. Тут от руки что-то написано на иврите. Не взглянете?

— Три имени написаны по-английски, сэр, как и дата. А ивритом я, к сожалению, не владею.

— Благодарю. Имена, судя по их расположению, напоминают подписи: Джон Рант, Уолтер Гибсон и Джеймс Фрост. Дата: двадцатое июля одна тысяча восемьсот семьдесят пятого года. Кто из присутствующих знает кого-нибудь из вышепе-

речисленных?

Находившийся в комнате настоятель местной церкви заявил, что фамилию Рант носил дядя покойного и что после дядиной смерти племянник унаследовал его состояние.

Когда священнослужителю показали запись в книге, он озадаченно покачал головой.

— Это совсем не тот иврит, которому меня обучали.

— Но иврит тем не менее, вы уверены?

— Что? Да… полагаю… Нет, сэр, простите, вы совершенно правы!.. То есть ваше сомнение вполне обоснованно. Разумеется, это… никакой не иврит. Это английский — и это завещание.

Через несколько минут все убедились, что перед ними и впрямь завещание доктора богословия Джона Ранта и что, согласно воле покойного, все его имущество должна была унаследовать миссис Мэри Симпсон. Стоит ли говорить, что, обнаружив сей документ, мистер Элдред, завладевший наследством дяди, мог прийти в болезненное возбуждение. Касательно надорванного форзаца коронер высказался в том духе, что любые предположения на этот счет бесполезны, ибо их невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

Трактат Миддот коронер забрал для дальнейшего исследования. Мистер Гарретт в частном порядке изложил ему историю, связанную с этой книгой, и всю цепь событий, о которых он знал или догадывался.

На другой день Гарретт вернулся к работе. Путь к станции пролегал мимо того места, где накануне вечером разыгралась трагедия. Соблазн еще раз взглянуть на него был слишком велик, хотя при воспоминании о вчерашней сцене ему делалось жутко, несмотря на приветливое солнечное утро. Он боязливо зашел за поваленное дерево. На земле что-то темнело. Гарретт даже попятился, но темная масса не шелохнулась. Всмотревшись, он понял, что это густая черная шапка паутины, и, когда он осторожно поворошил ее концом трости, на траву выбежали огромные пауки.

Не нужно обладать богатым воображением, чтобы догадаться, каким образом Уильям Гарретт, младший сотрудник одной из крупных библиотек, достиг положения будущего владельца усадьбы Бретфилд-мэнор, где ныне безбедно живет его теща, миссис Мэри Симпсон.

Эпизод из истории собора

Перевод А. Глебовской

Одному ученому джентльмену как-то поручили изучить и описать архивы Саутминстерского кафедрального собора. Разбор архива требовал весьма значительного времени, поэтому джентльмен счел необходимым снять в городе жилье, ибо, хотя соборное духовенство и отнеслось к нему с отменным гостеприимством, мистер Лейк предпочитал некоторую свободу. Это было встречено с пониманием, и в результате мистер Лейк получил от настоятеля письмо, где тот советовал — в случае, если подходящее жилье пока не найдено, — обратиться к мистеру Уорби, старшему причетнику, поскольку дом его удобно расположен по соседству с церковью, а сам он готов пустить к себе тихого жильца на три-четыре недели. Именно об этом и мечтал мистер Лейк. Они легко договорились об условиях, и в начале декабря, подобно мистеру Дэчери (что он не преминул отметить про себя), наш изыскатель получил в свое распоряжение весьма недурную комнату в старинном «соборном» доме.

Человек, столь хорошо знакомый с обрядами церковного служения и ощущавший на себе неусыпную заботу настоятеля и капитула, не мог не снискать уважения старшего причетника. Мистер Уорби даже безропотно согласился изменить некоторые фразы, которые он произносил уже много лет, рассказывая о соборе посетителям. Мистер Лейк со своей стороны нашел в служителе церкви чрезвычайно приятного собеседника и не упускал ни единой возможности вступить с ним в разговор по окончании дневных трудов.

Однажды вечером, около девяти часов, мистер Уорби постучал в дверь своего постояльца.

— Мне необходимо сходить в собор, мистер Лейк, — сообщил он, — и, насколько я помню, я вам обещал, что при следующем посещении я дам вам возможность взглянуть на него ночью. Погода нынче недурственная, сухая, так что, если вам угодно, пойдемте.

— Еще как угодно! Я весьма вам признателен, мистер Уорби, за то, что вы об этом подумали; подождите, я надену пальто.

— Вот, держите, сэр, а еще я взял второй фонарь, вам он пригодится на лестнице, ночь-то безлунная.

— Нас всякий бы принял за Джаспера и Дёрдлса,

верно? — спросил Лейк, пока они шагали по площади перед собором, — он уже успел выяснить, что старший причетник читал «Эдвина Друда».

— Вероятно, — с коротким смешком согласился мистер Уорби, — вот только считать нам то за комплимент или нет, даже и не знаю. Чудны́е у них дела творились в этом соборе, правда же, сэр? Круглый год к семи утра каждый день собирали хор к заутрене. Нынешние наши голосистые парнишки вряд ли бы на это согласились, а еще, полагаю, некоторые из певчих непременно попросили бы прибавки, если бы капитул такое позволил, — особенно альты.

Они дошагали до юго-западного входа. Пока мистер Уорби открывал замок, Лейк поинтересовался:

— А не случалось так, что кого-то ненароком заперли внутри?

— Сам дважды запирал. Один раз пьяного матроса — как он вообще там оказался, понятия не имею. Видимо, уснул во время службы, но, когда я его вызволил, он уже так молился, что своды дрожали! Ух, ну этот недотепа и расшумелся! Сказал, что впервые за десять лет пришел в церковь и больше туда ни ногой. А в другой раз я там запер старого барана: мальчишки постарались, озор-

ники. Больше, правда, они такого не вытворяли. Ну вот, сэр, глядите, как оно тут у нас: покойный настоятель иногда приводил сюда посетителей, но все больше в лунные ночи, и всегда читал им стишок про какой-то шотландский собор — ну, насколько я это понял; толком, впрочем, не знаю; как по мне, в темноте оно даже величественнее. Своды кажутся и просторнее, и выше. Будьте так добры, постойте где-нибудь в нефе, пока я поднимусь на хоры, у меня там есть одно дело, — и вы поймете, что я имею в виду.

Лейк остался ждать, прислонившись к колонне и глядя, как свет фонаря удаляется вглубь церкви, а потом пляшет по ступеням, ведущим на хоры, — вот он скрылся за некой ширмой или еще какой-то преградой, и теперь лишь отсветы мелькали по колоннам и потолку. Через несколько минут Уорби вновь появился у входа на хоры и, качнув фонарем, подозвал Лейка к себе.

«Надеюсь, это Уорби, а не его двойник», — пронеслось у Лейка в голове, пока он шагал вдоль нефа. Впрочем, ничего необычного не произошло. Уорби показал ему бумаги, которые пришел забрать из скамьи настоятеля, и спросил, как ему зрелище; Лейк подтвердил, что такое, безусловно, стоило увидеть.

— Полагаю, — продолжил он, когда они шли вдвоем к алтарным ступеням, — вы настолько привыкли приходить сюда по ночам, что уже не испытываете никакого страха, однако, уверен, даже вам доводится вздрогнуть, если книга падает на пол или скрипит дверь.

— Нет, мистер Лейк, про звуки я, если честно, особо не думаю — по крайней мере, не теперь: меня куда больше страшит, что где-то обнаружится утечка газа или лопнет печная труба. Хотя много лет назад все было иначе. Вы заметили вон там надгробие в виде алтаря, безо всяких украшений? Говорят, оно пятнадцатого века, не знаю, согласитесь вы с этим или нет. Ну если еще не видели, то, будьте добры, вернитесь и взгляните.

Надгробие находилось на северной стороне от хоров, в весьма неудачном месте: всего в трех футах от каменной кладки, ограждавшей хоры. Старший причетник сказал правду: на надгробии не было никаких украшений — простая каменная облицовка. Довольно большой металлический крест с северной стороны (прямо у кладки) — и ничего более интересного.

Лейк согласился, что надгробие появилось не раньше периода перпендикулярной готики.

— И должен признаться, — прибавил он, — что,

если там не погребен какой-то выдающийся человек, я, уж вы меня простите, не вижу в нем ничего особенно примечательного.

— Ну, не скажу, что это могила какого-то выдающегося исторического деятеля, — подтвердил Уорби со сдержанной улыбкой, — потому как у нас нет никаких сведений о том, кто в ней похоронен. И тем не менее, сэр, ежели у вас найдется полчаса времени, то по возвращении домой я могу, мистер Лейк, рассказать вам про это надгробие одну историю. Сейчас начинать не стану: здесь жутко холодно, и нет никаких причин бродить по собору всю ночь.

— Разумеется, мне не терпится услышать вашу историю.

— Хорошо, сэр, я вам все расскажу. Только, с вашего позволения, задам один вопрос, — продолжал он, пока они шагали по проходу на хорах. — В нашем кратком местном путеводителе, да и не только в нем, но и в этой самой небольшой книжечке про наш собор из известной серии сказано, что эта часть здания была возведена раньше двенадцатого века. Я бы, конечно, рад был разделить это мнение, вот только… осторожно, сэр, ступенька… вот только, как по-вашему, похожа ли кладка в этой части стены, — в пояснение он постучал

по ней ключом, — на то, что принято называть саксонской кладкой? По мне, ну просто совсем не похожа: так вот, хотите верьте, хотите нет, кому я только про это не говорил — и библиотекарю из нашей публичной библиотеки, и еще одному, который специально приезжал из Лондона все это изучать, — раз пятьдесят повторял, вот вам крест, но с ними толковать все равно что с этими каменюками. Ну, тут ничего не поделаешь, сколько людей, столько и мнений.

Обсуждение этой примечательной особенности человеческой натуры заняло почти все время, пока они возвращались домой. Увидев, что камин в гостиной у Лейка почти погас, мистер Уорби предложил расположиться у него. Давайте присоединимся к ним немного спустя — они уже успели усесться.

Рассказ мистера Уорби оказался долгим, и я не возьмусь передать его целиком, дословно и в том же порядке. Той же ночью Лейк не откладывая записал его суть, причем некоторые фразы рассказчика ему удалось запомнить слово в слово; мне же представляется целесообразным немного сократить записи Лейка.

Как выяснилось, мистер Уорби родился году в 1828-м. Отец его, а ранее дед тоже имели отноше-

ние к собору. Один из них или оба были певчими, а впоследствии стали каменщиком и столяром соответственно. Сам Уорби — хотя он откровенно признался в том, что обладает совсем не выдающимся голосом, — в возрасте лет десяти также был поставлен петь в хоре.

В 1840 году до Саутминстерского собора докатилась волна готического возрождения.

— Много всего красивого в ту пору уничтожили, сэр, — вздохнув, сообщил Уорби. — Отец ушам своим не поверил, когда ему приказали очистить хоры от всего их убранства. Тогда на должность как раз заступил новый настоятель — звали его Берскоф, — а отец мой работал подмастерьем в одной из лучших плотницких фирм города и уж хорошую работу от плохой всяко мог отличить. Ох и красота же там была, говаривал он, бывало: дивные дубовые панели, с виду такие, будто их только вчера установили, гирлянды из листьев и плодов, восхитительные старинные позолоченные гербы и органные трубы. Все отправили на лесопильню — все, кроме нескольких фрагментов в часовне Пресвятой Девы да еще вот этого резного украшения над камином. Может, я и не прав, но, как по мне, такой красоты у нас на хорах больше никогда не было. Хотя надо сказать, по

ходу дела удалось немало выяснить про историю церкви, и, уж точно, очень многое нуждалось в ремонте. Еще годик-другой — и мы утратили бы пинакль.

Мистер Лейк выразил свое полное согласие с мнением Уорби по поводу реставрации, однако не стал вдаваться в подробности, опасаясь, что в таком случае рассказу не будет конца. По-видимому, это читалось у него на лице, ибо Уорби поспешил его успокоить:

— Не то чтобы я склонен рассуждать на эту тему часами, при всяком удобном и неудобном случае, но настоятель Берскоф был просто-таки одержим готическим периодом и не довольствовался малым: все нужно было переделать по его вкусу. И вот однажды после утренней службы он велел моему отцу дождаться его на хорах, а сам переоблачился в ризнице и принес с собой бумажный свиток; тогдашний причетник притащил стол, и они принялись разворачивать на нем свиток, прижимая его молитвенниками, а мой отец, который им помогал, увидел, что там изображены изнутри хоры какого-то собора; тут настоятель — а он был скор на язык — ему и говорит: «Ну, Уорби, что вы об этом скажете?» — «Ну, — отвечал отец, — то скажу, что мне не посчастливилось

видеть это помещение. Это Херефордский собор, господин настоятель?» — «Нет, Уорби, — покачал тот головой, — это Саутминстерский собор, каким мы надеемся увидеть его в недалеком будущем». — «Вот оно что, сэр», — протянул отец, и это все, что он мог сказать, по крайней мере настоятелю, мне же он потом не раз говаривал, что у него сердце захолонуло, когда он обвел взглядом наши хоры, какими я их еще помню, уютные и нарядные, а потом взглянул на эту безжизненную гаденькую картинку, как он ее называл, намалеванную каким-то лондонским архитектором. Ох, я опять отвлекся. Впрочем, взгляните сами, и тогда поймете, о чем я.

Уорби снял со стены гравюру в раме.

— Ну, короче говоря, вручил настоятель моему отцу копию приказа капитула, предписывавшего освободить хоры от прежнего убранства — снять все подчистую — и подготовить к установке нового, что уже в городе мастерят, а за дело надлежало взяться сразу же, как работников наберет. Вы, сэр, посмотрите на эту картинку — и сразу увидите, где раньше стояла кафедра: я хотел бы, чтобы вы обратили на это особое внимание.

Разглядеть кафедру было несложно: необычайно внушительная деревянная конструкция с

куполообразным навесом находилась у восточной оконечности скамей на северной стороне хоров и была развернута к епископскому креслу. Уорби пустился в объяснения, что, пока шла реставрация, службы не прекратили, а перенесли в неф, певчие не получили отпуска, на который рассчитывали, а органиста даже заподозрили в том, что он намеренно сломал механизм временного инструмента, арендованного за большие деньги в Лондоне.

Зачищать интерьер начали с ограждения, отделявшего хоры, и органной галереи, потом постепенно стали продвигаться левее, открывая, по словам Уорби, множество интересных элементов убранства более раннего времени. Пока все это происходило, члены капитула, естественно, частенько поднимались на хоры, и вскорости старый Уорби, который не мог не слышать обрывки их разговоров, убедился: среди них (особенно среди старших каноников) немало противников решения, что теперь претворялось в жизнь. Одни боялись, что насмерть простудятся на новых алтарных скамьях, поскольку более не будет ограждения, защищающего их от сквозняков из нефа; другим не нравилось, что они окажутся на виду у тех, кто находится в приделах, особенно,

говорили они, во время проповедей, которые им удобнее слушать в непринужденных позах, допускающих всяческие кривотолки. Но сильнее всего против новшеств возражал старейший член капитула, который до последнего был против переноса кафедры.

«Негоже ее трогать, господин настоятель, — решительно заявил он однажды утром, когда они вдвоем стояли прямо перед ней. — Вы даже не подозреваете, какими бедами это может обернуться».

«И какими же? Особой художественной ценности она не представляет, каноник».

«Не называйте меня каноником, — запальчиво откликнулся старик, — потому как вот уже тридцать лет меня зовут доктор Эйлофф, и я буду вам признателен, господин настоятель, если вы станете именовать меня именно так. Что до кафедры, с которой я тридцать лет читал молитвы, хотя вовсе не добивался этого, то про нее скажу лишь одно: я *знаю*, что, перемещая ее, вы совершаете непоправимую ошибку».

«Но какой же резон, дражайший доктор, оставлять ее на прежнем месте, если мы собираемся перестроить хоры в совершенно ином *стиле*? Какой в этом смысл — если отвлечься от ее внеш-

него вида?»

«Смысл, смысл! — передразнил его старый доктор Эйлофф. — Если бы вы, молодые люди, — это я говорю безо всякого неуважения, господин настоятель, — хоть немного прислушивались к голосу здравого смысла, а не искали его впотьмах, было бы намного лучше. Впрочем, я сказал все, что хотел сказать».

И пожилой джентльмен заковылял прочь — чтобы, как потом выяснилось, больше никогда не переступить порог собора. То жаркое лето неожиданно обернулось сезоном болезней. Доктор Эйлофф умер одним из первых — от какого-то недуга грудных мышц, что донимал его по ночам. На службах то и дело недосчитывались певчих и хористов.

Тем временем кафедру все же разрушили. А навес (часть его сохранилась и поныне в виде стола в беседке епископской резиденции) снесли через час-другой после того, как доктор Эйлофф высказал свой протест. При снятии основания (а процесс этот оказался весьма хлопотным) взору явилось, к вящей радости реставраторов, приалтарное надгробие — разумеется, то самое, на которое этим вечером Уорби обратил внимание Лейка. Многочисленные попытки установить

личность насельника могилы не принесли результатов: с тех пор и по сей день имя его остается неведомым. Надгробие было в высшей степени аккуратно спрятано под основанием кафедры, так, чтобы его небогатый декор сохранился в целости; только с северной стороны он был слегка попорчен: между двумя плитами, составлявшими боковую часть, имелся небольшой зазор, дюйма два или три шириной. Палмеру, каменщику, велели его заделать в течение недели, в ходе других мелких работ в этой части хоров.

Лето и впрямь выдалось на удивление неблагоприятное. То ли собор был построен на месте, где раньше было болото (про это вспоминали довольно часто), то ли еще по какой причине, но тем, кто жил по соседству, не выпало в том году погожих летних деньков и тихих ночей — ни в августе, ни в сентябре. Для некоторых людей постарше — среди них, как мы уже знаем, был и доктор Эйлофф, — лето и вовсе стало роковым, но и из молодых чуть ли не каждый неделю-другую пролежал в постели или по крайней мере страдал от давящей хандры, выливавшейся в ночные кошмары. Постепенно возникло подозрение (быстро превратившееся в уверенность), что все это как-то связано с ремонтом в соборе.

Вдове одного старого причетника, получавшей от капитула пенсию, стали сниться страшные сны, которые она пересказывала подругам: с наступлением темноты некая тень выскальзывала из дверцы в южном трансепте и пересекала церковную площадь — (еженощно выбирая новое направление), а потом скрывалась то в одном доме, то в другом и появлялась вновь, когда небо начинало светлеть. Саму тень, говорила вдова, ей рассмотреть не удавалось, ясно было только, что это нечто движущееся; притом у женщины сложилось отчетливое впечатление, что, возвращаясь под своды собора (а это неизменно происходило в завершение сна), призрак поворачивал голову, и тогда вдове казалось — почему, она не ведала, — что у него красные глаза. Уорби припомнил, как пожилая дама пересказывала свой сон за чаем в доме у капитульного писаря. То, что сон повторялся, могло быть симптомом подступавшего недуга, заметил Уорби; как бы то ни было, еще до конца сентября вдову проводили в последний путь.

Реставрация знаменитого собора вызвала интерес и за пределами графства. В то лето здание посетил довольно известный член Общества антикваров, который намеревался написать для

Общества отчет о новых находках, а сопровождавшей его жене предстояло снабдить труд мужа зарисовками. За утро она закончила общий набросок хоров, а днем перешла к деталям. Первым делом она запечатлела недавно обнаруженное приалтарное надгробие, после чего привлекла внимание мужа к прелестному образцу узорчатого орнамента на расположенном за ним ограждении — раньше орнамент, как и само надгробие, был скрыт кафедрой. Да, подтвердил антиквар, это обязательно нужно зарисовать; дама пристроилась на надгробие и принялась тщательно все срисовывать — прозанимавшись этим до самых сумерек.

Муж ее к тому времени уже покончил с измерениями и описаниями, и они решили, что им пора возвращаться в гостиницу.

«Ты бы отряхнул мне юбку, Фрэнк, — попросила дама. — Она наверняка вся в пыли».

Он принялся выполнять ее просьбу, но очень скоро заметил:

«Не знаю, душа моя, насколько тебе дорого это платье, но, по-моему, оно знавало лучшие дни. Изрядного куска не хватает».

«Не хватает? Куда же он подевался?» — удивилась жена.

«Вот уж чего не знаю, того не знаю, а не хватает его на подоле, с задней стороны».

Она дернула ткань на себя и с ужасом обнаружила внушительную прореху с рваными краями — как будто, по ее словам, подол хватила зубами собака. В общем, платье было — к величайшей досаде нашей дамы — безнадежно испорчено, и, хотя они обыскали все вокруг, найти оторванный лоскут им так и не удалось. Супруги пришли к выводу, что урон мог быть нанесен множеством разных способов, ибо на хорах тут и там лежали обломки старой древесины и из них торчали гвозди. В результате муж и жена сошлись на том, что она зацепилась за один из этих гвоздей, а потом рабочие, весь день сновавшие по собору, унесли тот самый фрагмент, на котором висел лоскут.

Примерно в то же время, как припомнил Уорби, он стал замечать, что его песик испуганно повизгивает каждый раз, когда приходит час посадить его в будку на заднем дворе (мать Уорби не разрешала оставлять собаку в доме на ночь). Однажды вечером, когда старший причетник собирался поймать песика и отнести наружу, тот посмотрел на него «прямо как настоящая христианская душа и помахал… я хотел сказать, рукой, но вы и сами знаете, как они это умеют, ну и, короче

говоря, спрятал я его под пальто и утащил к себе наверх — не буду скрывать, обманул я свою бедную мамочку. Так песик после этого повадился хитрить и прятаться под кровать за полчаса до того, как мы отправлялись спать, ну, мы с ним и наладились поступать так, чтобы мама ничего не узнала». Уорби, разумеется, рад был такому обществу, а еще больше стал его ценить, когда Саутминстер настигла беда, которую до сих пор именуют «завываниями».

— Ночь за ночью, — рассказывал Уорби, — песик будто заранее знал, что́ будет: вылезал из-под кровати, забирался ко мне в постель, прижимался, дрожа всем телом, а когда начинались завывания, он точно в безумие впадал, засовывал голову мне под мышку, да мне и самому было немногим легче. Раздавались эти звуки по шесть-семь раз, не больше, а как он потом вытащит головку обратно, так мне и понятно, что на эту ночь все закончилось. На что это было похоже, сэр? Да я в жизни своей не слышал ничего подобного. Помнится, я однажды играл возле собора, и там как раз сошлись два каноника, так один другому говорит: «Доброе утро. Хорошо вам спалось в прошлую ночь?» Того, который начал разговор, звали мистер Хенсло, а второ-

го — мистер Лайалл. «Не сказал бы, — ответил мистер Лайалл. — Как по мне, многовато было четырнадцатого стиха тридцать четвертой главы Исайи». «Четырнадцатого стиха тридцать четвертой главы? — повторил мистер Хенсло. — Это вы о чем?» «И вы еще называете себя знатоком Библии! — возмутился мистер Лайалл (мистер Хенсло, надо сказать, был из Симеонова племени — из тех, кого называют евангелической партией). — Так ступайте и посмотрите». Мне и самому стало интересно, что он имеет в виду; я побежал домой, достал свою Библию и нашел нужное место: «И лешие будут перекликаться один с другим». Надо же, подумал я, так вот что мы тут слышим все последние ночи! И скажу вам честно, я разок-другой обернулся посмотреть, не стоит ли кто за спиной. Я, понятное дело, спрашивал у отца с матерью, что это такое может быть, но они оба ответили: небось кошки. Говорили, впрочем, очень отрывисто, и я сразу понял, что они сами встревожены. Господи, ну и вой это был — как будто кто оголодавший кого-то зовет, а тот все не приходит. Уж если когда не хотелось оставаться в одиночестве, так это ожидая повторения этого воя. Насколько я помню, ночь-другую пробовали ставить дозорных в разных концах соборной

площади, но они обычно жались друг к другу в углу, ближайшему к Хай-стрит, так что ничего из этого не вышло.

Ну а потом случилось вот что. Мы с еще одним мальчишкой (он теперь у нас в городе бакалейщик, как прежде — его отец) поднялись после утренней службы на хоры и услышали, как старый Палмер, каменщик, на чем свет стоит поносит кого-то из своих работников. Мы подобрались поближе, потому как знали: старикашка языкаст, и можно будет от души повеселиться. Дело оказалось вот в чем: Палмер велел одному из подручных заделать щель в старом надгробии. И теперь тот оправдывался — он, мол, не халтурил и выполнил поручение как полагается, только Палмер все равно орал на него как одержимый.

«И ты называешь это работой? — разорялся он. — По-хорошему, рассчитать бы тебя за такое. Я тебе за что деньги плачу? Что мне теперь сказать настоятелю и капитулу, когда они придут посмотреть? А прийти они могут в любой момент — и сразу увидят, что ты кое-как замазал дырку грязью, гипсом и еще бог знает чем!»

«Мастер, вы уж поверьте, я все залатал как надо, — лепетал работник. — А почему оно обратно вывалилось, о том я знаю не больше вашего. Я

гипс прямо в щель положил, — говорит, — а он назад вывалился. Никогда такого не видывал!»

«Вывалился? — пуще прежнего разошелся старик Палмер. — Да я нигде вокруг никакого гипса не вижу! Его что, ветром унесло? — И каменщик подхватил кусок гипса (как до того сделал я), лежавший у ограждения, футах в трех-четырех от надгробия, — он еще и просохнуть не успел; старик Палмер посмотрел на него с изумлением, потом повернулся ко мне и спрашивает: — Так, сорванцы, это вы тут шутки шутить надумали?»

«Нет, — ответил я, — ничего подобного, мистер Палмер, мы сюда только что зашли».

А пока я отвечал, второй мальчик, Эванс, посмотрел в щель, да так и ахнул, а потом подбежал к нам и говорит:

«Мне кажется, там что-то лежит. Оно светится».

«Что? Ну надо же! — ответил старик Палмер. — Ладно, нет у меня времени с этим разбираться. Ступай, Уильям, разведи еще гипса и заделай как следует; а не справишься — схлопочешь».

Работники ушли, Палмер с ними, а мы оба остались, и я спросил у Эванса:

«Ты там правда что-то видел?»

«Да, — подтвердил он, — уж не сомневайся».

Тут я и говорю:

«А давай засунем туда что-нибудь и потыкаем».

Мы попытались запихнуть в щель несколько щепок, которые валялись повсюду, но они оказались слишком толстыми. Однако у Эванса был с собою лист с нотами — то ли гимна, то ли псалма, уже и не припомню, он свернул его тонкой трубочкой и просунул в щель; три-четыре раза потыкал, и ничего не случилось.

«Дай-ка мне, — говорю я, и тоже попробовал. Нет, тоже ничего. А потом — сам не знаю, почему мне это в голову пришло, — только я нагнулся к самой щели, засунул два пальца в рот и свистнул — ну, знаете, как оно делается, — и тут по ту сторону вдруг что-то зашевелилось, а я и говорю Эвансу: — Эй, давай-ка пойдем отсюда. Не нравится мне это».

«Да ладно! — ответил он. — Давай сюда нашу скрутку. — Взял и снова засунул в щель. А потом побледнел так, как никто на моей памяти не бледнел. — Ох, Уорби, — говорит, — она там застряла, а может, ее схватил кто».

«Вытаскивай, или давай бросим, — говорю я. — Живее, и пошли отсюда».

Он дернул изо всех сил и вытащил. Вытащить-

то вытащил, да только не весь лист — у него краешка не хватало, как будто его оторвали. Эванс взглянул, а потом ахнул, точно лягушкой квакнул, лист выронил, и мы с ним оба рванули оттуда со всех ног. Выбрались наружу, и тут Эванс меня и спрашивает:

«А ты видел край листа?»

«Нет, — говорю, — ну разве только, что он оторван».

«Верно, оторван, — подтвердил Эванс. — А еще он мокрый и почернел!»

Ну, напугались мы здорово и к тому же знали: через день-другой ноты эти понадобятся, и нам здорово влетит от органиста; так что мы никому ничего не сказали, а лист, видимо, рабочие потом просто вымели вместе с остальным мусором. Вот только Эванса вы хоть сегодня спросите — он все равно будет стоять на том, что бумага на конце намокла и почернела.

После этого мальчишки на хоры больше не совались, и потому Уорби так и не узнал, чем закончилась история с заделыванием щели в надгробии. Выяснил лишь из обрывков разговоров между работниками, когда те проходили мимо, что все там оказалось непросто и что «старшой» — имелся в виду мистер Палмер — сам

взялся за дело. Немного позже Уорби увидел, как мистер Палмер стучит в дверь к настоятелю и привратник впускает его внутрь. Через день-другой из замечания, оброненного отцом за завтраком, он выяснил, что назавтра после утренней службы в соборе должно произойти что-то необычное.

«Как по мне, лучше бы прямо сегодня, — добавил отец. — Не вижу я смысла так рисковать».

«Отец, — обратился я к нему. — А что вы собираетесь завтра делать в соборе?»

Он ко мне повернулся — я в жизни его таким злющим не видал, потому как человек он был мягкосердечный, добрейший, уж таким он был, бедный мой папаша.

«Вот что, сын, — сказал он, — нечего подслушивать разговоры тех, кто старше и умнее тебя: это невоспитанно, да и неприлично. Что я собираюсь или не собираюсь завтра делать в соборе, тебя никак не касается, а если я замечу завтра, что ты ошиваешься там после занятий, отправлю домой с оплеухой. Запомни хорошенько».

Я, разумеется, извинился и все такое, а потом, само собой, пошел к Эвансу и изложил ему свой план. Мы знали, что в углу трансепта есть лестница, по которой можно забраться в трифорий,

причем в те времена дверь на эту лестницу почти всегда стояла открытой, а даже если бы ее и заперли, мы прекрасно знали, что ключ лежит рядом под ковриком. Вот мы и решили, что поутру припрячем свои ноты и, когда остальные мальчишки разойдутся, проскользнем на эту лестницу и затаимся в трифории — поглядим, что затеяли в соборе.

В ту ночь я уснул крепким мальчишеским сном, но потом меня внезапно разбудил мой песик — запрыгнул ко мне на кровать, и тут я подумал: нынче все будет хуже некуда, так как, судя по всему, перепуган он был сильнее обычного. Прошло минут пять, и раздались завывания. Даже приблизительно не могу вам передать, что это были за звуки, причем совсем близко, — раньше так близко я их никогда не слышал, и вот что забавно, мистер Лейк, вы сами знаете, какое эхо на соборной площади, особенно если стоишь с этой стороны. Так вот, от завываний ни разу никакого эха не было. Правда, как я уже сказал, той ночью звучали они до ужаса близко, и на их пике я насмерть перепугался, поскольку услышал в коридоре какой-то шорох. Теперь, решил я, мне уж точно конец, но песик, как я заметил, даже слегка приободрился, а затем за дверью раздался

шепот, и я едва не рассмеялся, оттого что понял: это всего лишь отец с матерью, которых шум поднял с постели.

«Да что это такое?» — спросила мама.

«Тсс! Сам не знаю, — отвечал отец взволнованно. — Сына не разбуди. Надеюсь, он ничего не слышал».

Поняв, что родители рядом, я осмелел, вылез из постели, подошел к окошку — оно как раз выходило на соборную площадь, — а песик зарылся в одеяло в самом изножье кровати, я же выглянул наружу. В первый момент я ничего не увидел. А потом, в тени под контрфорсом, различил нечто — и всегда буду повторять одно: это были две красные точки, тускло-красные, не от лампы и не от костра, еле видимые на фоне черной тени. Едва я их заметил, стало ясно, что не мы одни проснулись — в окне дома слева зажегся и начал перемещаться свет. Я повернул голову, желая удостовериться в этом, а когда снова перевел взгляд в тень, красные точки уже пропали, и, сколько я ни всматривался, они больше не появились. Затем я пережил последний страх той ночи: что-то чиркнуло по моей голой ноге, но оказалось, это просто песик мой вылез из постели и вовсю скачет вокруг, разве что не тявкает, — я

понял, что он опять в бодром настроении, забрал его с собой под одеяло и проспал до самого утра!

Утром я повинился перед мамой в том, что пес ночевал у меня в комнате, но она, к моему удивлению, отнеслась к этому спокойно — вопреки всему тому, что говорила прежде.

«Вот как? — сказала она. — Ну, если по-хорошему, тебя следовало бы оставить без завтрака за то, что ты такое творишь у меня за спиной; хотя, право, даже не знаю, ничего дурного-то не случилось, только в следующий раз изволь попросить у меня разрешения, ладно?»

Немного спустя я сказал отцу, что ночью опять кошки шумели.

«*Кошки?* — повторил он, поглядел на бедную мою мамочку, та кашлянула, а он продолжил: — А! Ну конечно, кошки. Я, кажется, и сам их слышал».

Вообще, утро выдалось странное: все шло вкривь и вкось. Органист слег, младший каноник забыл, что нынче девятнадцатое число и все ожидают услышать «Venite»[36], а потом заместитель органиста заиграл вечерню в миноре; от этого мальчишек-хористов разобрал смех, так что они

---

[36] Сноски: 36
«Приидите» *(лат.).*

и петь-то не могли, а когда дошло до исполнения гимна, у солиста от хихиканья пошла носом кровь, и он сунул ноты мне, только я этот гимн не разучивал, а если бы и разучивал, певец из меня был так себе. Пятьдесят лет назад, должен я вам сказать, нравы были грубее, и контртенор, стоявший сзади, так меня ущипнул, что я это навсегда запомнил.

Мы все же как-то дотянули до конца службы, и ни певчие, ни мальчики-хористы не стали дожидаться, когда дежурный каноник (а дежурил мистер Хенсло) придет в ризницу и всех разбранит, вот только он, кажется, так и не пришел: дело в том, что он — впервые в жизни — прочитал во время службы не тот отрывок из Библии и знал это. Как бы то ни было, мы с Эвансом беспрепятственно пробрались на лестницу, про которую я вам рассказывал, залезли наверх и легли на живот: так можно было вытянуть шею, чтобы голова оказалась прямо над старым надгробием, и только мы устроились, как услышали, что тогдашний причетник закрывает железную дверь, ведущую с паперти, и запирает на замок юго-западный вход, а потом и вход через трансепт; и так мы поняли: грядет что-то необычное, и они хотят убедиться, что в церковь не попадет никто

из посторонних.

После этого через северный вход вошли настоятель и каноник, а затем я увидел отца и с ним старого Палмера и двоих лучших его работников; Палмер стоял в середине хоров и о чем-то говорил с настоятелем. В руке он сжимал моток веревки, а его подручные — ломы. Вид у всех был обеспокоенный. Некоторое время они проговорили, а потом до меня наконец донеслись слова настоятеля:

«Ладно, Палмер, хватит попусту время тратить. Если вы считаете, что это удовлетворит жителей Саутминстера, я позволяю вам это сделать; но должен заметить, что я еще никогда не слышал столь отъявленного вздора, тем более от здравомыслящего человека вроде вас. Вы согласны со мной, Хенсло?»

Насколько я расслышал, Хенсло ответил что-то вроде:

«Ну право, господин настоятель, разве не учат нас не судить ближнего?»

Настоятель вроде как шмыгнул носом, а потом направился прямиком к захоронению, встал за ним, повернувшись спиной к ограждению, остальные с явной опаской тоже подошли ближе. Хенсло остановился у южного края надгробия, то

и дело почесывая подбородок. После этого настоятель заговорил.

«Палмер, — сказал он, — как будет проще — поднять плиту сверху или вынуть одну из боковых?»

Старик Палмер и его подручные засуетились, осмотрели край верхней плиты, простукали южную, восточную и западную боковые стенки, северную же трогать не стали. Хенсло сказал, что лучше попробовать с южной стороны, потому что там светлее и больше свободного места. Тогда мой отец, до сих пор только наблюдавший, зашел с северной стороны, опустился на колени, ощупал плиту возле щели, поднялся, отряхнулся и обратился к настоятелю:

«Я прошу прощения, господин настоятель, но мне кажется, ежели мистер Палмер попробует сдвинуть эту плиту, она отойдет легче других. Как по мне, один из работников может поддеть ее ломом вот через эту щель».

«Ага! Благодарю вас, Уорби, — ответил настоятель. — Весьма дельное предложение. Палмер, скажите своему человеку, чтобы так и поступил».

Работник подошел, засунул лом внутрь и навалился на него, и как раз в тот миг, когда они все

склонились над надгробием, а мы, мальчишки, дальше некуда вытянули шеи за край трифория, с западной части хоров донесся оглушительный грохот, словно с лестницы обрушился штабель тяжелых досок. Ну, что тут началось, за минуту не расскажешь. Само собой, поднялась страшная суматоха. Я услышал, как выпала плита, лом полетел на пол, а настоятель воскликнул: «Боже праведный!»

Когда я снова посмотрел вниз, оказалось, что настоятель распростерся на полу, работники улепетывают прочь от хоров, Хенсло спешит на помощь настоятелю, Палмер пытается остановить работников (так он говорил впоследствии), а отец мой сидит на алтарной ступени, спрятав лицо в ладони. Настоятель был страшно рассержен.

«Хенсло, прошу вас впредь смотреть, куда вы идете, — произнес он. — Ну упала досочка — и ладно, а вы все бросились наутек».

Хенсло попытался объяснить, что он просто стоял у другого края надгробия, но это не помогло.

Тут вернулся Палмер и доложил, что найти источник грохота не удалось и ничего вроде бы не падало, а когда настоятель закончил себя ощупывать, все столпились вокруг — все, кроме моего

отца, который остался сидеть на месте; кто-то зажег свечу, и собравшиеся заглянули в могилу.

«Ничего, — заявил настоятель. — Что я вам говорил? Погодите! Там что-то есть. Что это? Обрывок нотной бумаги и какой-то драный лоскут — похоже, от платья. И то и другое — явно нынешних времен и никакого интереса не представляют. Надеюсь, что в следующий раз вы не станете пренебрегать советами образованного человека». В общем, он сказал что-то в таком роде, а потом удалился, слегка прихрамывая, через северный вход и напоследок прикрикнул на Палмера за то, что по его вине дверь открыта настежь.

Палмер бросил в ответ: «Прошу прощения, сэр» — и пожал плечами, а Хенсло заметил: «Мне кажется, господин настоятель ошибается. Я точно прикрыл за собой дверь. Он просто слегка расстроен».

Тут Палмер вдруг очнулся и спросил: «Минуточку, а где Уорби?» Увидев, что отец сидит на ступеньке, все подошли к нему. Он, похоже, уже немного пришел в себя и теперь вытирал лоб. С помощью Палмера он поднялся на ноги, чему я очень обрадовался.

Мне с моего места было почти не слышно, о чем

они говорят, но отец указал на северную дверь в боковом нефе, отчего Палмер и Хенсло сильно удивились и перепугались. Вскоре отец и Хенсло вышли наружу, остальные же со всей мыслимой поспешностью водрузили плиту на место и закрепили цементом. А когда часы пробили полдень и собор снова открыли, мы с Эвансом потихоньку выбрались и разбежались по домам.

Мне страшно хотелось узнать, что так перепугало моего бедного отца; вернувшись домой, я обнаружил, что он сидит в кресле и прихлебывает из бокала, встревоженная мама стоит над ним, — и тут я не выдержал и во всем признался. Но отец почему-то не стал меня наказывать и даже не рассердился.

«А, так ты был там, да? И как, видел это?»

«Я все видел, отец, — ответил я, — кроме того, отчего раздался шум».

«Так ты видел, что сбило настоятеля с ног? — спросил он. — Что вырвалось из надгробья? Не видел? Ну и слава богу».

«Почему? Что это было, отец?» — спросил я.

«Да полно, ты наверняка все видел, — ответил он. — Или *не видел*? Тварь, похожая на человека, только сплошь поросшая волосами, с двумя огромными глазами?»

Мне тогда больше ничего не удалось у него выведать, а позже он, судя по всему, застыдился собственного страха и, если я поднимал эту тему, тут же меня обрывал. Однако много лет спустя, когда я уже вырос и повзрослел, мы время от времени обсуждали эту историю, и отец всегда повторял одно и то же:

«Оно было черное. Все волосатое, двуногое, с горящими глазами».

Вот вам история этого надгробия, мистер Лейк; посетителям мы ее не рассказываем, и я вас очень прошу ни с кем ею не делиться, пока я не покину сей мир. Уверен, что и мистер Эванс, ежели вы к нему подступитесь, попросит вас о том же.

Так все и вышло. Но с тех пор минуло уже двадцать лет, Уорби и Эванс давно в могиле; именно поэтому мистер Лейк со спокойной душой передал мне свои заметки, сделанные в 1890 году. К ним он приложил зарисовку надгробия и копию короткой надписи на металлическом кресте, который поставили с северной стороны по центру, — оплатил это доктор Лайалл. Это цитата из Вульгаты, из 34-й главы Книги пророка Исайи, и в ней всего три слова: «IBI CUBAVIT LAMIA»[37].

---

[37] Сноски: 37

«Здесь покоится ламия» *(лат.).*

Редьярд Киплинг

«Они»

Перевод Н. Роговской

Один красивый вид манил мой взор к другому, один высокий холм — к соседнему холму, и незаметно позади осталась половина графства. Любоваться пейзажами не стоило мне большого труда: знай себе двигай туда-сюда рычаг переключения скоростей, и дороги сами стелются под колеса. Пестрящие луговыми орхидеями восточные равнины сменились высокими холмами с тимьяном, остролистом и сероватой травой, а те в свою очередь — тучными хлебными полями и смоковницами прибрежной низменности, где на протяжении добрых пятнадцати миль слева доносится шум прибоя. Но когда я наконец повернул вглубь суши и залез в толчею мелких округлых холмов и густых лесов, все известные мне приметы исчезли из поля зрения. Миновав деревушку — крестную мать столицы Соединенных Штатов[38], — я оказался среди укромных поселений,

[38] Сноски: 38

На территории Англии есть несколько мелких населенных пунктов с названием Вашингтон, один из них в графстве Сассекс, где происходит действие рассказа. — *Здесь и далее примеч. перев.*

где не дремали только пчелы, гудевшие в кронах исполинских лип над серыми нормандскими церковками; где быстрые, чистые, волшебные речки ныряли под каменные мосты, построенные для тяжелых подвод, чье безустанное движение никогда уже не возобновится; где десятинные амбары вместительнее самих церквей, а старая кузня хвастливо заявляет, что в лучшие времена ей довелось служить парадным залом в замке тамплиеров. Гипсолюбку я встретил лишь на общинном лугу, куда ее загнали сообща утесник, папоротник и вереск, протянувшиеся на милю вдоль старой римской дороги; немного дальше вспугнул лисицу, которая по-собачьи каталась в траве на солнцепеке.

Когда меня со всех сторон обступили лесистые холмы, я остановился и встал в полный рост, чтобы определить свое местонахождение по знаменитой высокой вершине с венцом из буковых деревьев[39] — главному ориентиру для окрестных долин в радиусе пятидесяти миль. Я надеялся, что характер ландшафта подскажет

[39] Сноски: 39

Имеется в виду Чанктонбери — один из меловых холмов Южного Даунса в графстве Сассекс, где в XVIII в. на остатках древнего вала было высажено кольцо буковых деревьев. Даунс (The Downs) — холмы, холмистая местность *(англ.)*.

мне путь на какую-нибудь дорогу в западном направлении, к подножию венценосного холма, но не принял во внимание обманчивость лесного покрова. Повернув наугад, я сперва окунулся в сочную, словно омытую солнцем зелень старой, заросшей вырубки, потом неожиданно въехал в сумрачный туннель, приминая колесами прошлогодние, ворчливо шуршавшие листья. Над головой смыкался густой орешник: судя по всему, два или три поколения местных жителей не подрезали его и не прореживали — никто не помог худосочным замшелым дубкам и букам пробиться к свету. Дорога здесь превратилась в ковровую дорожку — коричневый бархат с нефритово-зелеными вставками из отцветших примул и редкими, хилыми, дружно кивавшими мне колокольчиками на белесых стебельках. Воспользовавшись тем, что еду вниз по склону, я заглушил мотор и просто катился вперед, вздымая палую листву и каждую минуту ожидая встретить бдительного лесника, но мирную тишину лесных сумерек нарушал лишь пронзительный крик сойки вдалеке.

Я спускался все ниже и ниже и уже готов был, пока не увяз в какой-нибудь болотине, повернуть назад и на второй скорости двинуться обратно в

гору, но тут сквозь путаницу ветвей над головой сверкнуло солнце, и я отпустил тормоз.

Неожиданно снова пришлось тормозить. Едва солнце ударило мне в лицо, автомобиль выкатился на просторную зеленую лужайку и дорогу преградили выросшие как из-под земли всадники высотой под десять футов с копьями наперевес; позади них тут и там высились гигантские павлины, изящные круглоголовые фрейлины — синие, черные, влажно блестящие — все из стриженого тиса. На дальней стороне лужайки, которую с трех сторон, словно воинские полки, осаждали леса, стоял большой старый дом из побитого ветрами и дождями, изъеденного лишайниками камня, с переплетом на окнах и щипцами на крыше, крытой розовой черепицей. От дома в обе стороны симметричными полукружьями расходились две стены такого же темно-розового цвета, замыкая лужайку с четвертой стороны, и вдоль всей протяженности стен зеленела плотная полоса самшита высотою в рост человека. На крыше между стройными кирпичными трубами расположились голуби — за одним из выступов фасада я приметил восьмиугольную голубятню.

Вот в таком необычном месте остановил меня всадник с зеленым копьем, направленным мне

прямо в грудь. Я стоял завороженный дивной красотой этой жемчужины и ее диковинным обрамлением.

«Если меня сразу не прогонят за вторжение на частную территорию, — загадал я, — то сейчас вон из той приоткрытой садовой двери выйдут Шекспир и королева Елизавета… никак не меньше!.. и пригласят меня на чашку чая».

В окне верхнего этажа я увидел ребенка, и мне показалось, что малыш приветливо помахал мне рукой. Но нет, он просто звал кого-то — в окне тотчас возникла еще одна золотистая головка. Потом на лужайке, меж тисовых павлинов, вроде бы послышался смех. Я повернулся, чтобы удостовериться — до той минуты мои глаза были прикованы к дому, — и увидел позади самшитовой изгороди искрившиеся серебром струи фонтана. На крыше ворковали голуби, ворковала в фонтане вода… Но сквозь две постоянные ноты я уловил счастливый смех маленького проказника.

Садовая дверь — тяжелая, дубовая, утопленная в толще стены, — отворилась шире: женщина в широкополой садовой шляпе медленно опустила ногу на выемку стертой каменной приступки и медленно пошла ко мне по траве. Не успел я

придумать вежливое извинение, как она подняла голову — и я понял, что передо мной слепая.

— Я вас услышала, — сказала она. — Вы приехали на автомобиле, верно?

— Боюсь, я заблудился, свернул не на ту дорогу. Надо было повернуть раньше — выше… Поверьте, я не хотел… — начал я неуклюже оправдываться.

— Что вы, право, я очень рада. Подумать только — автомобиль заехал прямо в сад! А как обрадуются… — Она повертела головой, словно озираясь по сторонам. — Вы… вы никого тут не видели… случайно?

— Никого, к кому мог бы обратиться. Но, кажется, дети издали проявили ко мне интерес.

— Кто из детей?

— Двоих я только что видел в верхнем окне, а еще одного слышал в саду.

— Вы счастливец! — просияла она. — Я слышу их, разумеется, но и только. А вы и слышали их, и видели?

— Да, — подтвердил я. — И если я что-то смыслю в детях, один из них резвится вон там, у фонтана. Без спросу, как я догадываюсь.

— Так вы любите детей?

Я в двух словах объяснил ей, почему мне странно было бы испытывать к ним неприязнь.

— Конечно, конечно, — сказала она. — Значит, вы понимаете. И не сочтете за пустую блажь мою просьбу проехать через сад разок-другой… медленно-медленно. Я уверена, им захочется посмотреть на это. Они так малы, бедняжечки. Как ни стараешься сделать их жизнь приятной, однако… — она развела руками, обратив лицо к лесу, — мы здесь отрезаны от мира.

— С удовольствием! — согласился я. — Но я не хочу испортить вам газон.

Она повернула голову направо и сказала:

— Погодите. Сейчас мы у южных ворот, так? За павлинами есть мощеная дорожка. Мы называем ее Павлиний променад. Отсюда ее не видно, как мне говорят, но, если вы немного проедете вперед вдоль кромки леса и повернете у первого павлина, сразу окажетесь на нашей мощеной дорожке.

Мне подумалось, что тревожить сонный фасад треском мотора — сущее святотатство, но я послушно вырулил с лужайки, проехал вдоль кромки леса и свернул на широкую мощеную аллею с фонтаном; его чаша сверкала точно звездчатый цейлонский сапфир.

— Можно мне с вами? — крикнула она. — Им больше понравится, если они увидят меня. Нет-нет, помогать не нужно.

Она на ощупь добралась до передней части машины и, поставив ногу на подножку, громко закричала:

— Дети, а дети! Посмотрите, что сейчас будет!

Ее певучий нежный голос выманил бы заблудшие души из преисподней — такая призывная сила таилась в нем! И я не удивился, услыхав из-за тисов ответный возглас. Должно быть, отозвался озорник у фонтана, хотя при нашем приближении он улепетнул, оставив на воде игрушечный кораблик. Я успел заметить, как синяя рубашонка промелькнула меж неподвижных всадников.

Мы степенно проехали по всей длине аллеи туда и обратно. На этот раз малыш немного осмелел, но подойти не решился и стал в отдалении.

— Мальчуган наблюдает за нами, — заметил я. — Наверное, хотел бы прокатиться?

— Они еще робеют. Ужасно робеют. Но как же вам повезло, что вы можете видеть их! А ну-ка, послушаем…

Я заглушил мотор, и нас обволокла влажная, неподвижная тишина, пропитанная запахом самшита. Я различал лишь слабое щелканье садовых ножниц, которыми где-то подрезали кусты, монотонное гудение пчел да прерывистые отголоски; возможно, голуби гурчали с высоты.

— Ах, неблагодарные! — разочарованно вздохнула она.

— Может быть, просто побаиваются автомобиля. Вон девчушка в окне смотрит на нас во все глаза.

— Правда? — Она вскинула голову. — Беру свои слова обратно. Они так привязаны ко мне… А это единственное, ради чего стоит жить, — ради их любви. Вы согласны? Страшно подумать, каково было бы здесь без них. Кстати, здесь красиво?

— Красивее места я в жизни не видывал.

— Да, все так говорят. Я и сама это чувствую, но одно дело чувствовать, другое — видеть.

— Значит, вы всегда были… — начал я и осекся, смутившись.

— Сколько себя помню. Говорят, это случилось, когда мне было всего несколько месяцев от роду. И все же я успела что-то запомнить, иначе как бы я видела цветные сны? А я вижу во сне и свет, и краски, но никогда не вижу *их*. Их я только слышу, и в этом смысле между моими снами и явью нет разницы.

— Во сне трудно видеть лица. Кто-то может, но большинству из нас не дано, — сказал я, глядя на окно, откуда за нами подсматривала любопытная малышка.

— Да, я слыхала об этом. А еще говорят, будто во сне нельзя увидеть лицо умершего. Это правда?

— Пожалуй… Раньше я как-то не задумывался об этом.

— Но про себя-то вы знаете — про себя? — Незрячие глаза обратились на меня.

— Я не вижу во сне лиц моих умерших близких, — признался я.

— Тогда во сне вы все равно что слепой.

Солнце закатилось за лес, и дерзких всадников одного за другим стали забирать к себе длинные тени. Я видел, как свет угасает на кончиках копий, минуту назад поблескивавших глянцем листвы, и вся крепкая сочная зелень тускнеет и превращается в ватную черноту. Дом, смиренно принимая угасание дня, как принимал уже сто тысяч раз, словно бы еще глубже погружался в свой вековечный покой среди теней.

— А вам хотелось бы? — помолчав, спросила она.

— Да, порой очень хотелось бы, — ответил я.

Малышка ушла от окна, едва тень накрыла его.

— Ах, мне тоже! Но вероятно, это не дозволено… Где вы живете?

— На другом конце графства — отсюда шесть-

десят с лишком миль, так что мне пора возвращаться. Я не взял с собой большую фару.

— Но ведь еще не стемнело, я чувствую.

— Боюсь, стемнеет, пока доеду. Вы не попросите кого-нибудь помочь мне выбраться на нужную дорогу? Я безнадежно заблудился.

— Пошлю Мэддена проводить вас до перекрестка. Как тут не заблудиться — мы полностью отрезаны от мира! Я поеду с вами к главному входу, только, пожалуйста, помедленнее… И после тоже, пока не окажетесь за воротами усадьбы, хорошо? Ведь вы не думаете, что это глупая предосторожность?

— Обещаю ехать не быстрее, чем вот так, — сказал я, пустив автомобиль вперед по мощеной аллее самым тихим ходом.

Мы обогнули левое крыло дома с изумительным свинцовым водостоком — ради него одного не жаль было бы потратить на дорогу целый день, — миновали увитые розами ворота в стене и, описав круг, оказались перед высоким парадным фасадом, который своей величественной красотой превосходил не только задний, но и вообще все известные мне фасады. В ответ на мои восторги она с затаенной грустью спросила:

— Вы не преувеличиваете? А наша оловянная

скульптура вам тоже нравится? Там, за фигурами, старый сад с азалиями. Недаром говорят, что усадьба словно создана для детворы. Вы не поможете мне выйти? Я сама проводила бы вас до перекрестка, но не могу их оставить. Это вы, Мэдден? Покажите джентльмену, как проехать к перекрестку. Он сбился с пути, но зато… он видел их!

Моему взору предстало резное чудо из старого дуба, которое здесь, по-видимому, именовали парадной дверью, откуда беззвучно явился дворецкий; посторонившись, он молча надел шляпу. Хозяйка дома смотрела на меня широко раскрытыми голубыми незрячими глазами, и я впервые заметил, что она хороша собой.

— Попомните мои слова, — негромко сказала она, — если *они* полюбились вам, вы снова приедете. — И скрылась в доме.

Мой провожатый нарушил молчание, только когда мы уже подъезжали к внешним воротам усадьбы и я резко повернул руль, заметив мелькнувшую в кустах синюю рубашку: еще не хватало, чтобы проказливый бес, толкающий мальчишек на рискованные забавы, сотворил из меня детоубийцу!

— Простите, сэр, — неожиданно заговорил

он, — зачем вы вильнули?

— Вон там ребенок.

— Наш маленький джентльмен в синей рубашке?

— Ну да.

— Такой непоседа! Вы видели его у фонтана, сэр?

— Видел не раз. Нам сюда?

— Да, сэр. А наверху вы их, случайно, не видели?

— В окне? Как же, видел!

— Еще до того, как госпожа вышла поговорить с вами, сэр?

— Незадолго до того. Почему вы спрашиваете?

— Просто хотел убедиться, что… — с заминкой ответил он, — …что они видели ваш автомобиль, сэр: когда дети бегают где им вздумается… хотя я не сомневаюсь, что вы предельно осторожны, сэр… всякое может быть. Только поэтому, сэр. А вот и перекресток. Дальше уже не заблудитесь. Благодарю вас, сэр, но *у нас* это не принято, мы не берем у…

— Простите, — сказал я, отбросив в сторону серебряную монету.

— Не поймите неправильно, сэр, с другими это было бы в порядке вещей. Счастливого пути, сэр.

Он вновь укрылся за непробиваемой броней своей специфической касты и с достоинством зашагал прочь. Очевидно, решил я, он из тех дворецких, кто ревностно блюдет честь господского дома и распространяет свою заботу на юных отпрысков — вероятно, в угоду какой-то горничной.

Миновав перекресток с дорожными указателями, я оглянулся, но в мешанине холмов не сумел определить, где прячется усадьба. А когда остановился возле торчавшей у дороги хижины и спросил, как называется господское имение, толстуха-хозяйка, продававшая сласти, ясно дала мне понять, что владельцы автомобилей — распоследние люди и нечего им пыжиться и «разговаривать так, будто ездят в каретах». По всей видимости, любезность была не в чести у здешних жителей.

Вечером, проследив свой путь по карте, я почти ничего нового не узнал — интересующая меня местность была обозначена как «Старая ферма Хоукина». В старинном справочнике географических названий графства, который никогда еще меня не подводил, имение не упоминалось вовсе. Главной достопримечательностью в тех краях, согласно подписи под ужасной гравюрой, слыл

Ходнингтон-Холл — георгианская постройка, «облагороженная» ранневикторианским декором. Я обратился за помощью к своему сельскому соседу, зная, что он, точно вековой дуб, глубоко укоренен в почве нашего графства, и услышал от него фамилию семейства, которая мне ни о чем не говорила.

Примерно месяц спустя я опять поехал — а может быть, мой автомобиль сам повез меня туда: перебрался через хребет бесплодных возвышенностей, легко отыскал каждый поворот в лабиринте проселков меж холмами, смело нырнул в лесную чащу, обступившую его с двух сторон наподобие высоких, непроницаемых стен из пышной листвы, выскочил на перекресток, где я расстался с дворецким, и, пробежав еще немного, вдруг захандрил, вынуждая меня дать ему отдых на придорожной полянке, вклинившейся в заросли орешника. Насколько можно было определить по солнцу и моей крупномасштабной карте, я застрял на объездной дороге вокруг того леса, который обозревал с высоты во время первой поездки. Надо сказать, я всегда серьезно подходил к ремонту и свой дорожный набор инструментов — гаечные ключи, насос и прочие полезные вещи — содержал в идеальном

порядке; все это я теперь аккуратно разложил на коврике, все блестело и сверкало. На такую приманку дети — любые дети — не могут не клюнуть, а я полагал, что здешние дети должны спасаться от зноя где-то поблизости, в тени деревьев. Прервав работу, я прислушался, но летний лес был до того переполнен звуками (хотя брачная пора у пернатых закончилась), что я не сразу расслышал боязливые, крадущиеся шаги маленьких ножек по палой листве. Я призывно позвонил в автомобильный колокол[40], но маленькие ножки убежали прочь, и я пожалел о своем глупом поступке, ведь незнакомый громкий звук внушает ребенку неподдельный ужас. Я трудился, наверное, уже с полчаса, когда из лесу послышался голос слепой женщины: «Дети, а дети, где же вы?» — казалось, ее мелодичный крик все звучит и звучит в жарком сонном мареве, не спешившем его поглотить. Она пошла ко мне, изредка подправляя свой путь легкими прикосновениями к древесным стволам. Если какой-то ребенок и цеплялся за ее подол, как мне почудилось, трусишка метнулся в кусты, точно заяц, стоило ей приблизиться.

---

[40] Сноски: 40
Первые автомобили были оснащены не клаксоном, а колоколом.

— Это вы? — спросила она. — С другого конца графства?

— Да, я, с другого конца графства!

— Отчего же вы не поехали через верхний лес? Они только что были там.

— Они и здесь побывали, всего несколько минут назад. Наверное, догадались, что автомобиль сломался, — для них это забава.

— Надеюсь, ничего серьезного? Что происходит с автомобилями, когда они ломаются?

— Тысяча разных вещей. Только мой выбрал тысяча первую.

Она весело рассмеялась моей простенькой шутке — очаровательным, переливчатым, воркующим смехом — и сдвинула шляпу со лба на затылок.

— А ну-ка, послушаем… — сказала она.

— Подождите! — засуетился я. — Сейчас достану вам подушку с сиденья.

Она наступила на коврик, заваленный запасными частями, и с любопытством склонилась над ним.

— Какая прелесть все эти штучки! — Руки, служившие ей глазами, обследовали пятнистую светотень. — Так, тут коробка… а в ней еще одна! Да тут у вас как в лавке игрушек!

— Признаться, я все это разложил в надежде привлечь их. Мне не нужна и половина этих вещей.

— Как это мило с вашей стороны! Я услышала звон автомобильного колокола из верхнего леса. Вы говорите, они еще раньше побывали здесь?

— Несомненно. Отчего они так робеют? Я думал, что уж тот-то мальчуган в синем, который шел сюда вместе с вами, сумеет побороть свой страх. Он выслеживал меня, точно краснокожий лазутчик!

— Наверное, испугались трезвона, — сказала она. — Когда я шла к вам сюда, кто-то из них в страхе прошмыгнул мимо меня, я слышала. Они и правда робкие — такие робкие! Даже наедине со мной. — Она повернула голову назад и снова крикнула: — Дети, а дети! Смотрите, что тут у нас!

— Должно быть, они где-то бегали всей ватагой, — предположил я: за нашими спинами послышалось перешептывание и визгливые всплески сдавленного ребячьего смеха.

Я вернулся к своим «побрякушкам», а она наклонилась вперед, подперев рукой подбородок, с интересом прислушиваясь к новым звукам.

— Сколько же их всего? — спросил я; работа

была окончена, но я не видел причины трогаться с места.

Она задумалась, слегка наморщив лоб и сказала с обезоруживающей прямотой:

— Точно не знаю. Иногда больше, иногда меньше. Они просто появляются и живут со мной, потому что я их люблю.

— Веселая у вас жизнь, как я погляжу, — легкомысленно брякнул я, убирая ящик с инструментами, и сразу пожалел о своих словах.

— Вы… Вы не смеетесь надо мной? — переполошилась она. — Я не… У меня нет своих детей. Я никогда не была замужем. Иногда люди смеются надо мной из-за них, потому что… потому…

— Потому что сами недалеко ушли от дикарей, — закончил я за нее. — Было бы о чем печалиться! Такие люди смеются над всем, чего нет и быть не может в их ограниченной сытой жизни.

— Не знаю. Откуда мне знать? Просто мне не нравится, когда надо мной смеются *из-за них*. Это обидно. А если ты к тому же ничего не видишь… Не хочу показаться наивной дурочкой, — и подбородок у нее задрожал, как у маленькой, — но, по-моему, у нас, у слепых, очень тонкая кожа. Любой укол ранит нас прямо в душу. Не то что

вас. Глаза служат вам защитой… предупреждают заранее… до того, как кто-то причинит боль вашей душе. Люди не думают об этом, когда имеют дело с нами.

Я молча размышлял об этой неисчерпаемой теме — о жестокости христианских народов, унаследованной от предков и, хуже того, сознательно культивируемой, рядом с которой обычное дикарское язычество какого-нибудь негра с западного берега Африки выглядит куда более безобидным. Отдавшись невеселым мыслям, я глубоко ушел в себя.

— Не надо! — внезапно взмолилась она, заслонив глаза ладонями.

— Не надо чего?

Она что-то быстро начертила рукой в воздухе.

— Вот этого! Оно… Оно все багрово-черное. Не надо! От этого цвета мне больно.

— Но позвольте, откуда вам знать про цвета? — изумился я: для меня это было поистине откровение!

— Про цвета вообще? — уточнила она.

— Нет. Про *те цвета*, которые вы только что описали.

— Вам это известно не хуже меня, — рассмеялась она, — иначе вы не задали бы такого вопроса.

Они не из внешнего мира. Они внутри вас — когда вы разгневаны.

— Вы имеете в виду что-то вроде грязно-фиолетового пятна, как если бы портвейн смешали с чернилами?

— Я никогда не видела ни чернил, ни портвейна, но цвета, о которых я говорила, не смешанные. Каждый сам по себе… отдельно от другого.

— Черные полосы и зубцы на пурпурном фоне?

Она кивнула.

— Да… когда они вот такие, — она снова изобразила пальцем зигзаг в воздухе, — только фон скорее не пурпурный, а красный — цвет злобы.

— А какие цвета в верхушке этой… того, что вы видите?

Она медленно наклонилась над ковриком и очертила сужающийся кверху овал — то самое Яйцо![41]

— Вот как я вижу их, — сказала она, воспользовавшись вместо указки стеблем травы. — Белый, зеленый, желтый, красный, фиолетовый… а ко-

---

[41] Сноски: 41

Под Яйцом здесь подразумевается так называемая аура — овальная (яйцевидная) оболочка, окружающая тело человека; видеть ее может лишь тот, кто обладает сверхчувственным зрением. Известно, что Киплинг интересовался паранормальными явлениями.

гда человек гневается, как вы минуту назад, или низок душой — черный на красном.

— Но каким образом вы… Кто научил вас?.. — допытывался я.

— Различать цвета? Никто. В детстве я всегда спрашивала, что какого цвета — скатерти, занавески, узорчатые ковры, словом… ну, вы понимаете, — потому что одни цвета меня расстраивали, а другие радовали. И мне подробно отвечали. Со временем я стала видеть людей вот так. — Она снова очертила на коврике контур Яйца, видеть которое дано лишь немногим из нас.

— Неужели все сами постигли? — не унимался я.

— Все сама. Никто мне не помогал. Только потом до меня дошло, что другие не видят эти внутренние цвета.

Она прислонилась спиной к дуплистому стволу, сплетая и расплетая сорванные наугад травинки. Прятавшиеся в лесу дети уже резвились поблизости — носились друг за другом между деревьями, как неугомонные белки (краем глаза я следил за ними).

— Теперь я уверена, что вы не станете смеяться надо мной, — произнесла она после долгого молчания, — и над ними.

— Избави бог, как можно! — возмутился я, вырванный ее голосом из плавного потока мыслей. — Тот, кто смеется над ребенком — если ребенок не смеется вместе с ним, — хуже, чем дикарь!

— Да, только я не о том. Конечно, вы никогда не стали бы смеяться *над* детьми, но я подумала… думала раньше… вдруг вы посмеетесь надо мной *из-за них*. Прошу меня простить… Ну вот, вам смешно. Почему?

А я ведь не проронил ни звука, но она каким-то чутьем угадала.

— Смешно, что вы просите у меня прощения. Если бы вы хотели исполнить свой сословный долг, ибо крупные землевладельцы суть опора монархии, вы должны были бы еще в прошлый раз привлечь меня к ответу за беспардонное вторжение в ваши леса. С моей стороны это было противозаконно — непростительно.

Она отвела голову назад, упершись затылком в древесный ствол, и устремила на меня долгий, пристальный, незрячий взгляд, способный видеть обнаженную душу.

— Удивительно, — вполголоса, почти шепотом, вымолвила она. — Просто удивительно!

— Что? Что я натворил?

— Вы так и не поняли… хотя все понимаете про внутренние цвета. Как же вы не поняли!

Она говорила с какой-то необъяснимой, ничем не оправданной горячностью, потом поднялась на ноги, а я по-прежнему смотрел на нее в полном недоумении. Между тем дети стали в кружок за кустом ежевики. Одна головка склонилась над чем-то невидимым мне, и все шалуны, судя по приподнятым плечикам, приложили палец к губам. У них тоже была своя, детская, тайна — важная-преважная. И только я ошарашенно хлопал глазами, словно потерялся средь бела дня.

— Нет, — сказал я, помотав головой, как будто мертвые глаза могли это видеть, — не знаю, что я должен понять. Пока ничего не понимаю. Возможно, пойму потом — если вы позволите мне приехать опять.

— Вы приедете, — ответила она. — Непременно приедете побродить по лесу.

— Будем надеяться, тогда и дети привыкнут ко мне и позволят с ними поиграть — сделают мне одолжение. Дети, они такие! Не мне вам рассказывать.

— Одолжение тут ни при чем — нужно иметь право, — ответила она.

Пока я гадал, что значат ее слова, на дорогу из-за поворота выбежала непотребного вида женщина. Простоволосая, расхристанная, пунцово-красная, она еще и ревела как белуга. Это была моя старая приятельница — склочная толстуха, торговка сластями. Заслышав ее, слепая женщина шагнула навстречу.

— Что стряслось, миссис Мейдхерст?

Толстуха задернула фартук на голову и буквально простерлась ниц в пыли перед слепой, сквозь слезы выкрикивая, что внучок помирает, а доктор уехал на рыбалку, а Дженни, горемычная мать, уже сходит с ума, и так далее, снова и снова, без конца повторяясь и завывая.

— Есть тут в округе другой доктор? — спросил я, улучив мгновение тишины.

— Мэдден покажет дорогу. Подъедете к дому и возьмете его с собой. Об остальном я позабочусь. Скорее!

Она помогла толстухе подняться и отвела ее в тень. Через две минуты я уже трубил во все трубы иерихонские[42] у входа в Чертог Красоты, и Мэдден, выйдя из буфетной и услыхав про несчастье, повел себя сообразно высокому званию дворец-

---

[42] Сноски: 42
Нав. 6: 19.

кого и человека.

За четверть часа, забыв про все ограничения скорости и одним махом одолев пять миль, мы домчались до места. Еще через полчаса высадили доктора, проявившего большой интерес к автомобилям, у дверей торговки сластями, а сами немного отъехали от дома и стали дожидаться вердикта.

— Полезная вещь эти автомобили, — заметил Мэдден, теперь уже только человек, без примеси дворецкого. — Был бы у нас автомобиль, глядишь, не умерла бы дочка.

— Что с ней случилось?

— Круп. Миссис Мэдден была в отъезде. Никто не знал, что делать. Я поехал за восемь миль в одноколке. Когда привез доктора, она уже задохнулась. Автомобиль уберег бы ее. Сейчас ей было бы почти десять.

— Сочувствую, — сказал я. — Я так и понял, что вы любите детей, когда в прошлый раз говорил с вами по пути к перекрестку.

— Вы снова видели их, сэр?.. Нынче утром?

— Да, но они панически боятся автомобилей. Ни один не хотел подойти ближе чем на двадцать ярдов, как я ни старался.

Он смерил меня изучающим взглядом — как

разведчик чужака. Не так должен смотреть покорный слуга, заглядывающий в глаза своему богоизбранному господину!

— Странное дело, — вздохнув, пробормотал он.

Дальше мы просто сидели и ждали. Вдоль длинной полосы лесов справа и слева гулял ветер с моря, и придорожные травы, уже поседевшие от пыли, колыхались, точно мутные волны прибоя.

Потом из соседнего дома, торопливо отирая с рук мыльную пену, к нам выскочила женщина.

— Я подслушивала на заднем дворе! — бойко сообщила она. — Он говорит, Артур безнадежен. Слыхали сейчас, как кричал? Одно слово — безнадежен. Знать, на той неделе придет черед Дженни бродить по лесу, так-то, мистер Мэдден!

— Прошу прощения, сэр, у вас плед сползает с колен, — почтительно произнес Мэдден.

Женщина смешалась, сделала книксен и заспешила назад к дому.

— О чем это она? Что значит «бродить по лесу»? — спросил я.

— Какой-то местный оборот речи, надо думать. Я сам не здешний — из Норфолка, — ответил Мэдден. — А в этом графстве народ своеобразный. Она приняла вас за шофера, сэр.

Из дома торговки вышел доктор, за ним увяза-

лась молодая оборванка, которая цеплялась за него, словно он мог заключить для нее сделку со Смертью.

— Вы не смотрите, что он такой, — заголосила она, — нам все равно! Мать любит свое дитя, законное иль нет. Ей все одно… все одно! И Боженька одинаково будет рад, какое б дитя вы ни спасли, доктор. Не отнимайте его у меня! Спросите мисс Флоренс — она вам то же самое скажет. Останьтесь с ним, доктор!

— Понимаю, все понимаю, — ответил тот, — но теперь он на время успокоится. А мы постараемся как можно скорее доставить сюда сиделку и лекарства.

Он сделал мне знак подъехать. Как ни пытался я отводить глаза, все же увидел лицо молодой матери — опухшее от слез, окаменевшее от горя, а едва мы тронулись, колено мне стиснула рука без кольца.

У доктора была очевидная склонность к юмору: он объявил, что мой автомобиль причислен к сонму служителей Эскулапа[43], и с той минуты нещадно гонял его и меня по всей округе. Первонаперво мы отвезли миссис Мейдхерст и слепую

---

[43] Сноски: 43

Эскулап (лат.), или Асклепий *(др. — греч.),* — бог врачевания.

женщину к больному ребенку — приглядеть за ним, пока не появится сиделка. Затем нарушили покой опрятного тихого городка, чтобы раздобыть нужные лекарства (доктор поставил диагноз «цереброспинальный менингит»), а когда в центральной больнице графства, взятой в осаду согнанными на продажу и мычавшими от страха быками и коровами, не нашлось ни одной свободной сиделки, мы принялись ездить во все концы, бесстрашно вступая в переговоры с владельцами загородных дворцов, вернее, с их породистой, дородной женской половиной: миновав очередную тенистую подъездную аллею, мы принуждали очередную влиятельную особу встать из-за чайного стола и выслушать просьбу настырного доктора. Наконец седовласая леди, восседавшая под ливанским кедром в окружении своры борзых (как выяснилось — лютых врагов автомобилей), вручила доктору, который склонился перед ней, словно принимал бесценный дар от принцессы крови, некое письменное распоряжение. Эту бумагу, промчавшись на предельной скорости через многомильный парк к стенам французской женской обители, мы обменяли на бледную, пугливую монашку. Всю дорогу она стояла на коленях, перебирая четки,

и недаром: я то и дело съезжал с проселка, чтобы срезать путь согласно внезапным указаниям доктора, пока мы вновь не оказались перед домом торговки сластями.

Это был долгий день, до краев наполненный безумными эпизодами — они сменяли друг друга и исчезали, как пыль под колесами; мелькали как поперечные сечения чужих, неведомых жизней, в которые мы вонзались под прямым углом и, пролетев насквозь, двигались дальше. Домой я добрался уже затемно, чуть живой, и ночью мне снились быки, сшибавшиеся рогами; монашки, бродившие по саду, где вместо клумб красовались могилы; чинные чаепития в тени раскидистых деревьев; больничные коридоры, пропахшие карболкой и выкрашенные серой краской; робкие шаги детей в лесу; и руки, хватавшие меня за колени, едва автомобиль трогался с места.

Я планировал вернуться через пару дней, но судьбе было угодно найти массу поводов удерживать меня на другом конце графства, пока на бузине и шиповнике не поспели плоды. Наконец выдался чудесный погожий денек: небо на юго-западе очистилось, придвинув холмы, так что до них было, кажется, рукой подать, — ветреный день с высокими перистыми облаками. По слу-

чайному совпадению я как раз освободился от дел и в третий раз отправился в автомобиле по уже изученной дороге. Однако, выехав на гребень холмистой гряды, я ощутил в воздухе тревожную перемену — вместо мягкого тепла в нем разливалось под солнцем холодное сияние; когда же я посмотрел вниз на воды пролива, то за широкой полосой синевы увидел гладкое серебро, дальше тусклую сталь и, наконец, темное олово. Шедший вдоль берега углевоз повернул в открытое море, на глубину; сквозь медноокрашенную дымку я наблюдал, как один за другим поднимали паруса стоявшие на якоре рыбачьи лодки (их собралась там целая флотилия). В оставшейся позади укромной лощине, поросшей дубами, ни с того ни с сего шумно взвихрился ветер, унося с собой охапку осенних листьев. Когда я спустился к прибрежной дороге, над кирпичным заводом сгущался морской туман, а волны прилива рассказывали волнорезам о шторме, разыгравшемся где-то за Уэсаном[44]. Не прошло и часа, как летняя Англия сгинула в промозглой серой мгле. Мы вновь превратились в одинокий северный остров, и все корабли мира надсадно гудели у наших смертель-

[44] Сноски: 44

Уэсан — остров в Атлантике у берегов Бретани, самая западная точка метропольной (без заморских территорий) Франции.

но опасных ворот, и в их утробный панический хор вторгались истошные крики чаек. Капли, падавшие с козырька моего дорожного кепи на складки толстого пледа, растекались тонкими ручейками или собирались в лужицы; на губах у меня выступил соленый иней.

По мере удаления от берега густой туман все больше насыщался запахом осени, а кислая морось сменилась проливным дождем. Однако серую пелену тумана еще оживляли яркие пятна поздних цветов — дикой мальвы на обочинах, шишкорника в луговинах, георгинов в палисадниках, да и деревья, укрытые от холодного дыхания моря, еще вовсю зеленели. В деревенских домах все двери были распахнуты настежь, и босоногие ребятишки с непокрытыми головами сидели, по летней привычке, прямо на сырых ступенях и кричали «би-би» незнакомому дяде.

Набравшись смелости, я заглянул к торговке сластями, и на этот раз миссис Мейдхерст встретила меня радушно, не скрывая навернувшихся слез (обильных, как у всех толстух). Сыночек-то Дженни помер на третий день после приезда монашки, сообщила она. Может, оно и к лучшему, хотя страховщики, бог весть почему, не любят страховать жизнь незаконных младенцев.

— Нешто моя Дженни не пеклась об Артуре! Пеклась не меньше, чем если б дитя родилось в браке, под конец первого года семейной жизни, — как вот моя Дженни.

Заботами мисс Флоренс ребенка похоронили с пышностью, что, по мнению миссис Мейдхерст, с лихвой искупало ничтожную погрешность, допущенную при его появлении на свет. Мне во всех подробностях, изнутри и снаружи, был описан гробик, и стеклянная карета-катафалк, и вечнозеленый бордюр вокруг могилки.

— А что же мать? — спросил я.

— Дженни? Ничего, как-нибудь переживет. Уж я-то знаю, сама через это прошла. Погорюет и станет жить дальше. Покамест ходит-бродит по лесу.

— В такую погоду?

Миссис Мейдхерст, сощурив глаза, внимательно посмотрела на меня через прилавок.

— Ну не знаю… Это как снять камень с души. Да, камень с души! Не зря же говорят: не потеряешь — не найдешь.

Да, мудрости старых кумушек могли бы позавидовать все вместе взятые Отцы Церкви. Двинувшись дальше по дороге, я так глубоко задумался над вещими словами торговки, что за

лесистым мыском возле внешних ворот Чертога Красоты едва не сбил женщину с ребенком.

— Ужасная погода! — крикнул я, сбросив скорость перед съездом в усадьбу.

— Бывает и хуже, — миролюбиво ответила из тумана мамаша. — Мой привычный, ему дождь нипочем. Ваши-то, поди, сидят дома.

В доме Мэдден встретил меня с профессиональной учтивостью, вежливо справился о здоровье автомобиля и вызвался поставить его в укрытие.

Я остался ждать в безмолвном орехово-коричневом холле с милыми букетами осенних цветов и уютным теплом от дровяного камина — здесь царили добро, и мир, и покой. (Иногда людям ценой неимоверных усилий удается выдать ложь за правду; однако их дом — их святилище — всегда скажет правду, одну только правду о своих обитателях.) На черно-белой плитке пола, возле сдвинутого впопыхах коврика, я заметил детскую тележку и куклу: очевидно, перед моим приходом дети играли, но теперь убежали и попрятались, благо было где — например, за многочисленными поворотами широкой лестницы из тесаных досок, торжественно поднимавшейся из холла на верхние этажи… а кто-то мог, скорчившись,

притаиться за львами и розами[45] резной галереи наверху… У себя над головой я услышал ее голос: она пела, как поют слепые, — просто и задушевно.

В садах веселых просим Бога…

При этих звуках во мне всколыхнулись воспоминания о моих визитах в начале лета.

В садах веселых просим Бога
Благословить счастливы дни.
«Благослови, Господь, утраты!» —
Вот так просить должны бы мы[46].

Она выпустила все портившую пятую строку[47] и повторила:

Вот так просить должны бы мы.

Я увидел, как она перегнулась через перила балюстрады; ее сложенные в замок пальцы белели, точно жемчуг на фоне старого дуба.

---

[45] Сноски: 45

Львы и розы — геральдические символы Англии.

[46] Сноски: 46

Начало стихотворения Элизабет Браунинг «Утраченный лесной приют» («The Lost Bower», 1844), положенное на музыку в 1893 г. оперной певицей и композитором Кларой Кэтлин Роджерс.

[47] Сноски: 47

Пятая, назидательная, строка (у автора в скобках): «Listen, gentle — ay, and simple! listen, children on the knee!» («Услышьте, дети, и склонитесь, — теперь не время для игры!»).

— Это вы — с другого конца графства? — окликнула она меня.

— Да, это я, с другого конца графства! — весело отозвался я.

— Долго же вы собирались. — Она сбежала вниз по лестнице, слегка касаясь рукой широких перил. — Два месяца и четыре дня. Уж и лето прошло!

— Я давно хотел, да, видно, не судьба была приехать раньше.

— Так я и знала. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с огнем в камине. Мне велят не играть с огнем, а он плохо себя ведет, я чувствую. Задайте ему трепку!

Я глянул по сторонам камина, но обнаружил лишь полуобгорелый колышек, которым и подпихнул в пламя обугленное полено.

— Огонь горит у нас и днем и ночью, — сочла нужным объяснить мне она, — просто на всякий случай: вдруг кто-то захочет согреть ноги после улицы.

— Прелестный дом, и внутри еще лучше, чем снаружи, — пробормотал я.

Красноватый свет разлился по темным, отполированным временем панелям, тюдоровские розы и львы на галерее внезапно ожили и обрели

цвет. Увенчанное орлом старинное выпуклое зеркало собирало всю очаровательную картину в своей таинственной сердцевине, наново искривляя искривленные тени и выгибая прямую линию галереи наподобие борта корабля. Меж тем надвигалась буря, ветер разметал туман в клочья. Сквозь незанавешенное широкое окно, разделенное переплетом на секции, я видел, как доблестные всадники на лужайке вздымают коней на дыбы, грудью встречая воеводу-ветер с его легионами опавших листьев, и вновь возвращаются в прежнее положение, готовые к новой атаке.

— Да, здесь красиво, должно быть, — сказала она. — Хотите осмотреться кругом? Наверху еще довольно светло.

Вслед за ней я поднялся по широченным, прочным, как камень, ступеням на галерею, куда выходили филенчатые елизаветинские двери.

— Проведите рукой — чувствуете, как низко расположена щеколда? Чтобы дети могли достать. — Она легонько толкнула дверь, и створки распахнулись.

— Кстати, где они все? — спросил я. — Сегодня я их даже не слышал.

Она не спешила с ответом. Потом мягко на-

помнила:

— А я всегда могу только слышать… Это одна из детских. Как видите, все приготовлено.

Она обвела рукой комнату, сверху донизу отделанную деревом. Низкие раскладные столы с выдвижными ножками, детские стульчики. Кукольный дом с откидной передней стенкой, сейчас наполовину открытой; напротив — красивая, в яблоках, лошадка-качалка с мягким седлом, придвинутая к широкой банкетке под окном: любой малыш сумел бы перебраться с седла на банкетку и выглянуть в окно, из которого лужайка была видна как на ладони. В углу — игрушечное ружье и деревянная с позолотой пушечка.

— Они только что были здесь! — шепотом произнес я.

В меркнувшем свете тихо скрипнула дверь. Я услышал шелест платья и топоток маленьких ножек в соседней комнате.

— Я их слышала! — победно воскликнула она. — Вы тоже? Дети, а дети, где же вы?

Ее голос разнесся по дому, и стены любовно удерживали его, упиваясь чистотой нот, от первой до последней. Но никто не отозвался, не то что тогда, в саду. Мы стали торопливо обходить

комнаты — один дубовый паркет, другой, третий; тут ступенька вверх, там три вниз; по лабиринту бесконечных коридоров, точь-в-точь как незадачливые охотники, которых желанная добыча ловко водит за нос. С таким же успехом можно ловить кроликов, пустив одного-единственного хорька в нору со множеством незаделанных выходов[48]. В доме таких «дыр», чтобы уйти от погони, было видимо-невидимо: затененные ниши в стенах, глубокие проемы с узкими и темными вечерней порой окнами, откуда сорванцам ничего не стоило улизнуть, пропустив нас вперед… а заброшенные камины глубиной целых шесть футов, а чехарда проходных комнат, и всюду двери, двери… К тому же в этой игре у них был надежный союзник — сумерки. Раз-другой я уловил сдавленный смех восторга сбежавших крольчат, раз-другой успел заметить детский силуэт в конце коридора на фоне темнеющего окна. В конце концов мы ни с чем вернулись на галерею, где застали лишь средних лет женщину, которая зажгла и вернула на подставку в стене керосиновую лампу.

---

[48] Сноски: 48

Имеется в виду охота на кроликов с ручным хорьком; обычно охотник предварительно отыскивает и закладывает все выходы из норы, кроме одного, где и караулит с ружьем добычу.

— Нет, мисс Флоренс, нынче вечером я ее тоже не видела, — донеслось до меня, — зато этот Терпин уже тут как тут, говорит, надо потолковать с вами насчет хлева.

— Мистеру Терпину явно не терпится! Позовите его в холл, миссис Мэдден.

Я посмотрел вниз на холл, тускло освещенный догоравшим огнем, и в темном закутке наконец увидел их. Вероятно, они тихонько сбежали вниз, пока мы кружили по коридорам, и наивно решили, что нашли идеальное укромное местечко за старинной ширмой из золоченой кожи. По неписаным детским законам наше знакомство уже состоялось в форме моей безуспешной погони, но после стольких усилий я считал справедливым заставить их сделать шаг мне навстречу, для чего прибег к простейшей уловке, которую дети терпеть не могут, — притворился, будто забыл о них. Они прятались, сбившись в кучку: сразу и впрямь не разберешь, что там темнеет в углу, покуда взметнувшийся вверх язык пламени не проявит очертания.

— А теперь давайте пить чай, — сказала она. — Я должна была сразу предложить вам чаю, но о манерах как-то забываешь, когда долго живешь одна и слывешь… гм, чудачкой. Велеть принести

вам лампу? — насмешливо прибавила она. — Вам ведь нужно видеть, что вы едите.

— Думаю, свет от камина будет приятнее.

Мы сошли в уютный полумрак, и Мэдден подал чай.

Я пододвинул свое кресло поближе к ширме, готовый удивлять или удивляться (в игре никогда не знаешь наперед), и с разрешения хозяйки, ибо домашний очаг священен, наклонился поворошить дрова.

— Где вы берете такие славные дощечки для растопки? — спросил я рассеянно. — Постойте, это же так называемые долговые бирки!

— Ну да, — подтвердила она. — Ведь я не могу ни читать, ни писать, вот и приходится, как в стародавние времена, вести бухгалтерию на дощечках с зарубками. Дайте мне одну, и я скажу вам, что на ней «записано».

Я протянул ей не тронутую огнем ореховую бирку длиной около фута, и она быстро провела большим пальцем по зарубкам.

— Здесь у меня полный отчет об удоях молока, в галлонах, на нашей ферме за апрель прошлого года, — сообщила она. — Не знаю, что бы я делала без этих дощечек. Меня научил ими пользоваться один старый лесник. Метода давно устарела, но

мои арендаторы не ропщут. К слову сказать, один из них сейчас явится поговорить со мной. Нет-нет, не беспокойтесь. Он не должен приходить сюда в неурочный час. Это жадный, невежественный человек… очень жадный, иначе… ни за что не пришел бы сюда затемно.

— Значит, у вас большие угодья?

— Усадебных всего-навсего ярдов двести, и слава богу. Остальные шестьсот розданы в аренду людям, которые знали нашу семью еще до моего рождения, а из пришлых только этот Терпин — разбойник с большой дороги!

— Может быть, мне все-таки лучше?..

— Даже не думайте. Вы здесь по праву. У него нет детей.

— Кстати о детях! — Я еще немного сдвинул свое низкое кресло назад, так что спинка едва не коснулась ширмы, за которой они прятались. — Интересно, выйдут они ко мне?

Возле низкой, незаметной в темноте боковой двери послышались приглушенные голоса, оба мужские, один — Мэддена, другой тоном ниже, и в комнату ввалился (возможно, вследствие хорошего толчка в спину) рыжеволосый великан в холщовых гетрах, с виду типичный фермер.

— Подойдите к камину, мистер Терпин, — ска-

зала хозяйка.

— Из-з-извините, мисс, я уж лучше тут… у двери.

Он цеплялся за щеколду, как испуганный ребенок, и я вдруг понял, что он и впрямь ни жив ни мертв от страха.

— Что у вас?

— Да я насчет нового коровника — для телят… больше ничего. Ведь осень уже, непогода… Но я зайду в другой раз, мисс. — Зубы у него стучали едва ли не громче щеколды.

— Зачем, не стоит, — невозмутимо возразила она. — Значит, новый коровник… мм… Напомните, что написал вам мой управляющий пятнадцатого числа?

— Я просто… подумал, что если мы потолкуем без… один на один, мисс… Но я…

Глаза его с каким-то диким ужасом обшаривали все углы. Он приоткрыл было дверь позади себя, но она опять закрылась — вернее, ее захлопнули снаружи, и очень решительно.

— Он написал вам то, что я велела, — продолжала она. — У вас и так уже слишком много скота. На ферме Даннетта больше пятидесяти бычков никогда не бывало — даже при мистере Райте. И он, в отличие от вас, использовал кормовые

добавки. А у вас шестьдесят семь голов, и никакой подкормки! Вы нарушаете условия аренды. Выжимаете из фермы все соки.

— Я… я завезу удобрения… суперфосфат… на неделе. Уже заказал. Завтра с утра съезжу на станцию, узнаю… Потом зайду к вам, мисс, потолковать один на один… потом, когда светло… У вас гости… Джентльмен ведь еще не уходит? — Он едва не сорвался на крик.

А я всего только отклонился назад и легонько постучал пальцами по кожаной ширме у себя за спиной. Этого хватило, чтобы он подпрыгнул, как загнанная в угол крыса.

— Нет. Пожалуйста, мистер Терпин, выслушайте меня!

Она повернулась в кресле лицом к нему, он вжался в дверь. Пусть не думает, будто она не понимает его примитивной бесчестной игры — построить новый коровник за счет хозяйки, с тем чтобы нажиться на естественном удобрении перед уплатой следующей годовой ренты, и это после того, подчеркнула она, как он буквально обескровил доставшиеся ему сочные пастбища… Я не мог не восхититься его безмерной жадностью, во имя которой он добровольно подверг себя ужасному испытанию — у него даже испа-

рина на лбу выступила, — хоть мне по-прежнему было невдомек, чего он боится.

Я перестал постукивать по ширме — невольно начал прикидывать в уме стоимость коровника — и вдруг почувствовал, как мою повисшую руку взяли и повернули ладонью кверху нежные детские ручки. Я возликовал: сейчас обернусь и уже вблизи познакомлюсь с неуловимыми бродяжками…

Быстрый, легкий поцелуй коснулся самой середины моей ладони — словно крошечный дар, который когда-то мне полагалось быстро зажать в руке; словно знак нерушимой верности и мягкого укора от заскучавшего ребенка, не привыкшего оставаться без внимания взрослых, даже если у них уйма дел, — напоминание о негласном уговоре, заключенном очень-очень давно.

Тогда я все понял. И мне показалось, что я понимал это с первого дня, когда посмотрел через лужайку на окно в верхнем этаже.

Я слышал, как закрылась дверь. Женщина молча повернулась ко мне, и я почувствовал, что она все знает.

Сколько длилось молчание, мне трудно сказать. Из ступора меня вывел звук упавшего полена, и я машинально встал подтолкнуть его обратно в

огонь. Потом снова сел в кресло, почти вплотную к ширме.

— Теперь вы понимаете, — шепотом сказала она, чтобы не потревожить обступившие нас тени.

— Да, понимаю… теперь. Благодарю вас.

— Я же… Я только слышу их. — Она опустила лицо в ладони. — У меня нет права… нет права на другое. Не потеряешь — не найдешь! Я не имела и не теряла… не имела и не теряла.

— Ваше счастье, — вырвалось у меня, потому что душа моя кричала от боли. — Простите!..

Она сидела безмолвно, неподвижно, и я вновь отдался своей печали — и радости.

— Все потому, что я безумно люблю их! — наконец сказала она с трагическим надрывом. — Вот почему так вышло, ведь с самого начала… еще до того, как я поняла, что все они… Других мне не дано было иметь. А я так их люблю!

Она протянула руки к теням — к теням, что таились в тени.

— Они стали приходить, потому что я их люблю… потому что они нужны мне. Я… Должно быть, я заставила их прийти. По-вашему, это нехорошо, неправильно?

— Да нет… Нет.

— Я… я согласна, что игрушки и… все прочее — это сущая нелепица, но… но в детстве я ненавидела пустые комнаты. — Она указала рукой на галерею. — И эти вечно пустые коридоры… А как стерпеть, когда садовая дверь заперта? Только представьте…

— Не надо! Избавьте меня, бога ради!

Сумерки принесли с собой холодный дождь и порывистый ветер, который бился в свинцовые переплеты окон.

— Потому и огонь в камине горит здесь всю ночь. По-моему, это не так уж и глупо… вам не кажется?

Я взглянул на широкий, выложенный кирпичом очаг, впервые (кажется, сквозь слезы) заметил, что ни прямо перед ним, ни вокруг него нет железной решетки, и легким поклоном обозначил свое согласие.

— Все это и многое другое я делала… просто для самообмана. А они взяли и пришли! Я слышала их, но не понимала, что у меня нет прав на них, пока миссис Мэдден не сказала мне…

— Жена дворецкого? Что она сказала?

— Одного из них… кого я только слышала… она увидела. И узнала. Узнала свое дитя! Они здесь не ради меня. Я не сразу это поняла. Возможно,

во мне говорила ревность. Но со временем я начала понимать, что они приходят ко мне только потому, что я их люблю, а не потому, что… Ах, нужно самой иметь или потерять! — жалобно посетовала она. — Иначе никак… И все-таки они любят меня. Должны любить! Ведь должны?

Тишину в комнате нарушала лишь негромкая разноголосица огня в камине, но мы с ней напряженно прислушивались, и, видимо, из нас двоих она услышала что-то для себя утешительное — приободрилась и даже слегка привстала. Я же не шелохнулся в своем кресле у ширмы.

— Вы не думайте, что я только плачусь, жалею себя, просто… я живу в кромешной тьме, не то что вы — вы можете видеть!

Я и вправду мог видеть, и мои зрячие глаза утвердили меня в моей решимости, хоть это было не легче, чем приказать душе расстаться с телом. Но я медлил, чтобы еще немного побыть здесь — в последний раз.

— Значит, вы все-таки думаете, что это неправильно! — вскричала она, хотя я не издал ни звука.

— Нет, для вас — нет. Тысячу раз нет. Для вас это хорошо и правильно… И я благодарен вам так, что и сказать нельзя. Неправильно было бы

для меня, только для меня…

— Почему? — Она провела раскрытой ладонью перед глазами, как тогда, в лесу, в день нашей второй встречи, и с детским простодушием сказала: — А, ну да! Для вас это было бы неправильно. — И прибавила с горьким смешком: — А я еще, помните, назвала вас счастливцем… было дело… когда мы только-только познакомились. Вас — которому больше нельзя приезжать сюда!

Она ушла, позволив мне одному посидеть возле ширмы, и я услышал, как в галерее наверху стихли ее шаги.

Роберт Уильям Чамберс

Демуазель д’Ис

Mais je croy que je Suis descendu on puiz
Ténébreux onquel disoit Heraclytus estre
Vereté cachée[49].
Три вещи непостижимы для меня, и
четырех я не понимаю: пути орла на небе,
пути змея на скале, пути корабля среди
моря и пути мужчины к девице[50].

Перевод А. Волкова

I

Окружающее запустение начинало оказывать свое воздействие; я присел, чтобы оценить обстановку и, если получится, припомнить какой-нибудь ориентир, который поможет мне выбраться из моего теперешнего положения. Мне бы только выйти к океану, и все бы прояснилось, поскольку я знал, что с утесов виден остров Груа.

---

[49] Сноски: 49
Мы с тобой побеседуем о неясных для тебя вопросах и постараемся найти решение на дне того неисчерпаемого кладезя, в котором, как сказал Гераклит, таится истина (Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль». Перев. с фр. Н. Любимова). — *Здесь и далее примеч. перев.*

[50] Сноски: 50
Притч. 30: 18–19.

Я положил ружье на землю, опустился на одно колено и, опустившись на колени за скалой, закурил трубку. Потом взглянул на часы. Почти четыре. Наверное, с рассвета я забрел далеко от Керселека.

Днем раньше, когда вместе с Гульвеном я стоял на утесе под Керселеком и смотрел вниз, на угрюмую местность, по которой теперь блуждал, эта холмистая пустошь представлялась мне ровным лугом, простершимся до горизонта, и, хотя я знал, как порой искажается вид на расстоянии, мне трудно было поверить, что травянистые ложбины на деле оказались широкими долинами, поросшими дроком и вереском, а разбросанные по ним валуны — огромными гранитными глыбами.

— Так себе местечко для чужеземца, — сказал старый Гульвен, — вам стоит взять провожатого.

А я ответил:

— Я не заблужусь.

Теперь я сидел тут и курил трубку, морской ветер дул мне в лицо, и я понимал, что заблудился. Со всех сторон простиралась пустошь, покрытая цветущим дроком, вереском и гранитными валунами. Нигде не было видно даже дерева, а тем более дома. Через некоторое время я взял ружье,

повернулся спиной к солнцу и зашагал дальше.

Не было смысла следовать по течению какого-нибудь бурливого ручья, которые тут и там пересекали мой путь, поскольку текли они не к морю, а в другую сторону, к камышовым водоемам в низинах. Я прошелся вдоль нескольких ручьев, но они приводили меня к болотам или маленьким тихим прудикам, близ которых с писком вспархивали и улетали перепуганные кулики. Я начинал чувствовать усталость, а ружье натирало мне плечо, несмотря на двойную подкладку. Солнце клонилось все ниже и ниже, бросая отсветы на желтый дрок и заболоченные водоемы.

Я шел, следуя за собственной громадной тенью, которая с каждым шагом становилась длиннее. Дрок задевал мои штиблеты, хрустел под ногами, роняя соцветия на бурую землю, а вдоль тропинки клонились и колыхались кустарники. Кролики выскакивали из вересковых зарослей и скрывались среди орляка, а из болотной растительности доносилось сонное кряканье дикой утки. Один раз путь мне перебежала лисица, а когда я наклонился над проворным ручейком, чтобы попить, из камышей рядом со мной, громко хлопая крыльями, вылетела цапля. Я оглянулся

на солнце. Оно уже касалось края равнины. Тогда я наконец рассудил, что дальше идти бессмысленно и по крайней мере одну ночь мне придется провести на пустоши. Полностью обессиленный, я рухнул на землю. Вечернее солнце согревало меня своими лучами, но морской ветер усиливался, мои охотничьи ботинки промокли, и я чувствовал, как меня пробирает холод. Высоко в небе реяли и метались чайки, похожие на клочки белой бумаги; где-то вдалеке на болоте кричал одинокий кроншнеп. Мало-помалу солнце закатилось за равнину, и вечерняя заря заалела в небе. Я наблюдал, как оно меняло окраску: от бледно-золотой к розовой, а потом приобрело цвет тлеющего огня. Надо мной тучами вилась мошкара, а высоко в неподвижном воздухе то устремлялась вниз, то взмывала вверх летучая мышь. Мои веки начинали слипаться. Но вдруг я стряхнул дремоту, разбуженный внезапным треском в зарослях орляка. Я поднял взгляд. В воздухе над моим лицом зависла, трепыхая крыльями, крупная птица. Некоторое время я смотрел на нее, не смея шевельнуться; потом что-то прошмыгнуло в кустах рядом со мной, птица взмыла вверх, расправив крылья, и камнем бросилась вниз.

Я мигом вскочил на ноги, устремив взгляд в

вересковые заросли. Раздались звуки борьбы, а потом все стихло. Я шагнул вперед с ружьем на изготовку, но, когда я подошел ближе, ружье вновь выпало из моих рук, и я застыл в молчаливом удивлении. На земле лежал мертвый заяц, а на зайце сидел великолепный сокол, одной лапой вцепившись зверьку в шею, а другой упираясь в его обмякший бок. Но удивил меня не сам по себе вид сокола, сидящего на своей добыче. С подобным я сталкивался неоднократно. Удивило меня то, что обе лапы у сокола были перевязаны каким-то шнурком, с которого свисал круглый металлический предмет, похожий на бубенец. Птица повернула ко мне злые желтые глаза, а потом наклонилась и вонзила в свою жертву изогнутый клюв. В тот же миг в вереске послышались торопливые шаги и из зарослей выскочила молодая девушка. Не взглянув на меня, она подошла к соколу, подсунула ему под грудь руку в перчатке и сняла его с убитого зверька. Потом ловко натянула на голову птице клобучок и, продолжая держать сокола на перчатке, наклонилась и подобрала зайца.

Она связала ноги животного веревкой, конец которой закрепила у себя на пояске. Потом той же самой дорогой направилась обратно через

заросли. Когда она проходила мимо меня, я приподнял шляпу, и она едва заметным поклоном дала понять, что заметила мое присутствие. Я был слишком поражен, слишком изумлен сценой, разыгравшейся у меня на глазах, поэтому не сразу осознал, что ко мне пришло спасение. Но когда девушка направилась прочь, я рассудил, что, если не желаю заночевать на открытой всем ветрам пустоши, мне стоит без промедления завести разговор. При первом же моем слове она замедлила шаг, и, когда я подошел к ней, мне показалось, что в ее прекрасных глазах промелькнул испуг. Но когда я со всей почтительностью объяснил ей, в сколь затруднительном положении оказался, она зарделась и взглянула на меня с удивлением.

— Вы пришли явно не из Керселека! — промолвила она.

В ее нежном голосе не было и следа бретонского акцента, равно как и любого другого акцента, известного мне, однако в нем слышалось что-то знакомое, что-то причудливое и неуловимое, похожее на мелодию старинной песни.

Я объяснил ей, что я американец, Финистера не знаю и охочусь здесь для собственного удовольствия.

— Американец, — повторила она с тем же при-

чудливым мелодичным выговором. — Никогда еще не видала я американца.

Мгновение помолчав, она взглянула на меня и сказала:

— Если вы будете идти хоть всю ночь, то не доберетесь до Керселека, даже наняв провожатого.

Вот уж приятные известия!

— Но, — начал я, — мне бы только отыскать крестьянскую хижину, где я мог бы перекусить и укрыться…

Сокол на ее запястье принялся бить крыльями и мотать головой. Девушка погладила его по лоснистой спинке и взглянула на меня.

— Посмотрите окрест, — кротко промолвила она. — Видите ли вы край этим пустошам? Посмотрите на север, на юг, на восток, на запад. Видите ли вы что-нибудь, кроме пустошей и зарослей?

— Нет, — ответил я.

— Пустоши дики и необитаемы. Попасть сюда легко, но те, кто сюда попадает, порой так и не выбираются обратно. Крестьянских хижин здесь нет.

— Что ж, — сказал я, — если вы покажете мне, в какой стороне Керселек, то завтра на обратный путь у меня уйдет не больше времени, чем заняла

дорога сюда.

Она вновь взглянула на меня с почти жалостливым выражением.

— Ах, — промолвила она, — прийти сюда просто, это занимает несколько часов; уйти отсюда трудно, на это может понадобиться несколько столетий.

Я с изумлением воззрился на нее, но решил, что неправильно ее понял. Однако не успел я и слова сказать, как она сняла с пояса свисток и дунула в него.

— Сядьте отдохнуть, — промолвила она, — вы проделали большое расстояние и утомились.

Она подобрала складчатые юбки и, сделав мне знак следовать за ней, изящной походкой пробралась сквозь заросли дрока к плоскому камню среди папоротников.

— Они вот-вот придут, — сказала она и, усевшись на одном краю камня, пригласила меня расположиться на другом. Вечерняя заря начинала меркнуть, и сквозь розовую дымку слабо замерцала одинокая звезда. В небе над нами длинным дрожащим клином проследовала к югу стая гусей, а в окрестных топях завели свою песню ржанки.

— Как прекрасны эти пустоши, — негромко

проговорила девушка.

— Прекрасны, но жестоки к чужеземцу, — ответил я.

— Прекрасны и жестоки, — мечтательно повторила она, — прекрасны и жестоки.

— Словно женщина, — неосмотрительно заметил я.

— Ах! — воскликнула она, чуть задержав дыхание, и взглянула на меня. Ее темные глаза встретились с моими, и мне показалось, что она рассержена или испугана.

— Словно женщина, — выдохнула она, — как жестоко говорить такое! — И, немного помолчав, словно беседуя сама с собой, добавила: — Как жестоко с его стороны говорить такое!

Я и не знал, что придумать в извинение своих опрометчивых, хотя и безобидных слов, но, видя, насколько они ее взволновали, решил, будто, сам того не ведая, сказал что-то страшное, и с ужасом припомнил, какие ловушки и капканы французский язык расставляет иностранцам. Пока я предавался подобным размышлениям, на пустоши послышались голоса, и девушка поднялась на ноги.

— Нет, — сказала она, и на ее бледном лице проступило некое подобие улыбки, — я не приму

ваших извинений, месье, но я должна доказать вашу неправоту, и в этом будет состоять моя месть. Вот идут Астур и Рауль.

В сумерках показались два человека. У одного за плечами был мешок, а другой нес перед собой обруч, подобно тому как официант несет поднос. На этом обруче, прикрепленном к его плечам ремнями, сидели три сокола в клобучках и со звенящими колокольчиками на лапах. Девушка направилась навстречу сокольнику и, быстро согнув запястье, пересадила своего сокола на обруч, куда тот ловко переместился и устроился рядом со своими товарищами, которые затрясли головами в клобучках и взъерошили перья, так что колокольчики на их путах снова зазвенели. Второй человек выступил вперед, с почтительным поклоном принял зайца из рук девушки и положил его в мешок.

— Это мои piqueurs[51], — сказала девушка, с благородным достоинством повернувшись ко мне. — Рауль — отменный fauconnier[52], и одна-

[51] Сноски: 51
Пикёры *(фр.)* — сопровождающие во время охоты.

[52] Сноски: 52
Сокольничий *(фр.)*.

жды он у меня станет grand veneur[53]. Астур же не знает себе равных.

Оба они, не говоря ни слова, учтиво поклонились мне.

— Я обещала, месье, доказать вашу неправоту? — продолжала она. — Моя месть будет состоять в том, что вы окажете мне милость, приняв пищу и кров в моем доме.

Не успел я ответить, как она обратилась к сокольникам, которые тотчас зашагали через пустошь, и последовала за ними, любезным жестом пригласив меня присоединиться. Я не знал, в каких выражениях донести до нее мою глубочайшую благодарность, но она с явным удовольствием слушала меня, пока мы шли по росистой пустоши.

— Вы очень утомились? — спросила она.

В ее присутствии я напрочь позабыл про усталость, о чем ей и сказал.

— Не думаете ли вы, что ваша учтивость слегка старомодна? — спросила она и, видя мое смущение, добавила: — Мне это нравится, мне нравится все старомодное, поэтому приятно слышать от вас столь милые вещи.

---

[53] Сноски: 53
Главный охотник, ловчий *(фр.)*.

Пустошь вокруг нас замерла под призрачной пеленой тумана. Ржанки умолкли; кузнечики и прочая мелкая полевая живность затихали, когда мы проходили мимо, хотя мне казалось, что я слышу, как далеко позади они оживляются вновь. Двое рослых сокольников шагали впереди на приличном расстоянии, и до нашего слуха доносился приглушенный перезвон соколиных колокольчиков.

Внезапно перед нами из тумана выскочила великолепная гончая, следом за которой появилась другая, а потом и третья, и наконец полдюжины или больше подбежали к девушке и запрыгали вокруг нее. Она гладила и успокаивала их облаченной в перчатку рукой, обращаясь к ним с диковинными выражениями, которые попадались мне в старинных французских рукописях.

Соколы на обруче, который нес сокольник впереди, начали бить крыльями и кричать, и по пустоши разнеслись звуки охотничьего рога, трубившего где-то за пределами видимости.

Гончие ринулись вперед и скрылись в сумерках, соколы принялись еще сильнее хлопать крыльями и издавать пронзительные звуки, а девушка начала тихонько напевать, подхватив мелодию, которую протрубил рог. Ее голос чисто

и мягко звучал в ночном воздухе:

Chasseur, chasseur, chassez encore,
Quittez Rosette et Jeanneton,
Tonton, tonton, tontaine, tonton,
Ou, pour, rabattre, dês l'aurore,
Que les Amours soient de planton,
Tonton, tontaine, tonton[54].

Пока я внимал ее прелестному голосу, впереди возникла серая громада, которая по мере нашего приближения становилась все отчетливее, а рог весело звенел сквозь беспокойный гам гончих и соколов. Факел осветил ворота, сквозь их распахнутые створы хлынул свет, и мы ступили на деревянный мост, который поскрипывал под нашими ногами и с тяжелым скрежетом поднялся, когда мы пересекли ров и оказались в каменном дворике, со всех сторон окруженном стенами. Дверь открылась, из нее вышел человек и с приветственным поклоном протянул девушке кубок. Она взяла кубок и пригубила вино, затем, поту-

[54] Сноски: 54

Слегка измененная строфа из песни «La Chasse» («Охота») П.-Ж. Беранже. Первая строка у Беранже: «Chassez, morbleu! chassez encore…».

В русском переводе И. Ф. и А. А. Тхоржевских: «Охотьтесь, черт возьми, на воле… / Пусть киснет дома красота! / Тра-та-та-та! Тра-та-та-та! / Не то — послать амуров в поле / Стеречь заветные места!.. / Тра-та-та-та!»

пившись, повернулась ко мне и тихим голосом промолвила:

— Милости прошу!

В этот миг вышел один из сокольников, также с кубком в руке, но, прежде чем подать его мне, поднес его девушке, которая отведала и из него. Сокольник жестом предложил мне принять кубок, но девушка, на мгновение замешкавшись, шагнула вперед и протянула мне кубок сама. Я сознавал, что мне оказана величайшая честь, но едва ли догадывался, чего ожидают от меня, поэтому не стал сразу подносить кубок к губам. Девушка густо зарделась. Я понял, что медлить нельзя.

— Мадемуазель, — нерешительно проговорил я, — чужестранец, спасенный вами от опасностей, которые он не мог и вообразить, осушает сей кубок за здравие самой любезной и прекрасной хозяйки во всей Франции.

— Во имя Его, — прошептала она и, перекрестившись, осушила кубок.

Потом двинулась к двери, изящно повернулась ко мне, взяла меня за руку и повела в дом, повторяя вновь и вновь:

— Вам очень рады, вам поистине рады в шато д'Ис.

II

Наутро я проснулся от звуков рога и, вскочив со старинной кровати, подошел к занавешенному окну, составленному из небольших глубоко посаженных стекол, сквозь которые просачивался солнечный свет. Когда я выглянул во двор, рог умолк.

Человек, который, похоже, приходился братом вчерашним сокольникам, стоял внизу, окруженный стаей гончих. За спиной у него висел изогнутый рог. Собаки поскуливали и взлаивали, в предвкушении вертясь вокруг него; по двору раздавался топот лошадиных копыт.

— На конь! — послышался возглас на бретонском, и во двор, полный гончих, с цоканьем въехали двое верховых сокольников, на перчатках у которых сидело по соколу. Потом я услышал еще один голос, от которого кровь прилила мне к сердцу:

— Пириу Луи, задай гончим работы, не жалей ни шпор, ни хлыста. Ты, Рауль, и ты, Астур, ви-

дите, этот epervier[55] не кажется niais[56], и, если сочтете наилучшим, faites courtoisie à l'oiseau[57]. Jardiner un oiseau[58], вроде этого mué[59], который сидит у Астура на запястье, труда не составит, но тебе, Рауль, может причинить немало хлопот этот hagard[60]. На прошлой неделе он разъярился au vif[61]и выронил beccade[62], хотя leurre[63] ему в привычку. Вел себя, как глупый branchier[64]. Paître un hagard n'est pas si facile[65].

Не во сне ли я? Старинный язык соколиной охоты, о котором я читал в пожелтевших старофранцузских средневековых рукописях, теперь звучал у меня в ушах, а гончие лаяли и соколиные колокольчики звенели под аккомпанемент лошадиных копыт. Она вновь заговорила на этом сладостном позабытом языке:

---

[55] Сноски: 55
Ястреб-перепелятник *(фр.)*.

[56] Сноски: 56
Птенец, дурачок *(фр.)*.

[57] Сноски: 57
Дайте птице попробовать добычу; буквально — обойдитесь с птицей учтиво *(фр.)*.

[58] Сноски: 58
Обучать птицу *(фр.)*.

[59] Сноски: 59
Размыт (фр.) — ловчая птица, прошедшая первую линьку.

[60] Сноски: 60

Дикомыт (фр.) — ловчая птица, прошедшая первую линьку на воле и с трудом поддающаяся приручению.

[61] Сноски: 61

Задетый за живое *(фр.)*.

[62] Сноски: 62

Корм *(фр.)*.

[63] Сноски: 63

Вабило *(фр.)*.

[64] Сноски: 64

Молодая хищная птица, слёток *(фр.)*.

[65] Сноски: 65

Вабить дикомыта не так-то просто *(фр.)*.

— Если ты, Рауль, решишь закрепить longe[66], чтобы этот hagard остался au bloc[67], я не стану возражать; ведь жалко будет, если такую прекрасную охоту испортит необученный sors[68]. Essimer abaisser[69] — пожалуй, так будет лучше всего. Ça lui donnera des reins[70]. Я, верно, поторопилась с этой птицей. Ей нужно больше времени à la filière[71] и упражнений d'escap[72].

Сокольник Рауль поклонился в стременах и ответил:

— Если мадемуазель будет угодно, я придержу этого ястреба.

— Этого я и хочу, — промолвила она. — Я умею охотиться с соколами, но ты должен получше познакомить меня с Autourserie[73], мой бедный Рауль. Сьер Пириу Луи, на коня!

---

[66] Сноски: 66
Должик, ремень для привязывания птицы *(фр.)*.

[67] Сноски: 67
На присаде *(фр.)*. *Присад* — приспособление, на котором птица сидит между полетами.

[68] Сноски: 68
Годовалый сокол *(фр.)*.

[69] Сноски: 69
Выдерживать (птицу) без пищи *(фр.)*.

[70] Сноски: 70
Это придаст ему бодрости *(фр.)*.

[71] Сноски: 71
На веревке *(фр.)*.

[72] Сноски: 72
Притравка *(фр.)*.

[73] Сноски: 73
Выдерживание ястребов *(фр.)* — приучение птицы сидеть на перчатке.

Ловчий скрылся в арке и тотчас вернулся верхом на могучем вороном жеребце, сопровождаемый пикёром, также верхом на коне.

— Ага! — радостно воскликнула она. — Скорее, Глемарек Рене! Скорее! Скорее же! Труби в рог, сьер Пириу!

Серебристые звуки охотничьего рога наполнили двор, гончие устремились в ворота, и лошадиные копыта огласили мощеный двор звонким цокотом, прогрохотали на подъемном мосту, а затем их стук стал глуше и растворился среди вереска и зарослей папоротника на пустоши. Звуки рога все отдалялись и отдалялись, наконец стали едва различимыми, и их заглушила внезапная песня жаворонка, взмывшего в небо. Снизу я услышал голос, отвечавший кому-то в доме:

— Я не сожалею об охоте, поеду в другой раз. Помни, Пелажи, учтивость по отношению к гостю — прежде всего!

И слабый дрожащий голос внутри дома отозвался:

— Courtoisie[74].

Я снял ночную сорочку, с головы до пят омылся холодной водой из большой глиняной лохани,

---

[74] Сноски: 74
Учтивость *(фр.)*.

стоявшей на каменном полу в изножье моей кровати. Потом огляделся в поисках своего верхнего платья. Его нигде не было, но на деревянной скамье у дверей лежала груда одежды, которую я с изумлением осмотрел.

Поскольку моя одежда пропала, мне поневоле пришлось облачиться в наряд, который, очевидно, положили здесь для меня, чтобы мне было что носить, пока моя одежда сушится. Тут было все: шляпа, башмаки и охотничий дублет из светло-серой домотканой материи; но обтягивающий костюм и башмаки без швов принадлежали другому веку, и мне припомнились диковинные наряды троих сокольников, которых я видел во дворе. Я догадывался, что это отнюдь не современный костюм, характерный для какой-нибудь области Франции или Бретани, но, только одевшись и встав перед зеркалом, висевшим в простенке между окнами, я понял, что больше похож на молодого средневекового охотника, чем на нынешнего бретонца. Я смутился и надел шляпу. Неужели я должен спуститься вниз и предстать в таком странном одеянии? На чью-либо помощь рассчитывать не приходилось, моя одежда пропала, а в этой старинной комнате не было колокольчика, чтобы позвать слугу,

поэтому я ограничился тем, что снял со шляпы короткое ястребиное перо и, открыв дверь, сошел вниз по лестнице.

У камина в большой зале, в которую вела лестница, за прялкой сидела старая бретонка. При моем появлении она поняла взгляд и с искренней улыбкой по-бретонски пожелала мне здоровья, а я, засмеявшись, ответил ей по-французски. В тот же миг вошла хозяйка, с любезностью и достоинством ответив на мое приветствие, так что мое сердце затрепетало. Ее прелестную чернокудрую головку увенчивал головной убор, который рассеял все сомнения насчет того, к какой эпохе принадлежит мой костюм. Ее стройную фигуру изящно облегало домотканое охотничье платье с серебряной каймой, а на перчатке у нее сидела одна из ее охотничьих птиц. Без всяких церемоний она взяла меня за руку, повела к цветнику у двора и, устроившись за столиком, любезно пригласила меня сесть рядом. Потом с мягким причудливым акцентом спросила, как я провел ночь и не сильно ли стесняет меня одежда, которую положила мне старая Пелажи, пока я спал. Я взглянул на свою одежду и обувь, сушившиеся на солнце у стены цветника, и почувствовал к ним отвращение. Какими ужасными представи-

лись они мне в сравнении с изящным костюмом, в который я был облачен теперь! Со смехом я сказал ей об этом, но она согласилась со мной совершенно серьезно.

— Мы их выбросим, — тихим голосом сказала она.

Изумившись, я пустился в объяснения — дескать, я не могу даже помыслить о том, чтобы принять одежду от кого бы то ни было, хотя и понимаю, что таков может быть обычай гостеприимства в этой части страны, а кроме того, я буду выглядеть весьма странно, если вернусь во Францию в подобном виде.

Она засмеялась и, вскинув свою прелестную головку, произнесла на старофранцузском что-то непонятное для меня, и старая Пелажи семенящей походкой вышла к нам, держа поднос с двумя чашками молока, краюхой белого хлеба, фруктами, целым блюдом медовых сот и кувшином темно-красного вина.

— Как видите, я до сих пор блюла пост, ибо желала, чтобы вы разделили со мной трапезу. Но я изрядно проголодалась, — улыбнулась хозяйка.

— Я скорее умру, чем забуду хоть одно слово из тех, что вы сказали! — произнес я словно в тумане, и мои щеки вспыхнули. «Она сочтет

меня безумцем», — добавил я про себя, но она с искрящимся взором повернулась ко мне.

— Ах! — шепнула она. — Стало быть, месье знает все, что имеет отношение к рыцарству…

Она перекрестилась и разломила хлеб, а я сидел и смотрел на ее белые руки, не смея поднять глаза и встретиться с ней взглядом.

— Вы не будете есть? — спросила она. — Почему вы так встревожены?

Почему? Я не знал. Я знал, что отдал бы жизнь, чтобы прикоснуться губами к этим нежным рукам, я понимал, что с того самого мгновения, когда я прошлой ночью на пустоши взглянул в ее темные очи, я полюбил ее. Моя пылкая внезапная страсть лишила меня дара речи.

— Вам не по себе? — спросила она снова.

Тогда, словно произнося собственный приговор, я ответил ей тихим голосом:

— Да, мне не по себе от любви к вам.

Она бровью не повела и ничего не ответила; тогда та же самая сила против моей воли заставила мои губы двигаться, и я сказал:

— Я, недостойный занять в ваших мыслях даже самое ничтожное место, я, злоупотребивший вашим гостеприимством и отплативший за вашу любезную учтивость бесстыдной дерзостью, я

люблю вас.

Она закрыла лицо ладонями и тихо ответила:

— Я люблю вас. Ваши слова драгоценны для меня. Я люблю вас.

— Тогда мне предстоит вас завоевать.

— Завоюйте меня, — ответила она.

Я молчал, повернувшись к ней лицом. Она тоже сидела лицом ко мне и молчала, подперев рукой свою милую головку и устремив взор мне прямо в глаза. Ни она, ни я не произнесли вслух ни слова, но я знал, что душа ее устремлена к моей, и внутренне воспрял, чувствуя, как по моим жилам разливаются молодость и упоительная любовь. Ее прелестное лицо зарумянилось, она словно пробудилась ото сна и вопрошающим взором заглядывала мне в глаза, заставляя меня трепетать от восторга. Мы принялись за еду, рассказывая друг другу о себе. Я назвал ей свое имя, а она мне свое — демуазель Жанна д'Ис.

Она поведала о смерти отца и матери и о том, что все девятнадцать лет ее жизни одиноко протекали в этом укрепленном поместье в обществе кормилицы Пелажи, пикёра Глемари Рене и четверых сокольников: Рауля. Гастона, Астура и сьера Пирио Луи, служивших еще ее отцу. Она никогда не покидала этой пустынной местности

и до сих пор не видела ни одной живой души, кроме сокольников и Пелажи. Она не помнила, откуда слышала о Керселеке, — возможно, от сокольников. От своей кормилицы Пелажи она знала легенды о Лугару и Жанне Пламенной. Она проводила время за вышивкой и прялкой. Единственным ее развлечением была охота с ловчими птицами и гончими. Встретив меня на пустоши, она так испугалась, что при звуке моего голоса едва не упала в обморок. С утесов она, правда, видела в море корабли, но на пустоши, по которой она ездила верхом, нигде, сколько хватало глаз, не попадалось признаков человеческой жизни. Одна из легенд, которые рассказывала Пелажи, гласила, что тот, кто заблудится в этих диких пустошах, уже не вернется назад, поскольку пустоши заколдованы. Она не знала, правда ли это, и до встречи со мной никогда об этом не задумывалась. Она не знала, бывали ли сокольники за пределами этой местности и могли ли ее покинуть, если бы захотели. Книгам в доме, по которым Пелажи выучила ее читать, было несколько сотен лет.

Обо всем этом она рассказывала с милой серьезностью, которую встретишь разве что у детей. Мои имя и фамилию она сочла удобными для

произношения и уверенно заявила, что во мне есть французская кровь, поскольку меня зовут Филипп. Она не проявляла ни малейшего любопытства к внешнему миру, и я предположил, что рассказы кормилицы отбили у нее всякое желание узнать его ближе.

Мы еще сидели за столиком, и она бросала виноградины полевым птичкам, которые безбоязненно подскакивали прямо к нашим ногам.

В обтекаемых выражениях я сообщил ей, что мне нужно уходить, но она не хотела и слышать об этом, и я, сам того не успев осознать, пообещал остаться на неделю и поехать в ее обществе на охоту с ловчими птицами и гончими. Также я получил дозволение навестить ее после возвращения в Керселек.

— Я не знаю, что буду делать, — невинно промолвила она, — если вы больше не вернетесь.

Я промолчал, понимая, что не имел права тревожить ее столь внезапным любовным признанием.

— Вы часто будете меня навещать? — спросила она.

— Очень часто, — ответил я.

— Каждый день?

— Каждый день.

— Ах! — вздохнула она. — Я так счастлива! Идемте смотреть моих птиц.

Она встала, вновь с детской невинностью взяла меня за руку, и мы, пройдя через цветник и фруктовый садик, оказались на зеленой лужайке, окаймленной неглубокой канавкой. По всей лужайке были расставлены пятнадцать или двадцать деревянных чурбанчиков, утопающих в траве, и на каждом, кроме двух, сидели соколы. На чурбанчиках их удерживали ремешки, которые крепились к когтистым лапам стальными заклепками. Через лужайку протекал ручеек с чистой ключевой водой, и благодаря его извилистому руслу до него легко было дотянуться с любого из присадов.

При появлении девушки птицы подняли гам, и она принялась ходить между ними, одних лаская, других ненадолго сажая себе на руку, у третьих поправляя ремешки.

— Разве они не прелестны? — сказала она. — Смотрите, вот ястреб-тетеревятник. Мы зовем его «неблагородным», потому что он прямо преследует добычу. Это сапсан. Сокольники считают его «благородной» птицей, потому что он высоко взмывает, кружась над добычей, и ставкой атакует ее сверху. Эта белая птица — северный кречет.

Он тоже «благородный»! Вот дербник, а этот сапсан-самец предназначен для охоты на цаплю.

Я спросил, откуда она знает старинный язык соколиной охоты. Она не помнила точно, но предположила, что могла научиться ему от отца, когда была совсем маленькой.

Она повела меня дальше и показала молодых соколов, еще не покинувших гнездо.

— У сокольников они зовутся niais, — объяснила она. — Branchier — это молодая птица, способная лишь покидать гнездо и прыгать на ветку. Молодая птица, которая еще не линяла, называется sors, а mué — это сокол, у которого первая линька прошла в неволе. Когда мы ловим дикого сокола, уже сменившего оперение, мы зовем его hagard. Рауль научил меня приручать соколов. Хотите, я и вас научу?

Мы сели на берегу ручья в окружении соколов, я устроился у нее в ногах и приготовился слушать.

Демуазель д'Ис подняла пальчик, увенчанный розовым ноготком, и с важностью начала:

— Сначала нужно поймать сокола.

— Я пойман, — ответил я.

Она мило рассмеялась и сказала, что dressage[75],

---

[75] Сноски: 75
Приручение *(фр.)*.

вероятно, окажется трудным, поскольку я «благородный».

— Я уже приручен, — ответил я. — Путы надеты, и колокольчик подвешен.

Она радостно засмеялась.

— О мой отважный сокол! Стало быть, вы вернетесь на мой зов?

— Я весь ваш, — серьезно ответил я.

Она на мгновение умолкла. Румянец на ее щеках сгустился, она снова подняла пальчик и продолжила:

— Слушайте же: я хочу рассказать вам о соколиной охоте.

— Я слушаю, графиня Жанна д'Ис.

Она снова погрузилась в задумчивость, а ее взгляд словно был прикован к чему-то по ту сторону летних облаков.

— Филипп, — наконец проговорила она.

— Жанна, — шепнул я.

— Вот и все, чего я хотела, — выдохнула она. — Филипп и Жанна.

Она протянула мне руку, к которой я прикоснулся губами.

— Завоюйте меня, — сказала она, и на этот раз ее тело и душа находились в полном согласии.

Через некоторое время она заговорила вновь:

— Давайте поговорим о соколиной охоте.

— Начинайте, — ответил я. — Итак, мы поймали сокола.

Жанна д'Ис обеими руками взяла меня за руку и принялась рассказывать, как молодого сокола терпеливо учат садиться на перчатку, как мало-помалу его заставляют привыкнуть к путам с колокольчиками и к chaperon à cornette[76].

— У них должен быть хороший аппетит, — сказала она. — Затем я понемногу сокращаю количество пищи, которая на языке сокольников называется pât. После того как hagard проведет много ночей au bloc, как птицы, которых вы видите здесь, я добиваюсь, чтобы он спокойно сидел на перчатке, и тогда птица готова к тому, чтобы ее приучали приходить за едой. Я креплю pât к концу ремешка или к leurre и приучаю птицу подлетать ко мне, как только я начинаю вращать ремешок над головой. На первых порах я роняю pât, когда сокол подлетает, и он съедает пищу на земле. Вскоре он уже умеет в движении хватать leurre, который я вращаю над головой или волоку по земле. После этого не составит труда обучить сокола нападать на добычу, всегда помня, что

---

[76] Сноски: 76
Клобучок *(фр.)*.

необходимо faire courtoisie à l'oiseau, то есть позволять птице пробовать добычу на вкус.

Ее речь прервал пронзительный крик, который издал один из соколов, и она подошла поправить longe, перекрутившуюся вокруг присада, но сокол по-прежнему бил крыльями и кричал.

— В чем дело? — спросила она. — Филипп, вы видите?

Я огляделся и сначала не увидел ничего, что могло бы послужить причиной волнения, которое теперь стало еще сильнее, поскольку уже все птицы хлопали крыльями и кричали. И тут мой взгляд упал на плоский камень возле ручья, с которого только что поднялась девушка. По камню медленно ползла серая змея, и глаза на ее плоской треугольной головке сверкали, словно гагат.

— Couleuvre[77], — тихо произнесла девушка.

— Она ядовитая? — спросил я.

Девушка показала на черный узор в виде буквы V на шее у змеи.

— Верная смерть, — сказала она. — Это гадюка.

Она наблюдала, как змея медленно ползет по гладкому камню, на который широкой теплой полосой ложился солнечный свет.

---

[77] Сноски: 77
Здесь: змея *(фр.)*.

Я хотел подойти поближе, чтобы рассмотреть змею, но Жанна схватила меня за руку и воскликнула:

— Нет, Филипп, я боюсь!

— За меня?

— За вас, Филипп, ведь я люблю вас.

Я заключил ее в объятия и поцеловал в губы, но мог только повторять:

— Жанна, Жанна, Жанна.

Когда она с трепетом припала к моей груди, что-то в траве задело меня по ступне, но я не придал этому значения. Потом что-то задело мою лодыжку, и меня пронзила резкая боль. Я взглянул в прелестное лицо Жанны д'Ис и поцеловал ее, потом подхватил ее на руки и изо всех сил отбросил от себя. Наклонившись, я оторвал гадюку от лодыжки и придавил ей голову каблуком. Помню, как я почувствовал слабость и оцепенение, помню, как рухнул на землю. Мои быстро стекленеющие глаза успели разглядеть бледное лицо Жанны, склонившейся надо мной, а когда свет в моих глазах померк, я еще чувствовал, как ее руки обнимают мою шею, а ее нежная щека прижимается к моим застывшим губам.

Открыв глаза, я в страхе огляделся. Жанны не было. Я увидел ручей и плоский камень; увидел

на траве рядом со мной раздавленную змею, но ловчие птицы и blocs исчезли. Я вскочил на ноги. Ни цветника, ни фруктовых деревьев, ни деревянного моста, ни каменных стен — ничего не было. Я в недоумении взирал на груду серых, поросших плющом развалин, сквозь которые уже успели прорасти огромные деревья. Я поплелся вперед, подволакивая онемевшую ногу, и, едва я двинулся, с вершины одного из деревьев среди развалин взлетел сокол и, взмывая ввысь сужающимися кругами, скрылся в облаках.

— Жанна, Жанна! — позвал я, но мой голос замер на губах, и я рухнул на колени в траву. И Богу было угодно, чтобы я, сам того не зная, преклонил колени перед развалинами каменной часовни во имя Матери Скорбящей. Я увидел печальный лик Пречистой Девы, высеченный в камне. Увидел крест и тернии у ее ног, а под ними прочел надпись:

> Молитесь о душе демуазель Жанны д'Ис, скончавшейся в молодости от любви к Филиппу, чужестранцу.
>
> ***A. D. 1573***

А на холодной плите лежала женская перчатка, еще теплая и благоухающая.

Эдвард Фредерик Бенсон

Изгой

Перевод А. Липинской

Когда миссис Акрз купила в Тарлтоне Гейт-хаус, так долго простоявший без жильцов, и поселилась в этом приятном оживленном городке, о ее прошлом было уже известно достаточно, чтобы к ней отнеслись с симпатией и дружелюбием. История ее была трагична: согласно отчету следователя, муж ее застрелился через месяц после заключения брака прямо у нее на глазах, и об этом происшествии тут же написали в газетах достаточно подробно, чтобы наше маленькое тарлтонское сообщество запомнило все детали и не испытывало потребности в их домысливании, на что, в принципе, вполне способно.

Говоря вкратце, случилось вот что. Хорас Акрз, похоже, оказался бессердечным охотником за приданым — красивый обаятельный негодяй, на десять лет моложе жены. Он не скрывал от друзей, что не любит ее, зато нацеливается на ее более чем значительное состояние. Но едва они поженились, как его безразличие переросло в откровенную неприязнь, сопровождавшуюся

таинственным, необъяснимым страхом перед ней. Он ненавидел и боялся ее, а в тот самый день, когда покончил с собой, он умолял жену дать ему развод. Обещания его звучали неправдоподобно, он сам сделал все, чтобы они были невыполнимы. Она, бедняжка, не соглашалась, поскольку, по свидетельству друзей и слуг, была всецело предана ему, и со спокойным достоинством, с которым переносила это испытание, заявила, что он стал жертвой неприятного, но временного расстройства и что она надеется на его скорейшее выздоровление. В тот вечер он ужинал в клубе, оставив жену коротать вечер в одиночестве, и вернулся между одиннадцатью и двенадцатью часами сильно пьяным. Он поднялся в ее спальню с пистолетом в руке, запер дверь, и было слышно, как он кричал на нее. Затем донесся звук выстрела. На столе в его гостиной обнаружили половинку листка, датированную тем самым днем, и эта записка была зачитана в суде. «Ужас моего положения, — писал он, — невозможно ни описать, ни вынести. Я больше не могу, на душе скверно…» Суд присяжных вынес вердикт, что он совершил самоубийство в состоянии временного помешательства, а коронер, по их просьбе, выразил соболезнования несчастной женщине,

которая, как всем известно, была чрезвычайно нежной и любящей супругой.

Полгода Берта Акрз путешествовала за границей, а осенью купила домик в Тарлтоне и принялась его обустраивать, что делает жизнь в провинциальном городке такой насыщенной и полнокровной. Наше скромное жилище находится как раз неподалеку, и когда мы с женой вернулись из двухмесячной поездки по Шотландии, то обнаружили, что миссис Акрз теперь наша соседка, и Мэдж решила сразу же нанести ей визит. Вернулась она, полная приятных впечатлений. Миссис Акрз еще не перешагнула сорокалетний рубеж, за которым наступает новый жизненный этап, и все еще была необычайно хороша собой, сердечна, обаятельна, остроумна и элегантна. Перед уходом Мэдж попросила ее отставить формальности и вместо обязательного ответного визита просто отобедать с нами на следующий день, как это водится в провинции. Миссис Акрз играет в бридж. Раз так, нас будет как раз четверо — брат Мэдж, Чарльз Элингтон, намерен навестить нас…

Я слушал Мэдж достаточно внимательно, чтобы понять суть ее рассказа, но на самом деле ум мой занимала шахматная задача, которую я пы-

тался решить. Однако в какой-то момент поток ее приятных впечатлений внезапно иссяк, и она погрузилась в тягостное молчание. Ее словно выключили, и она взирала на огонь, потирая тыльную сторону одной ладони пальцами другой, как ей свойственно в минуты растерянности.

— Продолжай, — сказал я.

Она внезапно встала.

— Все, что я говорила тебе, абсолютная, чистая правда, — сказала она. — Я подумала, что миссис Акрз очаровательна, остроумна, хороша собой и любезна. Можно ли желать большего от новой знакомой? Но потом, когда я пригласила ее на обед, я вдруг безо всякой видимой причины обнаружила, что она мне очень сильно не нравится — более того, кажется невыносимой.

— Ты сказала, она прекрасно одета, — позволил себе заметить я. — Если королева съест коня…

— Что за глупости! Я сама прекрасно одеваюсь. Но за всей ее любезностью и обаянием я вдруг почувствовала нечто такое, что вызвало у меня неприязнь и страх. Бесполезно спрашивать, что это было, потому что я не имею ни малейшего представления. Если бы я знала, что это, все было бы понятно. Но я испытала ужас, который трудно объяснить объективными причинами. Как дума-

ешь, может сознание испытать нечто подобное тому, что чувствует тело в момент головокружения? Думаю, это было оно — ах! Уверена, так все и было. Но я рада, что пригласила ее на обед. Мне правда хочется испытать к ней добрые чувства. Со мной ведь больше не случится такого, правда?

— Нет, разумеется, нет, — сказал я. — Если королева откажется съесть столь соблазнительного коня…

— Ой, да брось эту свою дурацкую задачу! Укуси его, Фунгус!

Фунгус, получивший эту кличку, поскольку был сыном Хьюмор и Густава Адольфа, поднялся со своего коврика у камина и с хриплым лаем боднул мою ногу — так он кусает тех, кого любит. Затем этот дружелюбнейший из бульдогов, питавший слабость к роду человеческому, лег на мою ногу и тяжело вздохнул. Но Мэдж явно хотела поговорить, и я отодвинул шахматную доску.

— Расскажи подробнее, что за ужас ты испытала, — сказал я.

— Ну, просто ужас, когда на душе становится тошно…

Я поймал себя на том, что пытаюсь восстановить какое-то смутное воспоминание, несомненно связанное с миссис Акрз, которое и вызвали

эти слова. Но в следующий миг эта мысль оборвалась, потому что мне вспомнилась старая мрачная легенда о Гейт-хаусе, которая, как мне показалось, объясняла ужас, пережитый Мэдж. Во времена религиозных преследований при королеве Елизавете в нем, тогда недавно построенном, жили два брата; старший, владелец домика, по воскресеньям служил там мессу. После предательства младшего брата он был арестован и замучен пытками до смерти. Младший же, мучимый раскаянием, повесился в гостиной, обитой деревянными панелями. Разумеется, ходили слухи, что в доме обитает призрак висельника, болтающийся на стропилах, и последние арендаторы дома (который до них простоял пустым больше трех лет) уехали, не прожив и месяца. Поговаривали, что по причине необъяснимых и ужасных явлений. Вполне вероятно, Мэдж, которая с детства была необычайно восприимчива к оккультным феноменам, могла интуитивно уловить какое-то безмолвное послание?

— Но ты же знаешь историю дома, — сказал я. — А не может быть, что это как-то связано с твоими ощущениями? К примеру, где именно вы сидели? В том самой гостиной, обитой панелями?

Она просияла.

— Какой ты умный! Об этом я и не подумала. Может, это и есть объяснение. Надеюсь, что так. Ты правда умница, и я дам тебе спокойно заняться шахматами.

Полчаса спустя я отправился на почту, расположенную в сотне ярдов от нас по Хай-стрит, чтобы отправить одно письмо. Сгущалась темнота, но на западе все еще пылал закат, и в его отсветах я мог различить знакомые силуэты и черты прохожих. Только я подошел к почте, с другой стороны появилась высокая, хорошо сложенная женщина, которую я совершенно точно никогда прежде не видел. Она направлялась туда же, куда и я, и я на миг задержался у порога, чтобы пропустить ее вперед. Одновременно я как будто догадался, что Мэдж имела в виду, когда говорила, что «на душе тошно». Это отличалось от настоящего понимания примерно так же, как звучащая в голове мелодия отличается от сыгранной в реальности, и я приписал внезапный момент озарения тому, что, вероятно, все еще бессознательно прокручивал слова Мэдж, и даже не подумал связать это с происходящим прямо сейчас. И тут я сообразил, кем могла быть эта женщина…

Она закончила свои дела чуть раньше меня и, когда я вышел на улицу, была уже в дюжине

ярдов от меня и направлялась в сторону моего дома и Гейт-хауса. Дойдя до собственной двери, я намеренно задержался и увидел, как она поднимается по ступеням к Гейт-хаусу. Я входил в дом, когда воспоминание, которое все ускользало от меня, вновь мелькнуло, и я сосредоточился на нем, боясь упустить. Ее муж в странной записке, оставленной им на туалетном столике перед самоубийством, написал: «На душе тошно». Странно, но еще более странно, что Мэдж использовала те же самые слова.

Чарльз Элингтон, брат моей жены, приехавший на следующий день, — самый счастливый человек, которого я когда-либо видел. Материальный мир, этот неиссякаемый источник неудовлетворенного тщеславия, физических желаний и постоянного разочарования, ему практически неизвестен. Зависть, злоба и отсутствие милосердия в равной мере чужды ему, потому что он не желает ничего чужого и не обладает чувством собственности, что странно — ведь он очень, очень богат. Он ничего не боится, ни на что не надеется, не имеет привязанностей и антипатий, ибо все физические и нервные функции всего лишь служат его огромному любопытству. Он в жизни никого не осудил, он лишь хочет исследо-

вать и узнавать. Лишь знание единое занимает его, и коль скоро химики и медики исследуют мир настоек и микробов значительно продуктивнее, чем мог бы он сам, его мало волнует то, что можно взвесить или размножить, — он с величайшим энтузиазмом посвятил всего себя миру, лежащему в границах человеческого сознания. Все, что до сих пор не до конца определено, буквально взывает к нему: он теряет интерес к теме, едва она становится понятной и обретает какие-то практические применения. К примеру, его весьма занимала беспроводная связь, до тех пор пока синьор Маркони не доказал, что она подвластна науке, и тогда Чарльз решил, что это скучно и не стоит внимания. Последний раз я видел его за два месяца до описываемых событий, и он пребывал в величайшем волнении: утром он выступал на собрании англо-израилитов, доказывая, что Скунский камень, который сейчас находится под коронационным креслом в Вестминстерском аббатстве, несомненно, является той самой подушкой, на которой покоилась голова Иакова, когда он увидел сон в Вефиле; днем Чарльз обратился к Обществу психических ис-

следований[78] по поводу посланий, получаемых от умерших путем автоматического письма, а вечером, дабы развеяться, слушал лекцию о реинкарнации. Ни одно этих явлений доказать пока невозможно, потому они его и заинтересовали. В перерывах между оккультными и фантастическими науками он, несмотря на свои пятьдесят лет и морщины, ведет себя как восемнадцатилетний парнишка на каникулах — энергия бьет через край.

На следующий день, вернувшись домой после гольфа, я уже застал там Чарльза. Его настроение было не то серьезным, не то торжественным: явно он только что читал Мэдж журнальную статью о реинкарнации. А вот ко мне отнесся весьма сурово.

— Гольф! — сказал он с самым оскорбленным видом. — Что там такого в этом гольфе? Ну подбрасываешь ты мячик в воздух…

Меня еще немного мучили дневные события.

— Вот этого я как раз и не делаю. Мячик катится по земле!

— Да какая разница, как ты по нему бьешь, это

---

[78] Сноски: 78

Общество психических исследований (Society for Psychical Research) было основано в Лондоне (1882; Нью-Йорк — 1884) для научного изучения паранормальных явлений. — *Примеч. перев.*

все подчиняется известным законам. Но догадка, предположение — вот что в жизни заставляет испытывать восторг и волнение. Шарлатан, предлагающий новый способ лечения рака, адепт автоматического письма, получающий послания от умерших, сторонник реинкарнации, убежденный, что прежде был Наполеоном или рабом-христианином, — эти люди способствуют прогрессу. Прежде чем что-то станет точно известно, приходится высказывать догадки. Даже Дарвин понимал это, утверждая, что исследовать без гипотезы невозможно!

— И какая же гипотеза владеет тобой сейчас?

— Ну, что мы все уже жили когда-то и что мы снова будем жить здесь, на этой же древней земле. Любая иная концепция будущей жизни невозможна. Неужели все люди, когда-либо родившиеся и умершие с тех пор, как мир вышел из хаоса, станут обитателями некоего мира будущего? Чушь какая-то, милая моя Мэдж! А теперь я знаю, о чем ты хочешь меня спросить. Если мы все уже жили когда-то, тогда почему этого не помним? Но это же так просто! Если бы ты помнила, что была Клеопатрой, то и вела бы себя как Клеопатра — и что бы сказали в Тарлтоне? Опять же, Иуда Искариот — представь себе, что

ты была им! Ты бы не смогла такое пережить! Ты бы совершила самоубийство или толкала на самоубийство всех, кто тебе близок, — настолько велик был бы их ужас перед тобой. Или представь себе мальчика из бакалейной лавки, который знает, что прежде был Юлием Цезарем… Разумеется, пол не имеет значения: души, насколько я понимаю, бесполы — просто искры жизни, которые получают физическую оболочку, мужскую или женскую. Ты могла быть царем Давидом, Мэдж, а бедный Тони — одной из его жен.

— Вот уж радость-то, — сказал я.

Чарльз громко расхохотался.

— Да не то слово. Но я больше не желаю вразумлять вас, скептиков. Признаюсь, до смерти устал. Хочу, чтобы к обеду пришла очаровательная дама, с которой я мог бы поговорить по душам. Хочу постараться и выиграть в бридж два шиллинга шесть пенсов. Хочу наутро основательно позавтракать и потом почитать «Таймс», отправиться с Тони в клуб и поболтать про урожай, гольф, ситуацию в Ирландии и мирные переговоры и про все прочее, не стоящее и соломинки!

— Вот сегодня и начнешь, дорогой, — сказала Мэдж. — К ужину придет очаровательная дама, а потом сыграем в бридж.

Мэдж и я были готовы, когда явилась миссис Акрз, а вот Чарльз еще не спустился. Фунгус, питавший к нему явную и совершенно необъяснимую слабость (сам Чарльз собак не жаловал), помогал ему одеваться, и Мэдж, миссис Акрз и я ждали, когда он наконец выйдет. Несомненно, накануне у почты я встретил именно миссис Акрз, но в предзакатных сумерках не смог разглядеть, как же она удивительно хороша. В ее профиле было что-то еврейское: высокий лоб, очень полные губы, нос с горбинкой и выдающийся подбородок скорее намекали на восточное происхождение, чем выдавали его. А когда она заговорила, оказалось, что у нее глубокий бархатный голос, с едва заметной хрипотцой, нехарактерной для северных народов. Что-то южное, что-то восточное…

— Должна кое-что спросить, — сказала она, когда после обычных приветствий мы подошли к камину, дожидаясь Чарльза. — У вас есть собака?

Мэдж потянулась к колокольчику.

— Да, но он не спустится сюда, если вы не любите собак. Он необычайно добрый, но я понимаю…

— Ах, дело не в этом, — сказала миссис Акрз. — Я обожаю собак. Но мне хотелось бы пощадить чувства вашей собаки. Я их обожаю, а они меня

ненавидят и безумно боятся. Есть во мне что-то отталкивающее для собак.

Но было поздно: в коридоре послышались шаги Чарльза и веселый хрипловатый лай Фунгуса. В следующий миг дверь открылась, и они вошли.

Сначала появился Фунгус. Он радостно выскочил на середину комнаты, принюхался, запыхтел в знак приветствия и тут же обратился в бегство. Он поскользнулся на паркете, а потом мы услышали, как он спускается по лестнице на кухню.

— Невоспитанная собака, — сказала Мэдж. — Чарльз, позволь представить тебе миссис Акрз. Мой брат, миссис Акрз, — сэр Чарльз Элингтон.

Наш маленький обеденный стол на четыре персоны не позволял развивать беседу, интересную кому-то одному, и общие темы, едва возникнув, сменялись одна за другой. Я не знал, какой настрой у других, но сам я испытывал что-то вроде отвращения к красивой умной женщине, которая сидела справа от меня и будто бы не замечала гнетущую атмосферу. Она была привлекательна внешне, остроумна, обладала грацией и изяществом, и все же она была ужасна. Но постепенно, по мере того как мое отвращение к гостье росло, мой шурин проявлял к ней все больший интерес. «Очаровательная женщина», присутствия

которой за ужином он желал и которая явилась, околдовала его — но, как я начал догадываться, не миловидностью и обаянием, а в качестве объекта исследования. И я подумал: не подтверждает ли ее красивый еврейский профиль какую-то его англо-израилитскую теорию, не увидел ли он в прекрасных карих глазах гостьи блеск прорицания и ясновидения, не угадал ли в ней новое воплощение какой-либо славной или бесславной исторической личности. Разумеется, она представляла для него больший интерес, чем только очень красивая женщина: он изучал ее с исключительным любопытством.

— И вам удобно в Гейт-хаусе? — вдруг спросил он миссис Акрз так, словно ответ на этот вопрос имел решающее значение.

— Ах, невероятно удобно! Такая приятная атмосфера. Никогда еще не видела дом, который был бы таким мирным, таким… уютным. Или это фантазии, будто в некоторых домах царит спокойствие, а в других тревожно и даже жутко?

Чарльз молча уставился на нее, потом пришел в себя.

— А что, может, в этом что-то и есть. Можно предположить, что столетия тишины и покоя насыщают дом такой, что ли, особой аурой, которую

могут распознать чувствительные люди.

Она повернулась к Мэдж.

— Но все же я слышала какую-то бредовую историю: якобы в доме обитает призрак. Если и так, это должен быть очаровательный и благодушный призрак.

Ужин закончился. Мэдж встала.

— Пойдем скорее, Тони, — сказала она мне, — сыграем в бридж.

Но взгляд ее ясно говорил: «Не оставляй меня надолго с ней».

Когда дверь закрылась, Чарльз быстро обернулся.

— В высшей степени интересная дама, — сказал он.

— Очень красивая, — сказал я.

— Правда? Не заметил. Ее ум, ее душевность — вот что заинтриговало меня. Кто она? Какая в ней тайна? Почему Фунгус убежал, поджав хвост? Опять же странно, что она сочла атмосферу в Гейт-хаусе такой спокойной. Последние жильцы, помнится, были совсем иного мнения!

— Как ты это можешь объяснить? — спросил я.

— Этому может быть несколько объяснений. Например, последние жильцы были людьми с причудами и богатым воображением, а нынеш-

няя владелица — разумная, деловая женщина. Конечно, она и выглядит такой.

— Или… — предположил я.

Он рассмеялся.

— Ну, допустим (заметь, лично я этого не утверждаю!), что бестелесные обитатели дома сочли миссис Акрз близкой им по духу и хотят, чтобы она осталась. Вот они и притихли и не треплют нервы!

Отчего-то этот ответ обидел и раздосадовал меня.

— О чем это ты? Бестелесный обитатель этого дома, насколько я помню, — братоубийца, который потом повесился. С чего бы ему увидеть в такой прелестной женщине, как миссис Акрз, близкого по духу компаньона?

Чарльз резко встал. Обычно он не против поболтать на такие темы, но сегодня, похоже, не имел ни малейшего желания.

— Мэдж ведь просила нас не задерживаться. Тони, ты же знаешь, если начну говорить на эту тему, так еще долго не закончу, так что не провоцируй меня.

— Но почему ты это сказал? — не успокаивался я.

— Потому что я порол чушь. Ты достаточно

хорошо меня знаешь, чтобы понимать: в этом отношении я одержимый фанатик.

В самом деле, было странно замечать, насколько явно первое впечатление, создавшееся у Мэдж о миссис Акрз, и ощущения, тут же последовавшие за ним, распространились на тех, кто в первые пару недель решил нанести визит новой соседке. Все наперебой расхваливали ее очарование, ее любезность и добродушное остроумие, ее красоту и великолепные наряды, но, достигнув апогея, похвалы внезапно иссякали, сменяясь неловким молчанием, которое отчего-то казалось красноречивее любых слов. Рассказы о странных, необъяснимых происшествиях передавались из уст в уста, пока о них не стало известно решительно всем. Страх, выказанный Фунгусом, охватил и другую собаку. Нечто похожее случилось, когда миссис Акрз нанесла ответный визит жене священника. У миссис Даулетт на окне гостиной стояла клетка с канарейками. Когда миссис Акрз вошла в комнату, птичек охватил невыразимый ужас, они принялись биться о прутья клетки и тревожно пищать… Она вызывала какой-то необъяснимый страх, который мы, образованные и воспитанные люди, могли сдерживать и потому вели себя прилично, но животные, не способные

себя контролировать, всецело поддавались ему, как Фунгус.

Миссис Акрз принимала у себя гостей, устраивала прелестные ужины на восемь человек, а потом приглашала их поиграть в бридж, располагая двумя столиками для игры, но над этими вечерами словно нависала черная гроза. Несомненно, этому способствовала мрачная история комнаты с панелями.

Этот странный тайный страх перед ней, о котором она, как и в тот первый вечер в моем доме, словно бы не подозревала, очень сильно различался по степени проявления. Большинство людей, как и я сам, осознавали его существование, но подспудно, и в Гейт-хаусе мы вели себя как обычно, пусть и испытывая смутное беспокойство. Но у некоторых, в первую очередь у Мэдж, он перерос в своего рода одержимость. Она боролась с ним как могла, призвав всю свою волю, но борьба лишь усиливала власть страха над нею. Особенно грустно и больно было оттого, что миссис Акрз очень к ней привязалась и заглядывала регулярно. Прежде чем войти в дом, она приятным спокойным голосом окликала Мэдж в окно и просила увести Фунгуса, чтобы он не волновался. Наконец нас с Мэдж пригласили на

рождественскую вечеринку в Гейт-хаусе. Миссис Акрз, которая собиралась на пару месяцев в Египет, в последний раз перед отъездом пригласила гостей, так что, предвкушая долгую передышку, Мэдж приняла приглашение едва ли не с радостью. Однако к вечеру ее охватил такой приступ озноба и дурноты, что она оказалась совершенно неспособна выполнить обещание. Врач не обнаружил никакой причины, которая могла бы объяснить эти симптомы: по-видимому, причиной была сама мысль о грядущем празднике, и такова была кульминация ее неприязни к нашей доброй и любезной соседке. Она лишь смогла сказать мне, что, когда начала одеваться для праздника, ощущения ее напоминали созревающий в сонном мозгу кошмар. Что-то независимо от ее воли отвергало то, что ей предстояло…

Весна уже начинала теснить зиму, когда поднялась следующая завеса над таинственной драмой, о которой мы с ужасом догадывались; и тогда кошмар достиг своего апогея. Дело было вот как.

Чарльз Элингтон снова приехал к нам погостить на пять дней перед Пасхой и с иронией выразил сожаление о том, что предмет его интереса пока не вернулся в Гейт-хаус. Субботним утром, накануне Пасхи, он явился к завтраку

очень поздно, когда Мэдж уже ушла по своим делам. Я позвонил, чтобы принесли еще чайник чая, а Чарльз тем временем взял почитать «Таймс».

— Я прочел только первую страницу, — сказал он. — Дальше там сплошная материалистическая тягомотина — политика, спорт, финансы…

Он умолк и протянул мне газету.

— Вот, взгляни сюда, — сказал он. — Где некрологи. Первый.

И я прочел следующее: «Акрз, Берта. Умерла в море вечером в четверг 30 марта и, по ее собственной просьбе, похоронена в море. (Телеграфировано с парохода „Пешавар“)».

Он снова потянулся за газетой и перевернул страницы.

— «Ллойд», — сказал он. — «Пешавар» прибыл в Тилбери вчера днем. Должно быть, похороны прошли где-то в водах Ла-Манша.

В пасхальное воскресенье во второй половине дня мы с Мэдж поехали на машине на поле для гольфа, до которого было около трех миль. Она решила прогуляться по пляжу у самых дюн, пока я буду играть, и через пару часов вернуться в клуб на чай. Стоял прекрасный весенний день, теплый юго-западный ветер неспешно гнал по небу белые облака, и тени их весело пробегали по песчаным

холмам. С тех пор как мы сказали ей о смерти миссис Акрз, что-то темное и трудноопределимое тяготило ее с самой осени, словно присоединившись к этим теням от облаков и оставив ее на ярком солнце. Мы расстались с Мэдж у дверей клуба, и она отправилась на прогулку.

Полчаса спустя мы с моим противником ждали у пятой лунки, где дорога пересекает поле для гольфа, пока пара игроков перед нами не продвинется дальше. В это время слуга из клуба, ехавший по дороге, заметил нас и, спрыгнув с велосипеда, направился к нам.

— Вас ждут в клубе, сэр, — сказал он мне. — Миссис Карфорд гуляла вдоль берега и нашла кое-что, выброшенное приливом. Тело, сэр. Оно было в мешке, но мешок порвался, и она увидела… Это очень ее расстроило, сэр. Мы решили, что стоит позвать вас.

Я взял у паренька велосипед и поехал в клуб, торопясь изо всех сил. Я догадывался, что именно увидела Мэдж, и, понимая это, осознал меру ее потрясения… Пять минут спустя она рассказывала мне свою историю шепотом, то и дело всхлипывая.

— Был отлив, — сказала она, — и я шла по кромке воды… Там были красивые ракушки, я

их собирала… И тут я увидела впереди что-то бесформенное, просто мешок… а потом, когда подошла ближе, наметилась форма, локти и колени. Он перемещался, переворачивался, и там, где была голова, мешок порвался, так что я увидела ее лицо. Глаза ее были открыты, Тони, и я побежала… Все это время я чувствовала, что он катится за мной. Ах, Тони, она ведь мертва, правда? Она больше не вернется в Гейт-хаус? Обещаешь? Это ужасно! Кажется, я догадываюсь: море отказывается от нее. Море не приняло ее в свои глубины…

Новости о находке уже сообщили по телефону в Тарлтон, и вскоре появились четверо мужчин с носилками. Не оставалось сомнения в том, чье это тело: хоть оно и пробыло в воде три дня, разложение его не тронуло. Грузы, которые были к нему прикреплены, по какой-то странной случайности оказались отвязаны, и еще более странная случайность вынесла тело миссис Акроз на берег неподалеку от ее же дома. Ту ночь тело пролежало в покойницкой, а на следующий день, несмотря на выходной, провели расследование. Оттуда тело перевезли в Гейт-хаус, положили в гроб и оставили в гостиной до похорон, назначенных на следующий день.

Мэдж полностью пришла в себя после истерического припадка и вечером понедельника сплела небольшой венок из весенних цветов, которые расцвели в саду в первые же теплые деньки, а я отнес его в Гейт-хаус. О смерти миссис Акрз и последующем обнаружении ее тела было широко объявлено, но родственники и друзья не отозвались, и, когда я клал единственный венок на гроб, не мог не думать о полном одиночестве покойной. А потом я увидел самое настоящее предзнаменование. Едва я положил на гроб свежесобранные цветы, как они поникли и увяли. Стебельки нарциссов согнулись, их яркие коронки закрылись, желтушник утратил запах и увял прямо на глазах. Что же это значило, если даже лепестки весенних цветов съежились и помертвели?

Я не сказал об этом Мэдж, и она, словно мучимая раскаянием, твердо решила на следующий день присутствовать на похоронах. Ни родные, ни друзья, ни слуги из Гейт-хауса не явились. Они стояли на крыльце, когда выносили гроб, а когда его погрузили в катафалк, вернулись в дом и закрыли за собой двери. Так что на кладбище, находящемся на холме над Тарлтоном, были только Мэдж, ее брат и я.

Вечер был очень пасмурный, хотя дождь так и не пошел. Над нами висели тяжелые тучи, с моря натянуло туман, который стелился между могильными камнями. После службы в кладбищенской часовне мы направились к месту захоронения. И тут (сейчас мне трудно об этом писать), когда гроб стали опускать в могилу, выяснилось, что он не проходит: вероятно, из-за неправильных замеров яма оказалась недостаточно длинной.

Мэдж стояла рядом с нами, и в этот момент я услышал, как она всхлипнула.

— И добрая земля ее не принимает, — прошептала она.

Последовала ужасная проволочка — пришлось опять посылать за могильщиками, а тем временем пошел сильный прохладный дождь. По какой-то причине (возможно, мне передалась одержимость Мэдж) я почувствовал, что должен убедиться: прах возвратился к праху, но я не мог заставлять Мэдж ждать. Тогда я попросил Чарльза проводить ее домой, а сам вернулся.

Заработали кирки и лопаты, и скоро место упокоения было готово. Прерванная служба возобновилась, пригоршня влажной земли упала на гроб, и, когда все было закончено, я покинул

кладбище, все еще отчего-то чувствуя, что на самом деле все *не* закончилось. Мною овладели беспокойство, неуверенность, и, вместо того чтобы пойти домой, я двинулся прочь от берега в лес, надеясь хорошенько прогуляться и избавиться от ужасов, витавших вокруг меня, словно летучие мыши. Дождь прекратился, и сквозь пришедший с моря туман, все еще лежавший на полях и лесах, пробивались солнечные лучи. Через полчаса энергичной ходьбы я попытался побороть фантастическое предположение, которое не давало мне покоя. Я отказывался поверить в него, убеждая себя, что оно совершенно бредовое и неразумное, но едва я пытался отбросить его, как в голове звучали слова Мэдж: «Море не приняло ее… добрая земля не принимает ее». А если я закрывал глаза, то приходили воспоминания о дне ее смерти и полузабытые суеверные суждения Чарльза о реинкарнации. Все эти совершенно невозможные составляющие соединились вместе с пугающей достоверностью.

Вскоре дождь возобновился, и я пошел в обратную сторону, собираясь вернуться по главной дороге в Тарлтон. Дорога эта по большой дуге огибала кладбище на расстоянии примерно полумили. Но, оказавшись на тропке, которая

проходит ближе к кладбищу, через поля, и ведет в город более коротким путем, чем главная дорога, пусть и по крутому склону, я почувствовал непреодолимое желание пойти по ней. Разумеется, я сказал себе, что хочу сократить путь под дождем, но в глубине души я испытывал неосознанную, но от этого не менее сильную потребность увидеть своими глазами, что могила, у которой я недавно стоял, засыпана и что тело миссис Акрз покоится под землей. Путь мой был бы еще короче, если бы я пошел напрямик через кладбище, и вот я уже нащупывал в темноте задвижку калитки, а потом закрыл ее за собой. Дождь совсем разошелся, и в сумерках я пробирался между могил, поскальзываясь на мокрой траве. Вот передо мной свежевскопанная земля: все закончено, могильщики завершили работу и разошлись, а прах, как и должно, возвратился к праху.

Мне стало намного легче от одной мысли об этом, и я уже собирался уйти, когда послышался шорох земли, и я увидел, как с могильного холмика посыпались камешки и глина. Несомненно, все дело в сильном дожде. Потом снова посыпалась земля, и я с ужасом осознал, что движение исходит не снаружи, а изнутри: справа и слева земляной холмик осыпался под воздействием

давления снизу. Земля осыпалась все быстрее и быстрее и поднималась в изголовье. Донесся скрип и треск ломающегося дерева, и показался гроб. Крышка была разбита: от нее отваливались щепки, и из образовавшегося отверстия на меня смотрели широко открытые глаза на бледном лице. Я глядел на все это, скованный ужасом, а потом, полагаю, крышка треснула, и в панике, равной которой точно еще никто не испытывал, я, перескакивая через могилы, опрометью помчался вниз — туда, где в окнах городских домов горел теплый рукотворный свет.

Днем я явился со своей невероятной историей к священнику, который в тот день провел службу, и час спустя он, Чарльз Элингтон и двое или трое сотрудников похоронной конторы были на месте. Они нашли полностью разбитый гроб на земле рядом с могилой, которую на три четверти заполнила осыпавшаяся земля. Было решено не делать новых попыток захоронения, и на следующий день тело кремировали.

Теперь любой, кто прочел эту историю, может заявить, мол, быть такого не могло, чтобы гроб появился из-под земли, а остальные странные обстоятельства объяснить совпадениями. Можно проверить, что некая Берта Акрз и правда умерла

в море в четверг перед Пасхой и была похоронена в море: в этом нет ничего необыкновенного. Также нет ничего удивительного в том, что тяжести вполне могли соскользнуть с полотняного савана и что тело потом вынесло на берег у Тарлтона (а чем Тарлтон хуже любого другого прибрежного городка?); и что особенного в том, что тело было найдено в воде, а могила поначалу оказалась маловата для гроба? Но странно то, что все это приключилось с телом одного и того же человека, в таком случае странной должна быть природа совпадений. Они создают удивительную цепь событий. Но если совпадения не удивительны, они ускользают от наблюдения. Так что если вы отрицаете историю, рассказанную здесь, или объясняете ее какими-то естественными причинами вроде небольшого землетрясения или грунтовыми водами, проходившими прямо под могилой, то вас удовлетворит теория совпадений…

Что касается меня, я не знаю, чем все это объяснить, хотя мой шурин предложил одну версию, которая его самого полностью устраивает. Буквально на днях он прислал мне, немало торжествуя, выписку из средневекового трактата о реинкарнации, которая полностью подтверждает его теорию. Этот труд был написан на латыни,

и, сомневаясь в моих знаниях, он любезно выполнил перевод. Привожу цитаты в точности так, как он мне их прислал:

«Имеются верные свидетельства реинкарнации. В одном случае дух воплотился в теле мужчины, в другом — в теле женщины, прекрасной собою и весьма любезной, но наводившей неизъяснимый ужас на всех, кто хоть сколько-нибудь близко с нею общался… Рассказывают, что она умерла в годовщину того дня, когда он повесился после совершенного им предательства, но об этом я не располагаю достоверными данными. Несомненно, однако, то, что, когда пришло время ее хоронить, добрая земля не приняла ее и извергала из себя вновь и вновь, хоть могила и была вырыта глубокая. О мужчине, в котором воплотилась его проклятая душа, говорят, что, когда он умер во время путешествия, его выбросили за борт с привязанными к телу грузами, но море не дало ему упокоиться на дне, освободило от грузов и выкинуло на берег… Однако же придет время, когда полный срок его наказания подойдет к концу и его смертный грех будет прощен, а тело, злосчастное пристанище его души, будет очищено огнем, и он, по бесконечной милости Всевышнего, упокоится и более не станет бродить

по земле...»

Святилище

Перевод А. Липинской

I

Фрэнсис Элтон проводил двухнедельные январские каникулы в Энгадине, когда ему пришла телеграмма, извещавшая о смерти дядюшки, Хораса Элтона, и о том, что сам он получил весьма значительное наследство. В телеграмме также сообщалось, что на тот же день назначена кремация останков и что по этой причине он не сможет присутствовать на похоронах, а значит, торопиться домой нет никакой необходимости.

Два дня спустя пришло и письмо от адвоката, мистера Энгуса, содержавшее разъяснения: наследство состояло из ценных бумаг на сумму около 80 000 фунтов, и, кроме того, мистеру Элтону принадлежала недвижимость на окраине городка Уэддерберна в Хэмпшире. Это был очаровательный дом, сад и небольшой участок земли, пригодной для застройки. Все это по завещанию досталось Фрэнсису, но на поместье лежало обременение — ежегодная выплата 500 фунтов в

пользу преподобного Оуэна Бэртона.

Фрэнсис был плохо знаком с дядей, долгое время жившим уединенно; по правде говоря, он не виделся с ним без малого четыре года, с тех пор как провел три дня в его доме в Уэддерберне. Воспоминания о тех днях сохранились смутные, но немного тревожные, и теперь, по дороге домой, лежа на верхней полке в покачивающемся вагоне, Фрэнсис сонно перебирал затерянное в памяти, понемногу собирая воедино. В сущности, все оставалось очень неопределенным: намеки, полутона, смутные впечатления, наблюдения, сделанные, так сказать, краем глаза, а вот увидеть все отчетливо он так и не сумел.

Тогда он был мальчишкой, едва закончившим школу, и нанес дяде этот визит на летних каникулах, в удушливую жару, прежде чем отправиться в Лондон зубрить французский и немецкий.

Он ясно запомнил в первую очередь дядюшку Хораса. Седовласый мужчина средних лет, крупный, необычайно полный, настолько, что его второй подбородок перекрывал воротничок, но, несмотря на тучность, он был легок и проворен в движениях, и столь же живыми были его веселые голубые глаза, которые словно бы постоянно следили за ним. Еще там были две женщины, мать

и дочь, и, когда Фрэнсис вспомнил их, в памяти всплыли и их имена: миссис Изабель Рэй и Джудит. Джудит, кажется, была старше его на пару лет, и в первый же вечер повела его на прогулку по саду после ужина. Она сразу же начала обращаться с ним как со старым другом, обнимала за шею и расспрашивала о школе и о том, есть ли девочка, которая ему нравится. Очень мило, но несколько неловко. Когда они вернулись из сада, мать явно задала дочери безмолвный вопрос, и Джудит пожала плечами в ответ.

Потом мать сама взялась за него: она усадила его рядом с собой у окна и говорила с ним о предстоявшей учебе: там, думалось ей, будет куда больше свободы, чем в школе, и такому юноше, как он, это, несомненно, пойдет на пользу. Она попробовала поговорить с ним по-французски и сочла, что он очень прилично его знает, а также пообещала дать почитать ему книгу, которую только что закончила, — написанную тонким стилистом Гюисмансом и называющуюся «La-Bas»[79]. Она не скажет ему, про что это, пусть сам узнает. Все это время она пристально смотрела на него узкими серыми глазами и, отправля-

---

[79] Сноски: 79
Там *(фр.)*.

ясь ко сну, позвала его в свою комнату, чтобы отдать книгу. Джудит тоже была там: она уже читала книгу и вспоминала об этом со смехом. «Прочтите, милый Фрэнсис, — сказала она, — и немедленно ложитесь спать, а завтра расскажете, что вам приснилось, если, конечно, это меня не шокирует».

Мерное покачивание поезда нагоняло на Фрэнсиса сон, но ум его продолжал раскапывать фрагменты воспоминаний. Там был еще один мужчина, дядюшкин секретарь, молодой человек лет двадцати пяти, стройный, чисто выбритый, такой же жизнерадостный, как и все остальные. Все относились к нему с неким странным почтением, трудноопределимым, но легко заметным. В тот вечер за ужином он сидел рядом с Фрэнсисом и, не спрашивая, постоянно доливал ему вина, а наутро заявился в его комнату в пижаме, присел на кровать, посмотрел на него странным вопросительным взглядом, спросил, как продвигается чтение, и повел купаться в бассейн, расположенный за полосой деревьев в глубине сада. Он сказал, что купальный костюм не нужен, и они плавали наперегонки в бассейне, а потом лежали и грелись на солнце. Тут из-за деревьев появились Джудит и ее мать, и Фрэнсис, страшно

смущенный, закутался в полотенце. Они все так смеялись над этой очаровательной чопорностью. Как же звали этого человека? А, ну да, разумеется, Оуэн Бэртон, тот самый, которого мистер Ангус упомянул в письме как «преподобного Оуэна Бэртона». Но почему преподобный? Возможно, он принял сан позже.

Весь день они расхваливали его красоту, умение плавать и играть в лаун-теннис — ему никогда так не льстили, и они все смотрели на него, словно маня за собой. После обеда дядя вызвал его к себе: пусть, мол, непременно поднимется с ним наверх и осмотрит кое-что из его сокровищ. Дядюшка провел его в свою спальню и открыл огромный шкаф, полный великолепного церковного облачения. Были здесь расшитые золотом ризы, палантины и стихари с вышитыми вставками, украшенные жемчугами, и перчатки, усыпанные драгоценными камнями; надеть их было бы честью для любого священника, что возносил молитву и хвалу Владыке всего видимого и незримого. Затем он достал алую рясу из плотного переливающегося шелка и котту из тончайшего муслина, обшитую по горловине и подолу ирландским кружевом шестнадцатого века. Это было облачение для мальчика, при-

служившего во время мессы, и Фрэнсис по просьбе дяди снял пиджак и надел это, а затем разулся и надел мягкие алые туфли. Тут вошел Оуэн Бэртон, и Фрэнсис услышал, как он шепчет дядюшке: «Боже, вылитый служка!» Затем Бэртон надел одно из роскошных облачений и велел ему преклонить колени.

Парень совсем растерялся. Что они задумали? Это какая-то шарада? Бэртон, с торжественным и преисполненным энтузиазма выражением лица, поднял левую руку, словно благословляя; но еще больше удивил дядюшка: он облизал губы и сглотнул, словно у него слюнки текли. За всем этим маскарадом что-то стояло, непонятное Фрэнсису, но наделенное скрытым значением для обоих мужчин. Это вызывало неловкость, беспокоило его, и он не стал опускаться на колени и снял рясу и котту. «Не знаю, к чему все это», — сказал он и увидел, что эти двое, как прежде Джудит с матерью, обменялись безмолвными репликами. Похоже, их разочаровала его незаинтересованность, но ему правда было неинтересно и почему-то противно.

Возобновились обычные развлечения: снова теннис и купание, но все это как будто потеряло для Фрэнсиса остроту первых впечатлений. В тот

вечер он переоделся раньше остальных и сидел на широком подоконнике в гостиной, читая книгу, одолженную ему миссис Рэй. Чтение никак не шло — очень странный роман, и язык сложный, и он подумал, что вернет книгу: мол, не осилил. Но тут вошла миссис Рэй в компании дядюшки — они беседовали и не заметили его.

— Это бесполезно, Изабель, — сказал дядюшка. — У него нет любопытства, нет склонности, он испытает лишь отвращение. Не так нужно завоевывать души. Оуэн со мной в этом согласен. И он слишком наивен: почему, когда я в его возрасте… А вот и Фрэнсис. Что там такое он читает? А, теперь вижу! И как тебе?

Фрэнсис закрыл книгу.

— Не могу больше, — сказал он. — Не осилил.

Миссис Рэй рассмеялась.

— Я тоже согласна, Хорас. Но какая жалость!

У Фрэнсиса тогда отчего-то создалось впечатление, что они говорили о нем. Но если так, к чему именно у него нет склонности?

В тот вечер он лег довольно рано, а остальные остались играть в бридж. Вскоре он уснул, но вновь проснулся, как ему показалось, от звуков песнопений. Потом трижды ударил колокол, умолк и ударил еще трижды. Он слишком хотел

спать, чтобы обратить на это внимание.

Поезд несся сквозь ночь, а Фрэнсис вспоминал о своем визите к человеку, чье поместье только что унаследовал — с обязательством выплачивать 500 фунтов в год преподобному Оуэну Бэртону. Он с удивлением обнаружил, насколько ясными и одновременно отчего-то тревожащими были эти воспоминания, которые уже четыре года как хранились под спудом в сознании. Только он погрузился в крепкий сон, как они снова потускнели, а к утру он более к ним не возвращался.

Едва оказавшись в Лондоне, Фрэнсис отправился к мистеру Энгусу. Нужно было продать некоторые ценные бумаги, чтобы оплатить налог на наследство, но управление поместьем не представляло особых трудностей. Фрэнсис хотел узнать больше о своем благодетеле, но мистер Энгус смог рассказать совсем немногое. Хорас Элтон последние несколько лет жил в Уэддерберне совсем затворником и близко общался лишь со своим секретарем, мистером Оуэном Бэртоном. Кроме того, у него часто и подолгу гостили две дамы. Их звали… — и юрист умолк, пытаясь припомнить.

— Миссис Изабель Рэй и ее дочь Джудит? — предположил Фрэнсис.

— Именно. Они часто там бывали. И нередко поздно вечером, примерно в одиннадцать, приезжали еще несколько человек, а буквально через час или два отбывали восвояси. Странно как-то. Всего за неделю до смерти мистера Элтона у него собралось довольно много гостей: полагаю, человек пятнадцать-двадцать.

Фрэнсис немного помолчал. Словно бы фрагменты мозаики требовали, чтобы их расставили по местам. Но их формы были уж слишком фантастичны.

— Касательно болезни и смерти моего дядюшки, — сказал он. — Кремация состоялась в тот же день, когда он умер, — по крайней мере, так я понял из вашей телеграммы.

— Да, так все и было.

— Но почему? Я бы незамедлительно вернулся в Англию, чтобы присутствовать. Разве это не странно?

— Верно, мистер Элтон, это было странно, но на то имелись причины.

— Мне бы хотелось узнать о них. Я его наследник, и было бы правильно, если бы я там присутствовал. В чем причина?

Энгус замялся.

— Это резонный вопрос, и я считаю себя обя-

занным на него ответить. Начну издалека… Ваш дядя, судя по всему, был в добром здравии еще за неделю до смерти. Очень полный, но живой и активный. Потом случилась беда. Сначала это походило на серьезное помутнение рассудка. Он отчего-то решил, что очень скоро умрет, и мысль о смерти вызвала у него болезненный, панический ужас. Он телеграфировал мне, потому что хотел внести кое-какие изменения в завещание. Я был в отъезде и смог явиться лишь на следующий день, а к тому моменту, когда я приехал, он был слишком болен, чтобы дать какие-либо внятные распоряжения. Но, думаю, он собирался исключить из завещания мистера Оуэна Бэртона.

Юрист снова умолк.

— Я обнаружил, — сказал он наконец, — что утром того дня, когда я приехал в Уэддерберн, он послал за приходским священником и исповедался ему. О чем именно, я, разумеется, не имею представления. До того момента он панически боялся смерти, но тело его было здоровым. Потом вдруг на него обрушилась ужасающая болезнь. Это было настоящая напасть. Врачи, которых вызвали из Лондона и Борнмута, не имели ни малейшего понятия, что с ним. Они предположили, что какой-то неизвестный микроб мгновенно и

самым ужасным образом преобразил его кожу, плоть и кости. Это напоминало гниение изнутри, словно он уже умер. Я правда не знаю, что толку вам об этом рассказывать.

— Я хочу знать, — сказал Фрэнсис.

— Так вот — разложение. Из него выползали, словно из трупа, живые организмы. Сиделок, бывших при нем, тошнило. Вся комната кишела мухами, огромными жирными мухами, которые ползали по стенам и кровати. Он был в сознании и по-прежнему дико боялся смерти, в то время как можно было подумать, что человеческая душа была бы лишь рада прекратить эти мучения.

— А мистер Оуэн Бэртон был с ним? — спросил Фрэнсис.

— С того момента, как мистер Элтон исповедался, он не хотел его видеть. Тот как-то пришел к нему в комнату, и сцена была кошмарная. Умирающий пронзительно вопил от ужаса. Не желал он видеть и двух дам, которых вы упоминали; сам не понимаю, почему они продолжали останавливаться в его доме. Затем в последнее утро своей жизни — а он уже не мог говорить — он нацарапал на бумажке пару слов и будто бы хотел причаститься Святых Даров. Послали за священником.

Старый адвокат снова замолчал. Фрэнсис заметил, что у него дрожит рука.

— Тогда случилось нечто ужасающее. Я был в комнате, поскольку он дал мне знак быть рядом, и я видел все своими глазами. Священник налил вино в потир, положил хлеб на дискос и был уже готов их освятить, когда целое облако мух, о которых я вам говорил, подлетело к нему. Они наполнили потир, словно пчелиный рой, нечестивым сонмом облепили дискос, и за пару минут потир опустел, а хлеб они сожрали. Затем, словно вымуштрованное войско, они перелетели на лицо вашего дяди, так что его стало совсем не видно. Он задыхался, потом одна бурная конвульсия — и, слава богу, все было кончено.

— А потом?

— Потом мухи исчезли. Совсем. Но пришлось незамедлительно кремировать тело вместе с постелью. Действительно, сущий кошмар! Я бы не стал рассказывать, если бы вы сами не настояли.

— А пепел?

— Вы увидите, что в его завещании есть пункт, согласно которому останки его следует захоронить в Уэддерберне, у подножия иудина дерева, рядом с бассейном в саду. Так и было сделано.

Фрэнсис был юноша, начисто лишенный во-

ображения, свободный от суеверий и праздных измышлений, и эта история, пусть и таящая намеки на нечто ужасное, не завладела его умом и не породила тревожные фантазии. Все это, конечно, ужасно, но ведь закончилось. На Пасху он отправился в Уэддерберн со своей вдовствующей сестрой и ее одиннадцатилетним сыном, и место им всем необычайно понравилось. Вскоре было решено, что Сибил Маршэм сдаст свой лондонский дом на лето и поселится там. Дики, мальчику хрупкому, несколько чудаковатому и похожему на эльфа, пойдет на пользу сельский воздух, сестра Фрэнсиса будет вести хозяйство, а он — помогать ей в свободное время.

Дом, построенный из кирпича и дерева, мог вместить с полдюжины жильцов и стоял на горе, возвышаясь над маленьким городком. Фрэнсис сразу по приезде обошел его и поразился: сам вид дома прояснил воспоминания в мельчайших деталях. Вот и гостиная с высокими книжными шкафами, окнами, выходящими в сад, и широкими подоконниками. Именно здесь он сидел незаметно, когда вошли, беседуя, миссис Рэй и его дядюшка. Наверху — обитая панелями спальня дядюшки, которую Фрэнсис решил занять сам, с большим шкафом, полным церковных

облачений. Он открыл его — все было аккуратно упаковано в чехлы и просвечивало алым и золотым, а также тончайшей тканью с ирландским кружевом; от вещей слабо пахло благовониями. Рядом находилась дядюшкина гостиная, а за ней — комната, в которой Фрэнсис спал раньше и которую теперь занимал Дики. Эти комнаты располагались в передней части дома и выходили на запад, в сад, и Фрэнсис отправился вновь увидеть его. Под окнами были разбиты клумбы, пестревшие весенними цветами, за ними начинался газон, а еще дальше — деревья, окружающие бассейн. Он прогулялся по тропинке среди ковров из примул и анемонов и вышел на полянку у воды. Купальня располагалась в дальнем конце пруда, рядом со шлюзом, из которого вода шумно выливалась в канал: ручей, питавший бассейн, разлился после мартовских дождей. Перед рощей на другом берегу росло иудино дерево, все в цвету, отбрасывая колеблющееся отражение на водную гладь. Где-то под этими ветвями с пурпурными цветками была зарыта урна с пеплом. Он прошелся вокруг бассейна — здесь почти не ощущался апрельский ветерок, а над красными цветами роились пчелы. Пчелы и большие жирные мухи, много мух.

Фрэнсис и Сибил сидели в гостиной с широкими подоконниками, когда начало смеркаться. Слуга объявил, что пришел мистер Оуэн Бэртон. Разумеется, его приняли, и гость был представлен Сибил.

— Вы меня едва ли помните, мистер Элтон, — сказал он, — но я был здесь, когда вы навещали дядюшку. Прошло, пожалуй, года четыре.

— Но я прекрасно вас помню. Мы купались вместе и играли в теннис, вы были очень добры к застенчивому юноше. Вы по-прежнему здесь живете?

— Да. Я поселился в доме в Уэддерберне после смерти вашего дяди. Я провел шесть счастливых лет в качестве его секретаря и очень полюбил этот край. Мой дом сразу за оградой вашего сада, напротив калитки, ведущей в лес за бассейном.

Дверь открылась, и вошел Дики. Он заметил незнакомца и остановился.

— Поздоровайся с мистером Бэртоном, Дики, — сказала его мать.

Дики выполнил распоряжение с надлежащей вежливостью и принялся его разглядывать. Дики был мальчик стеснительный, но, рассмотрев гостя, приблизился к нему и положил руки ему на колени.

— Вы мне нравитесь, — сказал он доверительно и прижался к нему.

— Не беспокой мистера Бэртона, Дики, — строго сказала мать.

— Но он меня вовсе не беспокоит, — возразил Бэртон, притягивая к себе мальчика, так что тот оказался зажат между его коленей.

Сибил встала.

— Пойдем, Дик, прогуляемся по саду, пока не стемнело.

— А он тоже пойдет? — спросил мальчик.

— Нет, он останется поговорить с дядей Фрэнсисом.

Когда мужчины остались наедине, Бэртон сказал пару слов о Хорасе Элтоне, который был ему столь добрым другом. Конец, к счастью короткий, был ужасен, а лично Бэртону ужасным показался отказ умирающего видеть его в последние два дня.

— Думаю, он все же повредился умом по причине ужасных страданий. Так иногда случается — люди отворачиваются от тех, кто был им ближе всех. Я часто горевал из-за этого и испытывал глубокие сожаления. И я должен кое-что объяснить вам, мистер Элтон. Вы, несомненно, были озадачены, когда увидели, что я упомянут в дядином

завещании как «преподобный». Это, в общем, правда, хотя сам себя я так не называю. Некоторые духовные сомнения и трудности заставили меня отречься от сана, но ваш дядя всегда считал, что бывших священников не бывает. Он был в этом уверен, и, думаю, небезосновательно.

— Я не знал, что мой дядюшка интересовался делами церковными, — сказал Фрэнсис. — И я забыл о его облачениях. Возможно, они нравились ему чисто эстетически.

— Ни в коем случае. Он считал их священными предметами, предназначенными для использования при отправлении культа. Кстати, могу я вас спросить, что стало с его останками? Помнится, он однажды выразил желание быть похороненным у бассейна.

— Его тело было кремировано, — сказал Фрэнсис, — и пепел зарыли там.

Вскоре Бэртон ушел, и Сибил, вернувшись с прогулки, испытала искреннее облегчение, не увидев его. Он ей отчего-то не понравился. В нем было что-то странное и зловещее. Фрэнсис посмеялся над ней: ему гость показался неплохим парнем.

Сны, разумеется, представляют собой смесь недавних впечатлений и ассоциаций, и в ту ночь

Фрэнсис увидел очень отчетливый сон, который вполне мог быть вызван дневными событиями. Он увидел себя, плавающим в бассейне с Оуэном Бэртоном, а его дядюшка, толстый и румяный, стоит под иудиным деревом и смотрит на них. Это казалось вполне естественным, как часто бывает во сне, — разве что он вовсе не умер. Когда вышли из воды, Фрэнсис стал искать свою одежду, но увидел, что для него приготовлена алая ряса и белая, обшитая кружевом котта. Это тоже было вполне естественно, как и то, что Бэртон надел золотую ризу.

Дядя, очень веселый, облизывающий губы, присоединился к ним. Дядя и Бэртон взяли Фрэнсиса за руки и повели к дому, распевая гимн. Пока они шли, дневной свет померк, и, когда они оказались на лужайке, уже была ночь, в окнах дома горел свет. Продолжая петь, они поднялись наверх, в спальню дяди, которую теперь занимал Фрэнсис. Напротив кровати была открытая дверь, которой он до сих пор не замечал, и из нее струился очень яркий свет. Потом начался сущий кошмар: двое спутников крепко схватили его и поволокли к двери, а он отбивался, понимая, что там его ждет что-то ужасное. Но они тащили его шаг за шагом, он яростно сопротивлялся, и вот из-за двери

вылетел рой больших жирных мух, которые с жужжанием кинулись на него. Их становилось все больше и больше, они покрыли его лицо, заползали в глаза и в рот, когда он уже задыхался. Ужас достиг высшей точки, и Фрэнсис проснулся в поту, с бешено бьющимся сердцем. Он включил свет. В комнате было тихо, за окнами занималась заря, начинали петь птицы.

Несколько дней отпуска пролетели быстро. Фрэнсис сходил в деревню посмотреть на дом Бэртона и обнаружил симпатичное небольшое строение, его владелец был чрезвычайно мил и любезен. Однажды Бэртон отужинал с ними, и Сибил даже признала, что первое ее суждение о нем было поспешным. Бэртон был очень мил и с Дики, что повлияло на мнение Сибил, а мальчик его просто обожал. Нужно было уже подыскивать для него учителя, и Бэртон с готовностью согласился заняться его образованием, так что каждое утро Дики бежал по саду и через лес, мимо бассейна, к дому Бэртона. Он изрядно отстал в учебе из-за слабого здоровья, но теперь рвался учиться и хотел радовать наставника, так что дело пошло быстро.

II

Как раз тогда я и познакомился с Фрэнсисом, и за следующие несколько месяцев, проведенных в Лондоне, мы стали близкими друзьями. Он рассказал мне, что недавно унаследовал от своего дядюшки поместье в Уэддерберне, но тогда я еще не знал всю предысторию, которую только что изложил. Как-то в июле он сообщил мне, что собирается провести август там; его сестры, которая вела хозяйство, и ее сынишки не будет первую пару недель — они уехали на море. И он пригласил меня разделить его одиночество и отправиться туда с ним, заодно я рассчитывал спокойно там поработать. План показался мне замечательным, и мы выехали вместе на машине очень жарким августовским вечером; было похоже, что скоро начнется гроза. Он сказал мне, что к нам зайдет отужинать Оуэн Бэртон, служивший секретарем у его дядюшки.

Мы приехали где-то за час до ужина, и Фрэнсис отвел меня, на случай, если я захочу искупаться, к бассейну, расположенному среди деревьев позади лужайки. У него было много хлопот по дому, и я отправился один. Место было очаровательное, вода недвижная и очень прозрачная, в ней

отражались небо и зеленые деревья. Я разделся и нырнул. Я плавал и нырял в прохладной воде, а потом вдруг увидел, что вдоль дальнего берега пруда идет человек, уже немолодой и необычайно полный. Он был в смокинге и черном галстуке, и я тут же решил, что это мистер Бэртон пришел из деревни отужинать с нами. Стало быть, времени прошло больше, чем я полагал, — и я поплыл к навесу, под которым оставил одежду. Выбравшись из воды, я огляделся. Никого.

Я удивился — пусть и не слишком сильно. Странно, что он так внезапно появился из леса и исчез столь же неожиданно, но это меня не особенно обеспокоило. Я поспешил домой, быстро переоделся и спустился, ожидая застать Фрэнсиса и его гостя в столовой. Но оказалось, что мне не стоило спешить: часы показывали, что до ужина оставалась еще четверть часа. Я предположил, что Фрэнсис и мистер Бэртон находятся наверху. Чтобы скоротать время, я взял книжку наугад и немного почитал, но в комнате было довольно темно. Я встал, чтобы включить свет, и увидел за французским окном, выходящим в сад, силуэт мужчины на фоне закатного неба. Он заглядывал в комнату.

Я ни на минуту не усомнился, что это тот самый

человек, которого я видел во время купания, и при включенном свете, разглядев его лицо получше, окончательно в этом убедился. Очевидно, мистер Бэртон, обнаружив, что пришел слишком рано, прогуливался по саду, ожидая назначенного часа. Меня перспектива этой встречи что-то не радовала: я хорошенько к нему пригляделся и понял, что есть в нем нечто пугающее. Он точно человек? Он вообще земное создание? Затем он тихо удалился, и тут же во входную дверь постучали, и я услышал, как Фрэнсис спускается. Он сам подошел к дверям, поздоровался и появился в гостиной в сопровождении высокого стройного мужчины, которого представил мне.

Мы очень приятно провели вечер: Бэртон оказался разговорчивым и любезным и не раз упоминал своего друга и ученика Дики. Часов в одиннадцать он засобирался домой, и Фрэнсис предложил ему вернуться через сад, чтобы срезать дорогу. Гроза так и не разразилась, но уже совсем стемнело к тому моменту, как мы трое вышли на улицу и встали под тем самым французским окном. Бэртона вскоре поглотила темнота. Потом вспыхнула молния, и в этот миг я успел заметить, что посреди газона кто-то стоит и словно ждет его — тот, кого я уже дважды

видел. Меня подмывало спросить, кто это такой, но вдруг я понял, что Фрэнсис его не видел, и промолчал, потому что теперь окончательно убедился: это вовсе не живой человек из плоти и крови. Несколько тяжелых дождевых капель упали на мощеную дорожку, и при входе в дом Фрэнсис крикнул: «Доброй ночи, Бэртон!» — и ему ответил радостный голос.

Вскоре мы отправились спать. Он провел меня в свою комнату, большую, обитую панелями, с вместительным платяным шкафом у кровати. Рядом висел написанный маслом поясной портрет.

— Завтра покажу тебе, что хранится в шкафу, — сказал Фрэнсис. — Прелюбопытные вещицы. А это портрет моего дяди.

Я уже видел это лицо в тот самый вечер.

Еще дня два или три я не встречал ужасного посетителя, но ни на миг не чувствовал себя спокойно, понимая, что он где-то рядом. Уж какой инстинкт мне это подсказывал, не представляю; возможно, просто страх увидеть его вновь породил это убеждение. Я подумывал сказать Фрэнсису, что мне нужно вернуться в Лондон, но не сделал этого из-за желания узнать больше, заставившего меня побороть леденящий ужас. Очень скоро я понял, что Фрэнсису так же не по

себе, как и мне. Порой, когда мы сидели вдвоем по вечерам, он был странно напряжен — прерывался посреди фразы, словно его внимание привлек какой-то звук, или отрывался от игры в безик и секунду-другую пристально смотрел в угол комнаты или, даже чаще, на темный прямоугольник открытого французского окна. Интересно, думал я, а вдруг он видит что-то невидимое мне и, как и я сам, боится об этом сказать?

Эти впечатления были редкими и мимолетными, но они поддерживали во мне ощущение, будто что-то происходит, что-то темное и неведомое набирается силы. Что-то проникло в дом и присутствует повсюду. А потом я возвращался в ярко освещенный солнцем мир и думал, что терзаю себя понапрасну.

Я прожил там около недели, когда случилось нечто, ускорившее последующее развитие событий. Я спал в комнате, которую обычно занимал Дики, и как-то ночью проснулся от невыносимой жары. Я хотел было сбросить одеяло, но оно застряло между матрасами со стороны стены. Наконец я высвободился и тут же услышал, как что-то со стуком упало на пол. Утром я вспомнил об этом и нашел под кроватью тетрадку. Открыл ее наугад и обнаружил с десяток страниц, испи-

санных округлым детским почерком. Вот какие слова поразили меня:

«Четверг, 11 июля. Сегодня утром я снова видел в лесу дядю Хораса. Он рассказал мне о себе что-то такое, чего я не понял, но он сказал, что мне это понравится, когда я подрасту. Я не должен никому, кроме мистера Бэртона, говорить, что он здесь, и о том, что он рассказал мне».

Меня ни на йоту не смутило, что я читаю личный дневник мальчика. Я даже не задумался об этом. Я перевернул страницу и увидел следующую запись:

«Воскресенье, 21 июля. Я снова видел дядю Хораса. Я сказал, что передал мистеру Бэртону услышанное от него, а мистер Бэртон рассказал мне еще кое-что; он доволен и сказал, что я делаю успехи и что скоро он возьмет меня с собой на молитву».

Невозможно передать ужас, который пробудили во мне эти строки. Теперь видение, которое мне явилось, стало еще более реальным и зловещим. Это был дух порочный, злокозненный и настроенный развращать. Но что я мог поделать? Как мог я, не дожидаясь запроса со стороны Фрэнсиса, сказать ему, что дух его дяди, о котором я на тот момент ничего не знал, являлся не только

мне, но и его племяннику, и что он пытается воздействовать на сознание мальчика? И потом, в дневнике упоминался Бэртон. Разумеется, нельзя было оставить все как есть. Он участвовал в этом проклятом деле. Начинал вырисовываться извращенный культ (или моя фантазия слишком разыгралась?). Тогда что значит «взять на молитву»? Слава богу, Дики был в отъезде, и оставалось время все обдумать. А что до этого злосчастного дневника, я запер его в кейсе.

День, как можно было подумать со стороны, прошел вполне приятно. Утром я поработал, а днем мы с Фрэнсисом отправились играть в гольф. Но в воздухе висело что-то тягостное, и я, вспоминая о дневнике, беспрестанно спрашивал себя: «Что же ты будешь делать?» Фрэнсис, в свою очередь, был неспокоен, и я не до конца понимал, чем это вызвано. Время от времени воцарялось молчание, не то молчание, что свойственно непринужденным отношениям близких людей и само по себе свидетельствует об их близости, но молчание тех, у кого на уме то, о чем они не смеют заговорить. На протяжении дня это ощущение лишь усиливалось: все общие темы казались банальными, ведь они служили прикрытием для той самой темы.

В тот жаркий вечер мы расположились перед ужином на лужайке, и, прерывая повисшую в очередной раз неловкую тишину, Фрэнсис показал на фасад дома.

— Как странно, смотри! На первом этаже вроде как три комнаты — столовая, гостиная и маленький кабинет, в котором ты работаешь. А теперь взгляни наверх. Там тоже три комнаты: твоя спальня, моя спальня и моя гостиная. Я их измерил. Куда-то подевались двенадцать футов. Похоже, где-то там есть опечатанное помещение.

Ну хоть какая-то тема для обсуждения.

— Удивительно, — сказал я. — Давай-ка разберемся.

— Конечно. Займемся сразу после ужина. Но вот что еще — по другому поводу. Ты же помнишь облачения, которые я на днях показывал? Я открыл шкаф, в котором они хранятся, где-то час назад, и оттуда вылетел целый рой больших жирных мух. Они жужжали, как дюжина аэропланов над головой — издалека, но громко. Понимаешь, о чем я? А потом вдруг исчезли.

Мне вдруг показалось, что тема, до сих пор было замалчиваемая, становится предметом разговора. И это может оказаться неприятным…

Он вскочил со стула.

— Давай уже прекратим играть в молчанку. Мой дядя — он здесь, вот о чем я. Пока что я тебе не рассказывал, но он умер, покрытый роем мух. Он попросил причастия, но прежде, чем вино успели освятить, мухи забили весь потир. И я знаю, что он здесь. Звучит погано, но это так.

— Я знаю. Я его тоже видел.

— А почему мне не сказал?

— Потому что решил, что ты меня засмеешь.

— Несколько дней назад — возможно, но не сейчас. Продолжай.

— В первый же вечер я увидел его сначала у бассейна. А потом, когда мы провожали Оуэна Бэртона, при вспышке молнии я снова видел его на лужайке.

— А как ты понял, что это он? — спросил Фрэнсис.

— Понял в тот же вечер, когда ты показал мне его портрет в спальне. Ты его видел?

— Нет, но он здесь. Что-то еще?

Это была возможность выговориться не просто естественная, но и неизбежная.

— Да, много чего. Дики тоже его видел.

— Ребенок? Немыслимо.

Дверь открылась, и служанка внесла шерри на подносе. Она поставила графин и бокалы на

плетеный столик, и я попросил принести из моей комнаты ящик, в котором запер дневник.

— Это выпало из-под матраса прошлой ночью. Дневник Дики. Слушай.

И я прочитал ему первый отрывок.

Фрэнсис быстро тревожно оглянулся.

— Но нам это просто снится. Это какой-то кошмар. Боже, тут что-то ужасное! А Дики еще и просили не говорить никому, кроме Бэртона. Что там еще?

— Ну вот. «Воскресенье, 21 июля. Я снова видел дядю Хораса. Я сказал, что передал мистеру Бэртону услышанное от него, а мистер Бэртон рассказал мне еще кое-что; он доволен и сказал, что я делаю успехи и что скоро он возьмет меня с собой на молитву. Я не знаю, что это значит».

Фрэнсис вскочил.

— Что? На молитву? Погоди. Дай-ка вспомню, как я первый раз здесь побывал. Я же был сущим мальчишкой девятнадцати лет и ужасно, невозможно наивным для своего возраста. Женщина, гостившая здесь, дала мне почитать книгу под названием «La-Bas». У меня чтение не пошло, но теперь-то я знаю, о чем она.

— Черная месса, — сказал я. — Поклонение Сатане.

— Да. Тогда дядя облачил меня в алую рясу, пришел Бэртон, надел ризу и что-то сказал о том, что я служка. Он раньше был священником, ты не знал? И вот как-то ночью я проснулся под звуки песнопения и удары колокола. Кстати, Бэртон завтра придет на ужин…

— И что ты будешь делать?

— С ним? Пока не знаю, но нужно кое-что сделать сегодня. В этом доме происходит нечто ужасное. Должна быть какая-то комната, где они совершали мессу. Часовня. Видимо, это те недостающие футы, о которых я говорил.

После ужина мы принялись за работу. Где-то в доме, со стороны сада, было это неучтенное пространство. Мы включили свет во всех комнатах, потом вышли в сад и увидели, что окна в спальне Фрэнсиса и гостиной, расположенной рядом, отстоят друг от друга дальше, чем должны бы. Значит, где-то между ними и находится то место, куда нет явного входа. Мы поднялись наверх. Стена его гостиной казалась сплошной, она была из кирпича и деревянных балок, располагавшихся на небольшом расстоянии друг от друга. Но стена его спальни была обита панелями, и, когда мы постучали по ней, в соседней комнате звуков не было слышно.

Мы начали ее осматривать.

Слуги легли спать, и в доме было тихо, но, когда мы направились из сада в дом и потом начали переходить из помещения в помещение, что-то незримо следовало за нами. Мы закрыли дверь в спальню Фрэнсиса, но теперь, пока мы осматривали и ощупывали панели, дверь распахнулась и снова закрылась, и вошло нечто, задев мое плечо.

— Что это? — спросил я. — Как будто кто-то вошел.

— Не обращай внимания. Смотри, что я нашел.

На краю одной панели было что-то вроде черной кнопки звонка. Он надавил на нее — и одна панель отодвинулась в сторону, открывая красную завесу над дверным проемом. Фрэнсис отодвинул ее, зазвенели металлические кольца. Внутри было темно и пахло застарелыми благовониями. Я ощупал дверную раму и нашел выключатель, темноту залил ослепительный свет.

Внутри оказалась часовня. Окна не было, и у западной (а не восточной) стены был алтарь. Над ним висела картина, очевидно ранней итальянской школы. Она напоминала манерой письма «Благовещение» Фра Анджелико. Пресвятая Дева

сидела на открытой лоджии, а снаружи, с покрытого цветами фона, ее приветствовал ангел. Его распростертые крылья были крыльями летучей мыши, а черная голова и шея были как у ворона. Он поднял в благословении не правую, но левую руку. Одеяние Пресвятой Девы из тончайшего красного муслина было украшено по краю отвратительными символами, а лицо ее представляло собой собачью морду с высунутым языком.

В восточной стене были две ниши, в которых стояли нагие мраморные статуи, подписанные «Святой Иуда» и «Святой Жиль де Рэ». Один подбирал лежащие у его ног сребреники, другой с усмешкой взирал на распростертое тело искалеченного мальчика. Свет исходил от висящей под потолком люстры в форме тернового венца, среди серебряных прутиков которого примостились электрические лампочки. Рядом с алтарем висел колокол.

На миг, глядя на эти непристойные богохульства, я подумал, что они просто гротески, не заслуживающие более серьезного отношения, чем грязные каракули на стенах в городе. Это безразличие быстро прошло, и я с ужасом осознал, как велика вера тех, кто создал все это. Искусные художники и ремесленники служили

злу; дух благоговения был жив в изображениях, и само место буквально излучало восторженную радость тех, кто свершал здесь обряды.

— Взгляни-ка сюда! — позвал Фрэнсис. Он показал на столик у стены за ограждением алтаря.

На нем стояли фотографии: одна изображала паренька, готового нырнуть в бассейн с трамплина.

— Это я, — сказал он. — Бэртон снимал. А что там написано? Ora pro Fransisco Elton[80]. А это миссис Рэй, мой дядя и Бэртон в ризе. Помолитесь и за них, пожалуйста. Но это же смешно!

Он вдруг расхохотался. Крыша часовни была сводчатая, и эхо оказалось на удивление громким и продолжительным, все вокруг буквально содрогнулось от него. Смех прекратился, а эхо не смолкало. Смеялся кто-то еще. Но где? И кто? Кроме нас, в часовне никого не было.

Смех все длился и длился, и мы в ужасе уставились друг на друга. Яркий свет люстры тускнел, сгущалась темнота, и в темноте собиралась какая-то адская смертоносная сила. В полумраке я увидел слегка колеблющееся в воздухе, словно на сквозняке, смеющееся лицо Хораса Элтона.

---

[80] Сноски: 80
Молись за Фрэнсиса Элтона *(лат.)*.

Фрэнсис тоже его увидел.

— Борись с ним! Дай отпор! — закричал он, показывая пальцем. — Оскверни все, что здесь было освящено! Боже, чувствуешь запах благовоний и порока?

Мы порвали фотографии и разбили столик, на котором они стояли. Мы сорвали алтарную завесу, плюнули на проклятый стол и стали раскачивать его, пока он не перевернулся и мраморная столешница не треснула пополам. Мы выбросили из ниш статуи, и они с грохотом упали на мощеный пол. Затем, в ужасе от собственного иконоборческого пыла, остановились. Смех утих, и лица Хораса Элтона больше не было видно. Мы покинули часовню и задвинули скрывающую ее стенную панель.

Фрэнсис лег спать в моей комнате, и мы долго разговаривали, обсуждая планы на следующий день. Круша все в часовне, мы не тронули картину над алтарем, но теперь она стала частью нашего замысла. Потом мы уснули, и ночь прошла без происшествий. По крайней мере, мы испортили то, что было освящено для нечестивого использования, а это уже что-то да значило. Но предстояла еще худшая часть работы — с неопределенным исходом.

К вечеру на ужин явился Бэртон, и напротив его стула на стене висела картина из часовни. Он поначалу ее не заметил, поскольку в комнате было довольно темно, хотя еще не требовалось искусственное освещение. Он был весел и оживлен, как обычно, рассказывал интересно и остроумно и спрашивал, когда же вернется его друг Дики. Под конец ужина включили свет, и тут он увидел картину. Я наблюдал за ним и видел, как у него на лице выступил пот, оно на миг приобрело землистый оттенок. Потом он собрался с духом.

— Какая странная картина, — сказал он. — Она раньше тут висела? Уверен, что нет.

— Верно, она из комнаты наверху, — сказал Фрэнсис. — А Дики? Не знаю точно, когда он вернется. Мы нашли его дневник и теперь должны поговорить об этом.

— Дневник Дики? В самом деле?

Бэртон облизал губы.

Думаю, он догадался, что дело плохо, и я представил себе человека, ожидающего повешения в камере, за дверями которой находится стража. Он сел, поставив локоть на стол и подперев голову. Тут вошел слуга, он принес кофе и удалился.

— Дневник Дики, — тихо сказал Фрэнсис. — Там фигурирует ваше имя. И имя моего дяди. Дики ви-

дел его не раз. Но, разумеется, вам это известно.

Бэртон осушил бокал бренди.

— Вы что, рассказываете мне историю с привидениями? Продолжайте, продолжайте.

— Да, отчасти это история с привидениями, но не только. Мой дядя — или, если хотите, его призрак — рассказал ему кое-что и велел хранить в тайне ото всех, кроме вас. А вы рассказали ему еще больше и сказали, что однажды, скоро, он пойдет с вами на молитву. Где это должно было состояться? В комнате прямо над нами?

Бренди на миг придало обреченному храбрости.

— Наглая ложь, мистер Элтон. У мальчика развращенный ум. Он рассказывал мне такое, о чем ни один мальчик его возраста не должен знать, хихикал и смеялся при этом. Возможно, мне следовало сказать его матери.

— Теперь поздно думать об этом, — сказал Фрэнсис. — Дневник, о котором я говорю, завтра в десять утра будет в руках полиции. Они также осмотрят комнату наверху, где вы имели обыкновение проводить черную мессу.

Бэртон подался вперед.

— Нет, нет, не делайте этого! Прошу, умоляю вас! Я расскажу вам все, ничего не скрою. Моя

жизнь была сплошным богохульством. Но я прошу прощения, я раскаиваюсь. Отныне я отрекаюсь от всех этих мерзостей во имя Господа Всемогущего.

— Слишком поздно, — сказал Фрэнсис.

И тогда начался ужас, который до сих пор преследует меня. Несчастный откинулся на спинку стула, с его лба на белую рубашку упал длинный серый червь и остался там лежать и извиваться. В тот миг наверху послышался удар колокола, и Бэртон вскочил на ноги.

— Нет! — снова закричал он. — Я отказываюсь от всего, что сказал. Я ни в чем не раскаиваюсь. Мой Господь ждет меня в своем святилище. Я должен спешить и смиренно исповедаться перед ним.

Движением крадущегося животного он выскользнул из комнаты, и мы услышали быстрые шаги вверх по лестнице.

— Видел? — прошептал я. — И что же нам делать? Он вообще в своем уме?

— Теперь это уже не наше дело, — сказал Фрэнсис.

Наверху послышался стук, будто кто-то упал, и, не говоря ни слова, мы бросились в спальню Фрэнсиса. Дверь шкафа с облачениями была

открыта, что-то лежало на полу. Панель была отодвинута, но внутри царила темнота. В ужасе перед тем, что нам предстояло увидеть, я нащупал выключатель и включил свет.

Колокол, который мы слышали несколько минут назад, все еще тихо покачивался, но теперь молчал. Бэртон, в расшитой золотом ризе, лежал перед перевернутым алтарем, лицо его исказили судороги. Потом это прекратилось, он издал предсмертный хрип, и рот его раскрылся. Огромные мухи, целые полчища, появились словно ниоткуда и сели на мертвое тело.

Элджернон Блэквуд

Вход и выход

Перевод Е. Пучковой

У окна загородного особняка стояли трое: старый физик, девушка и ее жених — молодой англиканский священник. Шторы еще не были задернуты. На фоне бледного вечернего февральского неба четкой графикой темнел сосновый бор. Свежевыпавший снег покрывал пушистым ковром лужайку и холм. Ярко светила большая луна.

— Да, именно там, в тенистой роще, — задумчиво сказал физик, — точно в такой же день, тринадцатого февраля, пятьдесят лет назад исчез человек. Исчез загадочным, невероятным образом, в одно мгновение оказавшись в сфере невидимого, будто какая-то неведомая сила перенесла его в *другое место.* Не правда ли, этот лес навевает мысли о сверхъестественном?

Его слова вызвали смех, прозвучавший диссонансом странному вдохновению самой речи.

— Пожалуйста, расскажите, — прошептала охваченная любопытством девушка. — Мы умеем хранить тайны.

Однако в вопросительном взгляде, который она бросила на своего жениха, как бы ища защиты, чувствовалась смутная тревога. Выражение лица англиканского священника было серьезным и необычайно увлеченным. Он внимательно слушал.

— Как будто в природе, — продолжал физик, — таятся тут и там некие вакуумы, дыры в пространстве, находящиеся под углом к трем известным нам измерениям. — Его ум всегда был склонен к подобному теоретизированию, временами даже чрезмерно. Казалось, он разговаривает сам с собой. — Это «высшее пространство», проникнув в которое человек может незаметно исчезнуть, это «новое измерение», как назвали бы его Бойль, Гаусс, Хинтон и другие ученые мужи, вы, с вашим уклоном в мистику, — заметил он, посмотрев на молодого священника, — сочли бы духовным изменением в состоянии, переходом в область, где не существуют пространство и время и где возможны любые измерения, поскольку все они *едины.*

— Ну пожалуйста, расскажите, — снова стала умолять девушка, не понимавшая этих мудреных рассуждений. — Хотя я сомневаюсь, что Артуру следует слушать вашу историю. Он слишком

сильно интересуется подобными темными материями! — Неуверенно улыбаясь, она прильнула к жениху, словно пытаясь своим телом оградить его душу.

— Хорошо, я расскажу вам, что помню о том сверхъестественном случае, — согласился физик. — Но только вкратце, ведь мне тогда было всего десять лет. Тот вечер очень напоминал сегодняшний — такой же холодный и прозрачный, и снег так же искрился в лунном свете. Люди и раньше говорили отцу, что слышали в роще непонятный звук — то ли плач, то ли стенания. Отец не придавал этому значения, пока тот же звук не напугал мою сестру. Тогда он послал конюха посмотреть, в чем дело. Хотя ночь была светлая, конюх взял с собой фонарь. Мы наблюдали за ним отсюда, из этого самого окна. Вскоре его фигура затерялась среди деревьев, а желтый свет перестал дрожать и раскачиваться, как если бы фонарь поставили на землю. Никакого движения. Мы ждали полчаса, потом отец, заинтригованный и взволнованный — таким его образ запечатлелся в моей памяти, — чуть ли не выбежал из комнаты, и я, испуганный, бросился за ним. Мы шли по следам, но около фонаря следы прерывались, и расстояние между двумя последними никак не

соответствовало нормальному человеческому шагу — оно было поистине огромным. На снегу вокруг — ни одного следа, а человек исчез. Потом мы слышали, как он звал на помощь: его голос звучал вверху, внизу, за нами, доносился сразу со всех сторон и ниоткуда. Мы кричали в ответ, но тщетно. Возгласы конюха становились все тише и тише, как будто раздавались с очень большого расстояния, пока наконец не затихли совсем.

— И что было дальше? — в один голос спросили оба слушателя.

— Он не вернулся — с того дня его никто не видел. Но спустя недели, даже месяцы люди все еще слышали в лесу мольбы о помощи. Потом и это прекратилось, — по крайней мере, насколько я знаю, — закончил свой рассказ старый физик, тяжело вздохнув. — Вот и все, если вкратце.

Девушке история не понравилась, поскольку в устах старика невероятное происшествие казалось абсолютно реальным — так убедительно он говорил. Это одновременно и раздражало и пугало ее.

— Смотрите, вот и остальные возвращаются! — воскликнула она с оттенком облегчения, указывая на группу людей, пробиравшихся между соснами по свежему снегу. — Теперь можно и

чаю попить. — И она ушла в другой конец комнаты, чтобы заняться подносом.

Слуга начал закрывать ставни. А молодой священник продолжил заинтересованный разговор с хозяином, понизив голос так, что его невесте почти ничего не было слышно. До нее долетали только обрывки фраз, вызывавшие сильное беспокойство, причину которого она осознала не сразу.

«Материя, как известно, проницаема, — говорил ее жених, — и два объекта могут существовать в одном и том же месте в одно и то же время. Однако странно, что нельзя видеть, но можно слышать, что воздушные волны доносят голос, но эфирные волны не передают изображения».

Потом ее слух уловил слова старика:

«Как будто некие части Природы — да, именно так — требуют перемены, места, где сверхъестественные силы выступают из земли, словно из *живого существа* с различными органами. Такие места — это острова, вершины гор, сосновые леса, особенно — одиноко стоящие сосны. Вам, должно быть, известны не поддающиеся объяснению последствия возделывания девственной почвы и, конечно, теория о том, что земля на самом деле *жив*…»

Что он сказал дальше, девушка не разобрала, и к разговору ее вновь вернул голос священника:

«Настроение ума тоже помогает силам этих мест. Так же, как и настроение, навеянное музыкой, некоторыми литургиями мессы, экстазом…»

— Послушайте, хватит философствовать! — прервала их беседу женщина, вернувшаяся с прогулки вместе с другими гостями. Дом сразу наполнился оживленным гомоном, сосновым духом и ароматом открытых равнин. — А знаете, в вашем лесу, похоже, действительно водятся привидения, мы слышали *такой странный* звук! Будто кто-то стонал или плакал. Цезарь завыл и понесся неизвестно куда как ошпаренный, а Гарри отказался пойти посмотреть, в чем дело. Он всерьез испугался!

Все засмеялись.

— Да ладно, этот звук больше напоминал вопли зайца, попавшего в капкан, чем голос человека, — оправдывался Гарри. Здоровый румянец уже успел скрыть его вызванную испугом бледность. — Я слишком хотел горячего чаю, чтобы беспокоиться о каком-то старом зайце.

Через некоторое время после чаепития невеста священника обнаружила, что ее жених исчез. Сложных умозаключений не понадобилось, что-

бы понять, что произошло. Она кинулась к окну кабинета хозяина дома и рывком раздвинула шторы. По снегу двигалась одинокая фигура, озаренная яркой луной. Человек нес фонарь, желтый свет которого сразу бросался в глаза на фоне серебристого сияния.

— Ради бога, быстрее, — закричала девушка. От ужаса ее лицо стало белее снега. — Быстрее, или мы опоздаем. Артур просто помешан на подобных вещах. О, я должна была знать, должна была догадаться. Это та самая ночь. Господи, как мне страшно!

Пока физик нашел свое пальто и вслед за девушкой выскользнул из дома через заднюю дверь, свет фонаря уже маячил вблизи леса. Царила ледяная тишина, было очень холодно. Они бежали, не переводя дыхания, по следам. Вскоре направление шагов изменилось, и глубокие в мягком снегу отпечатки человеческих ног стали четко различимыми. Вокруг раздавался жалобный шепот ветвей — сосны плачут, даже когда нет ветра.

— Не отходите от меня, — сурово сказал физик.

Он уже заметил лежавший на снегу фонарь. Священника нигде не было видно.

— Смотрите, тут следы обрываются, — прошеп-

тал физик, нагнувшись, когда они подошли к фонарю.

Цепочка следов, до этого прямая, странно отклонилась. Внезапно девушка схватила старика за руку — последний шаг был невероятно длинным, почти бесконечным.

— Как будто беднягу подтолкнули сзади, — пробормотал старик, слишком тихо, чтобы спутница услышала его. — Или унесло вперед — как мощным потоком воды.

С неожиданной для человека его возраста силой он пресек отчаянную попытку девушки рвануться туда, где исчез ее жених. Вцепившись в него, она вдруг заголосила — жутко, безысходно.

— Вот! Это голос Артура! Слышите? — всхлипнула она, немного успокоившись.

Они застыли и прислушались. Тайна, превосходившая обычные тайны ночи, окутала их сердца — тайна, бóльшая, чем жизнь или смерть, тайна, которую только трепет и ужас могут извлечь из глубин души.

Футах в пятидесяти от них из леса раздался тихий плачущий голос — то ли стенающий, то ли поющий. «Помогите! Помогите! — взывал он в безмолвии ночи. — Ради любви Господней, молитесь за меня!»

В ответ меланхолично зашумели сосны. А потом в вышине опять зазвучал плачущий голос, и снова — уже впереди, затем — позади. Он шел отовсюду, становясь все слабее и слабее, угасая в отдалении, и это вселяло страх…

Однако, кроме старика и девушки, в роще никого не было — лишь ветер нарушал покой леса своим дыханием. Не было и ничьих следов на безупречно белом снежном ковре. Лунный свет отбрасывал чернильные тени, холод пронизывал до костей, ночь, оглашаемая потусторонними криками, наполнилась смертельным ужасом.

— Но зачем *молиться*? — вопрошала девушка, не в силах сдержать рыдания. — Зачем *молиться*? Надо что-то *делать* — делать!.. — Как обезумевшая, она в панике металась кругами, периодически падая на снег, пока не увидела, что старик преклонил колена и молится, воздев очи к темным небесам.

— Только сила молитвы, мысли и желания помочь способна извлечь его оттуда, где он пребывает, — сказал старик девушке, ненадолго прервав молитву.

Спустя мгновение уже оба стояли на коленях, в снегу, молясь, похоже, о собственных душах…

Нетрудно представить, какие меры по розыску

были предприняты — никто не остался в стороне: пропавшего священника искали друзья, полиция, газеты, практически вся страна…

Но самое интересное в этом странном путешествии в «высшее пространство» случилось в конце — по крайней мере, как можно судить, исходя из имеющейся на данный момент информации.

Через три недели, когда уже вовсю ревели мартовские ветры, маленькая темная фигура, едва передвигая ноги, пересекла поле, направляясь к дому старого физика. В худом, бледном как привидение, потрепанном и ужасно истощенном человеке не сразу можно было узнать молодого англиканского священника. Но от его лица и из его глаз струилось изумительное сияние — столь великолепное, какого никто доселе не видел… Возможно, потеря памяти была реальной, а может, нет — доподлинно об этом ничего не известно, тем более его девушке, которую возвращение жениха вырвало из объятий приближающейся смерти. Во всяком случае, что бы с ним ни происходило во время его невероятного исчезновения, он сохранил все в тайне.

— Никогда не спрашивай меня о случившемся, — говорил он своей возлюбленной, повторив

то же самое даже после полного выздоровления. — Я не смогу рассказать. Нет языка, способного *это* передать. Я все время был рядом с тобой… но еще и в *другом месте*…

Видение

Перевод Н. Роговской

Мягкие перышки сумерек неслышно проникали сквозь осеннюю листву, когда мы случайно наткнулись на придорожный трактир, не отмеченный на нашей крупномасштабной карте. Очень своевременно, надо сказать: мой приятель Дюкоммен явно выбился из сил. Несвойственная его миролюбивой натуре раздражительность слегка омрачила последние часы нашего совместного пути, и я почувствовал, что мы приблизились к той черте, которая отделяет неудачу от полного фиаско. Немногим раньше я сообщил ему:

— До постоялого двора, где мы с тобой собирались заночевать, осталось пять миль, но мы скоро одолеем их, если пойдем без остановок.

Он взвыл:

— Нет, не могу, я выдохся! — И грузно сел на обломок старой стены, требуя передышки.

Меж тем сумерки сгущались, ветер нес холод и сырость с болот, протянувшихся слева от нас. Я понимал, что за ворчливым тоном моего спут-

ника, помимо обычной усталости, скрывалось и кое-что другое, накопившееся за эти дни. Наш поход складывался не вполне так, как ожидалось: расстояния всегда оказывались больше, чем мы предполагали; гостиницы были все как на подбор — одинаково дрянные; люди угрюмы и негостеприимны; и даже погода ополчилась на нас.

Нам обоим не повезло, но Дюкоммен был вдвойне разочарован, и я ему очень сочувствовал. Дело в том, что во времена оны его предки владели в этих краях всем и вся — назовите их магнатами, лордами, вельможами, как вам больше нравится. Дюкоммен давно мечтал побывать здесь и втайне, в своей фантазии, рисовал себе благостные картины, на которых ему по праву рождения каким-то чудодейственным образом возвращалось былое величие славной фамилии. Ныне безвестный страховой агент, он ни на день не забывал о своей древней, овеянной легендами родословной и назубок знал историю семьи в период ее наивысшего расцвета. Путешествие по бывшим фамильным угодьям он готовил тщательно, смакуя каждый шаг, и вот на тебе — никакого почтения со стороны местных жителей, только грубость и хамство, вдребезги разбившие прекрасную грезу. А он так лелеял ее, так ждал

этой встречи с прошлым! Чаша его терпения переполнилась. Постоялый двор, куда мы рассчитывали попасть еще засветло, был устроен, по его гипотезе (согласно полуистлевшим архивным записям), в сохранившейся части того самого фамильного замка, или шато, где его благородное семейство некогда жило в довольстве и роскоши. С каким восторгом стремился он туда в своих мечтах!..

Вот там-то, на дороге, сходив в одиночку разведать, что да как в ближайшем окружении, я и сообщил Дюкоммену о своем нечаянном открытии. Теперь можно было не спешить и расположиться на ночлег всего в полумиле от груды камней, сидя на которых он едва не уснул. К доброй новости мой приятель отнесся скептически: обещанные полмили наверняка удлинятся, а ночевать придется в каком-нибудь грязном вертепе.

— Очередное разбойничье гнездо, где тебя оберут до нитки да тебе же еще и нагрубят! — криво усмехнулся он. — В любом случае это не то место, куда мы хотели попасть.

Он молча поплелся за мной и с сомнением глянул на покосившуюся, увитую плющом придорожную развалюху, однако прибавил шагу

и вошел вперед меня, думая только о том, как поскорее дать отдых ногам и не утруждать себя торгом с трактирщиком, чтобы не портить себе настроение.

Однако нас ждал сюрприз — место оказалось просто дивное! В относительно просторном холле жарко горел торф в камине, хозяин и хозяйка были приветливы и улыбчивы, их старомодная, полная достоинства обходительность делала всякий торг немыслимым, и через десять минут мы уже чувствовали себя как дома, словно приехали в усадьбу, где нас давно ждут.

— Нынче к нам редко кто наведывается, — посетовала пожилая хозяйка, сопроводив свои слова грациозным движением руки — прямо светская дама, а не простая деревенская женщина! — Когда-то здесь проходила большая дорога, а теперь вот стоим на отшибе.

Она всячески давала нам понять, что все, чем они располагают, — к нашим услугам. В конце концов даже Дюкоммен оттаял и расчувствовался.

— Такое возможно только во Франции, — шепнул он мне с оттенком гордости, словно намекая, что тонкий аромат истинной культуры, почти неуловимый в нашем нынешнем мире, все еще

сохраняется в земле его предков — и в его собственном кровотоке. Он погладил огромного косматого дирхаунда[81], занимавшего едва ли не всю комнатушку, где мы дожидались ужина, и дружелюбный монстр, ответив на ласку благовоспитанным изъявлением симпатии, внес свою лепту в общую атмосферу радушия. Его «лицо» и манеры красноречиво свидетельствовали о добром обращении; он был горд своими хозяевами и гостями хозяев. На ум сразу приходило сравнение с домашними любимцами в наших английских усадьбах.

— Эта псина, — рассмеялся я, — определенно вращалась в благородных кругах. — И Дюкоммен самодовольно хмыкнул, приняв комплимент на свой счет.

Задним числом мне трудно восстановить все детали, из которых складывалась столь отрадная картина, — так ненавязчиво, с такой душевной чуткостью они были вписаны в общее гармоничное целое. Эта картина встает у меня в памяти, озаренная чудным и ясным светом, как самый обворожительный эпизод моих многочисленных пеших путешествий; и вместе с тем ее окружает

---

[81] Сноски: 81

Дирхаунд — шотландская оленья борзая. — *Здесь и далее примеч. перев.*

— словно волшебная, неосязаемая и неописуемая пелена — атмосфера чего-то… поистине исключительного (за неимением более подходящего определения). Этот налет чего-то нездешнего, неуловимого, неповторимого, который я начал ощущать с первой минуты, поистине зачаровывал, притупляя, точно обезболивающее снадобье, любые возможные страхи и сомнения. Что касается моего друга — как наиболее близкой моему сердцу детали целого, — то на нем необычная атмосфера этого места отразилась самым удивительным и даже поразительным образом.

Стоило ему подняться вперед меня на крыльцо под низким козырьком и войти в дом, как он вмиг преобразился. Необъяснимая перемена наложила печать на весь его облик в моих глазах — в усталых, бесспорно, глазах. Правда и то, что дело было в сумерках и фигура его выступала в неверном свете огня, магически преображающего все предметы. И тем не менее… Но чтобы не тратить бумагу на бесполезные многословные описания, попробую свести их к краткому перечню и отмечу лишь следующее: из долговязого увальня он превратился в грациозного молодого джентльмена; клеймо мелкого лондонского клерка в отпуску бесследно исчезло; и, когда

он, входя, пригнул голову, чтобы не удариться о темный брус притолоки, его невольный поклон был сама элегантность, продиктованная врожденным инстинктом, аристократизмом в подлинном смысле слова. Чудесное преображение случилось мгновенно и без всякой натуги с его стороны. Я был очарован и заинтригован. Все, что я интуитивно чувствовал и любил в нем и что обыкновенно таилось под спудом, вдруг вышло наружу. Конечно, это можно объяснить, по крайней мере отчасти, тем, что дома меняют людей, как новые наряды — женщину или ребенка, хотя в каждом случае меняется не человек, а лишь его, так сказать, обрамление, к которому он быстро приспосабливается и вновь становится прежним. Однако с моим приятелем ничего подобного не произошло: его новая ипостась прочно срослась с ним и не только никуда не делась за вечер, но еще больше упрочилась. Он все время молчал, но то было блаженное, мечтательное молчание, каким наслаждаешься в обществе близкого друга. От его досады и разочарования не осталось и следа, он ни разу не вспомнил об ужасных ночлегах и нравах местных жителей.

Однако не буду притворяться, что неотрывно наблюдал за ним. Мое внимание раздваивалось:

необыкновенная прелесть хозяйской дочки, в чьих глазах мне чудилась вся тихая грусть земли, которую мы прошли пешком от края до края, — triste, morne[82], брошенной земли, — вызывала у меня не меньший интерес. Старики-родители предоставили нас ее заботам, и она превосходно справлялась с ролью любезной хозяйки, угадывая наши желания раньше, чем мы успевали их выразить, словно принимала дорогих гостей, а не просто оказывала услугу постояльцам за известное вознаграждение. Вопрос оплаты ни разу не поднимался, хотя, не знаю почему, у меня сложилось впечатление, что радушие наших хозяев было вполне чистосердечным, не замешанным на сребролюбии. Так или иначе, это впечатление граничило с уверенностью, и у меня не возникало ни малейшего опасения, что в последнюю минуту нам выставят грабительский счет, коли мы не потрудились заранее договориться о цене. Нас привечали здесь как долгожданных гостей, и мое сердце радовалось этой дивной встрече с позабытой ныне обходительностью, которую алчность современной жизни полностью истребила.

— Завтра или послезавтра, когда вы хоро-

---

[82] Сноски: 82
Печальный, сирый *(фр.)*.

шенько отдохнете, — негромко сказала девушка, оставшись посидеть с нами после ужина и приглядывая за огнем в камине, — я отведу вас по Allee des tilleuls[83] к реке и покажу хорошее место для рыбалки.

То, что она сидела и дружески беседовала с нами, казалось таким естественным… Только позже до меня внезапно дошло, что отсюда до реки добрых пять миль по болотам — какие уж тут деревья, тем более tilleuls: липовые аллеи если когда-то и были здесь, то их давно уже след простыл.

— Мы тронемся в путь на рассвете, — ответил ей Дюкоммен, немало ошарашив меня своей решимостью; и вскоре он изъявил намерение лечь спать.

Девушка принесла свечи, зажгла их длинным бумажным жгутом[84], предварительно зажженным от огня в камине, и вручила каждому по свече, улыбаясь одними глазами. Я по сей день не забыл этой улыбки, смешанной с потаенной тоской, в ее глубоких ласковых глазах.

— Сон у вас будет долгий и крепкий, — чуть

---

[83] Сноски: 83
Липовой аллее *(фр.)*.

[84] Сноски: 84
Спички вошли в обиход во второй половине XIX в.

смущенно пообещала она, провожая нас к лестнице. — Я сама приготовила и проветрила ваши постели.

Я еще раз взглянул на нее перед поворотом на лестнице — на ее стройную фигуру и копну густых, вьющихся темных волос в свете свечи. Она смотрела нам вслед, подняв свои большие серые глаза, в которых мне чудилась щемящая тоска и вместе с тем какое-то удивительное, кроткое, печальное смирение.

Дюкоммен бесцеремонно потянул меня за руку.

— Идем, — сказал он с внезапной настойчивостью, как если бы все было решено. — Нам рано вставать!

Я неохотно подчинился. Меня охватило странное чувство, словно я грезил наяву, — столь пленительна была юная дева и столь непостижима произошедшая с моим другом перемена.

— Удивительно, — пробормотал я, на мгновение задержавшись возле его двери, — мы как будто приехали в гости к друзьям в их поместье! А наши здешние хозяева — их старые верные слуги… горды своим положением и рады окружить заботой гостей… Что скажешь?

Его ответ настолько ошеломил меня, что я

буквально застыл, растерянно глядя в его изменившиеся глаза.

— Скажу, что нам бы убраться отсюда подобру-поздорову, — угрюмо пробурчал он. — Выйти сухими из воды.

Не иначе его давешне раздражение вновь дало о себе знать.

— Ты, верно, устал? — предположил я сочувственно. — Признаться, я тоже.

— Устал как собака! — в сердцах бросил он, но после шепотом, со значением прибавил: — А еще мне холодно… ненормально холодно!

От его многозначительного тона и приглушенного голоса я обомлел, и, пока собирался что-то сказать о простудах и мерах борьбы с ними, он захлопнул дверь перед моим носом; но у меня в голове еще звучали его последние слова: «холодно, ненормально холодно». Слабая догадка относительно скрытого смысла этих слов мелькнула и ушла, оставив в душе неприятный осадок. Холод, о котором он говорил, определенно был не телесного свойства. И я вдруг тоже ощутил странный холодок в груди. Словно холод стучался в сердце, требуя впустить его. Необычный холод. Он сковывал мысли и чувства: казалось, душа леденеет. Словом, описывая свои ощущения,

мой приятель описал и мои — где-то в глубине моего существа разливалось странное отупение, безразличие ко всему…

Я не мешкая лег в постель. Ночь выдалась тихая, безветренная, но мне не спалось, несмотря на усталость. Тягостное чувство не оставляло меня. Я долго лежал и слушал, как кровь, пульсируя, струится под тонкими стенками моих сосудов. Наконец я уснул, и в мое забытье проникли два ярких образа — лицо Дюкоммена в дверях спальни, когда он произнес ту фразу про холод, и лицо девушки в свете свечи, когда она с такой щемящей тоской смотрела вверх — на него.

Потом меня будто подкинуло, и я разом проснулся, понимая, впрочем, что какое-то время проспал, но главное — отчетливо сознавая другое, совершенно невероятное и пугающее обстоятельство: пока я спал, с домом произошла чудовищная перемена. Она застигла меня врасплох, словно кто-то устроил дикий розыгрыш, воспользовавшись моим временным беспамятством. Мысль о том, что уснул я в одном месте, а проснулся в другом, внушала мне суеверный ужас. Но каким образом я сумел понять это в первую секунду после пробуждения, объяснить невозможно. Хотя комната, где я проснулся, была та же, что

вчера, с домом, в котором она находилась, за ночь случилась невообразимая, поразительная метаморфоза, и я интуитивно это почувствовал. Мой ужас так же необъясним, как и тот факт, что очень скоро он незаметно перешел в вышеупомянутое тупое безразличие, апатию, когда у тебя нет силы на острое переживание и в душе только пустота и потерянность. Казалось, лишь какая-то часть меня — обессиленная часть — ведала о том, что творится, тогда как другая по-прежнему пребывала в забытьи и неведении.

Теперь о том, что же случилось. Дом вырос до гигантских размеров. Его кровля (не спрашивайте, откуда я это знал) сквозь тьму взмыла ввысь, стены раздвинулись на площади в несколько акров, и придорожный трактир превратился в замок с башнями и зубцами, с боковыми корпусами-крыльями, широкими балконами и высокими красивыми окнами. Величественное сооружение, дышавшее благородной стариной, без остатка поглотило скромный трактир, потерявшийся в грандиозном целом, словно какая-нибудь опочивальня — в лабиринтах дворца. В непроглядной тьме я ничего этого видеть не мог, однако *почувствовал* бесконечность пустых коридоров, необъятность парадных залов, высоту потол-

ков, вместительность элегантных гостиных и мало-помалу совершенно растворился в этом великолепном чертоге, величаво раскинувшемся посреди ночи.

У меня возникло желание — скорее импульс к действию, нежели просто идея, — выйти наружу и убедиться. В чем, собственно, убедиться, спрашивал я себя, пока ощупью, страшась зажечь свечу, пробирался к окну. И ответ пришел, суровый и краткий, словно в пояснении не было нужды: «Застигнуть их на лужайке».

Загадочная фраза имела смысл, я знал это, ибо вместе с домом изменилось и все его окружение. Отдернув занавеску, я выглянул в окно на лужайку (где несколько часов назад пролегала довольно пустынная, ничем не примечательная проселочная дорога) и на обширный сад позади нее, переходящий в парк (где прежде не было ничего, кроме унылых, полузаброшенных полей).

Сквозь ночной туман слабо пробивался лунный свет, и мой взгляд всюду находил подтверждение неимоверному росту ввысь и вширь, о котором я говорил: слева смутно вырисовывалась каменная громада, по всей видимости крыло здания, а прямо подо мной из стены выступал балкон, частично заслонявший вид на садовые дорожки

и клумбы. Еще я разглядел в отраженном от воды лунном сиянии широкую и плавную излучину реки, окаймлявшую лужайку, с купами ракит по берегам… Благодаря гигантскому расширению здесь даже появилась река! Пока я в изумлении обозревал изменившийся пейзаж, пытаясь извлечь из разгула иллюзии хотя бы один-единственный факт, способный что-то мне объяснить, небольшое деревце на лужайке под моим окном сдвинулось с места, чуть приблизилось — и я понял, что это человеческая фигура. Мало того, я узнал ее! Закутанная в какие-то длинные свободные одежды, внизу стояла хозяйская дочка, без сомнения поджидая кого-то. Кого — тут же выяснилось, поскольку из тени от дома выступила другая фигура, мужская, показавшаяся мне знакомой и незнакомой одновременно. Девушка скользнула в объятия мужчины. В конюшне заржали кони, и влюбленная пара мгновенно и беззвучно, словно два бесплотных призрака, исчезла в тумане. Через три минуты я услышал хруст гравия под копытами, который быстро затих в ночи.

И тут со мной приключилось нечто плохо поддающееся анализу, как будто та часть меня, которая до этой минуты пребывала в забытьи

и оцепенении, внезапно встрепенулась, избавившись от наркотического дурмана. Гнев, отвращение, протест поднялись во мне — бурная волна негодования, оттого что со мной сыграли какую-то злую шутку. Повинуясь внутреннему порыву — думать и рассуждать было некогда, — я выбежал на лестничную площадку, теперь до неузнаваемости широкую и нарядную, и без стука ворвался в спальню приятеля. Постель была пуста, простыни даже не примяты. Мебель в беспорядке, одежда разбросана по полу — словом, налицо все признаки поспешного бегства. Разумеется, Дюкоммена в комнате не оказалось.

Что было дальше, я толком не знаю, помню только, как сновал туда-сюда между его и моей спальнями, метался в потемках, точно очумелый, рискуя расшибить себе лоб, стукаясь о стены, шкафы, обо все подряд, — пока тьма не поглотила мой разум, опустив перед ним плотную завесу, не пропускавшую ни света, ни воздуха… и я очнулся на пустынной дороге. Надо мной возвышался мой друг, в вечерних сумерках казавшийся мне великаном, немного позади остался обломок древней стены, на котором он сидел, пока я делал осмотр местности. Всходила луна, с болот тянуло холодом и сыростью, и он сердито орал мне в ухо:

— Я тебя заждался, думал, ты уже не вернешься! Но я теперь отдохнул. Давай поспешим, нам еще надо пройти эти чертовы пять миль до ночлега.

Мы пошли вперед таким скорым шагом, что за час с небольшим добрались до места, не встретив по дороге никаких признаков жилища или иного строения. На сей раз я помалкивал, тишину нарушал Дюкоммен, но лишь для того, чтобы осыпáть проклятиями этот унылый, богом забытый край и удивляться, каким ветром занесло его пращуров в этакую глушь. Когда же мы наконец расположились в трактире, который, согласно его теории, представлял собой осколок прежнего родового имения, он весь остаток вечера просидел над картами и архивными документами и в итоге вынужден был признать, что ошибся в расчетах.

— Судя по всему, наш фамильный дом стоял на дороге, по которой мы пришли сюда, так что это место осталось где-то позади. А река, видишь, — он ткнул пальцем в старый! замызганный рисунок с планом поместья, — с тех пор изменила свое русло. Старое было намного ближе к замку и огибало садовую лужайку. — Он снова потыкал в план пальцем: ни дать ни взять дотошный клерк… и только.

Заповедный вид

Название рассказа, «Ancient Lights», означает норму английского общего права, согласно которой собственник здания может требовать, чтобы соседние постройки не затеняли его окон и не нарушали вид из них, при условии, что этот вид существует достаточно долго, а именно не менее 20 лет.

Перевод Л. Бриловой

От деревни Саутуотер, где он сошел с поезда, дорога вела строго на запад. Это он знал точно, во всем же остальном полагался на удачу, поскольку был одним из тех прирожденных путешественников, кто не любит спрашивать встречных. Он полагался на свой инстинкт, и, как правило, тот его не обманывал. «Около мили по песчаной дороге на запад, потом справа будет перелаз, и через поле. Увидите впереди красный дом». Он еще раз просмотрел инструкцию на почтовой карточке и заново попытался расшифровать зачеркнутую фразу, но без толку. Ее вымарали так надежно, что не разберешь ни слова. Вычеркнутые слова в письме всегда возбуждают любопытство. Ему

было интересно, на что же корреспондент не пожалел усилий.

День был неспокойный, душераздирающе выл ветер с моря, по ту сторону Сассекской пустоши. Через просветы голубого неба пробегали тяжелые, громоздящиеся друг на друга облака. Вдали, на самом горизонте, виднелась похожая на волну гряда холмов Даунза. Чанктонбери Ринг возвышался на ее гребне — словно скрытое за горизонтом судно на штормовых парусах. Он снял шляпу и, с наслаждением вдыхая свежий воздух, проворно зашагал вперед. Вокруг было пусто: ни всадников, ни велосипедов, ни машин, ни даже тележек торговцев или хотя бы пешехода. Но спрашивать дорогу он так или иначе не собирался. Быстро ступая по дороге, он старался не пропустить перелаз, меж тем как ветер трепал его плащ, поднимая полы до лица, и задергивал рябью голубые лужи на желтом грунте. Листва деревьев под штормовыми порывами показывала свою белесую изнанку, папоротник и высокая свежая трава гнулись к земле. Жизнь повсюду радостно бурлила и кипела. А для клерка кройдонской землемерной конторы, только что вышедшего из офиса, этот день был равноценен отпуску на море.

Перед ним маячили захватывающие приключения, природа звала, и сердце откликалось. Зонтик с серебряным кольцом превратился в меч, коричневые ботинки — в сапоги со шпорами. Ну где же, наконец, заколдованный замок и принцесса с золотыми волосами? Его лошадь…

Внезапно появившийся в поле зрения перелаз прервал приключение в самом начале. И вот он снова пленник скучной повседневной одежды. Он всего лишь клерк из землемерной конторы, средних лет, с жалованьем три фунта в неделю, направляется из Кройдона, чтобы оценить предложенные клиентом вырубки в лесу, поскольку тому захотелось улучшить вид из окна столовой. По ту сторону поля, примерно на расстоянии мили, блестели на солнце окна красного дома. Задержавшись немного на перелазе, чтобы перевести дыхание, он заметил справа рощу из дубов и грабов. «Ага, — сказал он себе, — значит, это тот самый лесок, который он хочет вырубить, чтобы не портил вид из окна? Надо взглянуть». При входе, конечно, имелась предупреждающая табличка, но тропинка за ней так и манила к себе. «Я не нарушитель, — успокоил он себя, — я делаю свою работу». Он неуклюже перелез через калитку и углубился в рощу. Небольшая петля

— и он снова выйдет к полю.

Однако стоило ему ступить под сень деревьев, как вой ветра затих, наступила полная тишина. Солнце лишь в отдельных местах пробивалось сквозь плотные заросли. Воздух давил. Вытерев лоб, он надел зеленую фетровую шляпу, но ее тут же сбило низко растущим суком, а когда он наклонился, его хлестнула по лицу гибкая ветка. По обеим сторонам тропинки росли цветы; тут и там мелькали поляны; в сырых уголках курчавились папоротники, в ноздри бил пряный аромат земли и листьев. Стало прохладнее. «Что за прелестная рощица», — подумалось ему, когда он свернул на зеленую полянку, усыпанную солнечными бликами, похожими на серебряные крылышки. Как они порхали и кружили в танце! Он вставил себе в петлицу синий цветок. Пока он поднимался, шляпу снова задел дубовый сук, и она сдвинулась ему на глаза. В этот раз он не поправил ее, а продолжил шагать с непокрытой головой, размахивая зонтиком и громко насвистывая на ходу. Но среди стоящих стеной деревьев свистеть скоро расхотелось, веселья и хорошего настроения поубавилось. Сам того не заметив, он стал ступать осторожно, с опаской. Тишина леса была такой странной…

В папоротниках и листве что-то прошелестело, и впереди, в десятке ярдов, поперек тропинки метнулась тень. На миг тварь застыла, склонила, косясь на него, голову, а затем стремительно нырнула в подлесок. Он дернулся, испугавшись как ребенок, но тут же рассмеялся: да это фазан, было бы чего бояться. Издалека, с дороги, послышалось громыхание колес, и он не понял, почему эти звуки показались ему такими приятными. «Торговец с тележкой», — сказал он себе и тут понял, что где-то свернул и идет не в том направлении. Дорога должна находиться за спиной, а не впереди.

Он поспешно свернул направо, где виднелась среди зелени еще одна узкая просека. «Верно-верно, мне надо туда: похоже, деревья сбили меня с толку». И вдруг прямо перед ним возникла калитка, через которую он вначале перелез. Он описал круг. Это было настолько удивительно, что даже сделалось неприятно. На калитку опирался, похлестывая себя по ногам хворостиной, мужчина в темно-зеленом, похожий на егеря.

— Я ищу ферму мистера Ламли, — объяснил землемер. — Это ведь вроде бы его лес… — Тут он замолчал, потому что перед ним был не человек, а просто игра листвы и светотени. Он шагнул на-

зад, чтобы вновь увидеть необычную иллюзию, но здесь, на опушке, листья сильно трепал ветер, и подобия фигуры из них больше не складывалось. Шелест листвы казался необычным. Солнце зашло за облако, и лес от этого преобразился. Но как же его мозг мог обмануться дважды? Удивительно, он ведь чуть ли не слышал ответные слова егеря — или то был скрип деревьев? — и видел, как тот указал хворостиной на ближайшее дерево с прикрепленной к нему доской. Слова продолжали звучать у него в голове, хотя не приходилось сомневаться, что он их выдумал: «Нет, это не его лес. Он наш». К тому же над потрепанной временем табличкой потрудился какой-то деревенский остроумец, и «Нарушители караются законом» превратилось в «Нарушители караются сурово».

Перечитывая с усмешкой эти слова и уже подумывая о том, как будет рассказывать о своем приключении жене и детям, пораженный клерк сказал себе: «Треклятый лес задумал меня выпихнуть. Но я пойду снова. В конце концов, там не больше акра. Если идти напрямик, я непременно выйду к полям на той стороне». Он вспомнил о своем положении в конторе. Надобно как-никак блюсти достоинство.

Облако рассеялось, и солнечные лучи проникли всюду, вплоть до самых неожиданных уголков. Он решительно двинулся вперед. В лесу его охватила растерянность: свет так резко сменился тенью, что зрению было трудно к этому приспособиться. Наконец, на его удачу, деревья снова немного расступились и из просеки открылся вид на поля и красный домик за ними. Тропу, однако, перегораживала еще одна калитка, через которую нужно было перелезть, потому что она не открывалась, и он неуклюже начал карабкаться, но тут ощутил нечто странное: калитка под его весом словно бы поехала в сторону, на деревья. Она скользила вместе с человеком, как движущиеся лестницы в универмаге «Харродс» или на станции Эрлс Корт. Это было ужасно. Чтобы избежать столкновения с деревьями, он отчаянным усилием попытался спрыгнуть, но запутался в зонте и перекладинах, ботинки накрепко застряли между первой и второй, он грохнулся на землю и остался лежать с дальней стороны, раскинув руки в траве и крапиве. Секунду-другую пробыв в позе распятого вниз головой, он принялся высвобождать ноги из ловушки, образованной зонтиком и перекладинами, и тут через чащу мимо него стремглав пробежал тот же

человечек в темно-зеленом. Коротышка смеялся на ходу. Просеку, ведущую к калитке, он пересек в полусотне ярдов от клерка и на сей раз был не один. Его сопровождал спутник, во всем ему подобный. Клерк, успевший подняться на ноги, наблюдал, как они скрылись в тени чащобы. «Это не егери, это какие-то побродяги», — процедил он отчасти раздосадованно, отчасти злобно. Но сердце его бешено колотилось, и высказать все свои мысли до конца он не осмелился.

Он осмотрел калитку в поисках какого-нибудь скрытого механизма, потом поспешно продолжил путь, но тут заметил со страхом, что за просекой теперь не видно поля: она плавно поворачивала направо. Что, во имя всего святого, с ним происходит? На зрение больше нельзя полагаться. Внезапно солнце засияло вновь, разливаясь по подлеску лужами серебра, и одновременно зашумели кроны под мощным порывом ветра. Со всех сторон застучали по листьям капли, словно бы затопали бесчисленные ноги. Вся роща содрогнулась и наполнилась движением.

«Вот черт, дождь», — подумал клерк и стал искать зонтик, но обнаружил, что потерял его. Он повернул назад, к калитке: зонтик лежал по ту сторону. К его удивлению, в конце просеки

виднелись поле и красный дом, подсвеченный закатными лучами. Ему стало смешно: без сомнения, в пылу борьбы с калиткой он не заметил, как развернулся и упал не перед ней, а за ней. Перелезть на сей раз удалось легко, и он пошел дальше. Серебряного кольца, как он заметил, на зонте больше не было. Конечно же, оно оторвалось случайно, зацепившись то ли за ногу, то ли за гвоздь, то ли еще за что-то. Совершенно обескураженный, клерк бросился бежать.

И пока он бежал, весь лес бежал вместе с ним, кружил, надвигался и отступал; деревья, как живые твари, меняли очертания; сворачивались и разворачивались листья; метались туда-сюда стволы; большие просветы в сплетении сучьев, едва открывшись, смыкались вновь, не дав в них заглянуть. Повсюду звучали шаги, смех и жалобные голоса; прямо за его спиной, как он знал, сходились толпы каких-то существ, множились, и вот уже вся просека ими кишела. Голоса и смех, конечно, нужно было отнести на счет завываний ветра; фигуры — на счет солнца и облаков, погружавших рощу попеременно в тень и ослепительное сияние. Но все это ему не нравилось, и он припустил во всю силу своих крепких ног. Он был всерьез напуган. Это не та

история, какую можно поведать жене и детям. Он несся как ураган. Но мшистый дерн под ногами скрадывал стук шагов.

Затем, к его ужасу, на просеку начали наступать густые поросли трав и крапивы, она сужалась, пока через двадцать ярдов не оборвалась совсем, затерявшись меж деревьев. Что не удалось хитро устроенной калитке, того легко достигла извилистая вырубка: завлекла его в непроходимые лесные глубины.

Оставалось лишь одно: развернуться и очертя голову устремиться обратно, в толпу преследователей, что ступали по пятам, едва не толкая его в спину. А для такого вселяющего ужас шага пришлось набраться храбрости. Отчаянным прыжком поменяв направление, выставив вперед плечи, нагнув голову и руками заслонив лицо, он, как загнанное животное, на полной скорости ринулся назад, на сей раз навстречу ветру.

О боже! В обратном направлении просека смыкалась точно так же: следа тропинки нигде не было. Затравленно озираясь, он высматривал какой-нибудь просвет, путь для бегства — высматривал лихорадочно, перепуганный уже насмерть. Но листва по-прежнему образовывала стену, сучья преграждали проход; стволы стояли

плотно, недвижно выдерживая напор ветра. И именно в этот миг солнце скрылось за большую черную тучу. Роща потемнела и смолкла, наблюдая за ним.

Внезапно наступивший мрак стал, вероятно, последней каплей, после которой он уподобился безумцу. Как бы то ни было, он, не дав себе собраться с мыслями, вновь бросился в чащобу. Ощущая себя в плотных, удушающих силках, он понимал, что должен любой ценой вырваться на открытое пространство, к благословенным полям и вольному воздуху. Поддавшись этому необдуманному порыву, он прямиком налетел на дуб, который будто намеренно преградил ему путь. Землемер видел, как дерево сместилось на добрый ярд, и, будучи человеком профессиональным, привычным к теодолиту и мерной цепи, обязан был знать, что последует. Он упал, из глаз посыпались искры, тысячи крохотных пальчиков принялись щипать его руки, шею и лодыжки. Несомненно, это были укусы крапивы. Так он стал думать впоследствии. А в тот момент происходящее казалось бесовскими проделками.

Но для еще одной поразительной иллюзии такого простого объяснения не нашлось. Ибо в то же мгновение лес вокруг, полнившийся шеле-

стом листвы и смеющими голосами, мириадами шагов, прыжками и перебежками миниатюрных обитателей, поплыл перед глазами землемера; два человечка в темно-зеленом рывком подняли его… и, открыв глаза, он обнаружил, что лежит на лугу у перелаза, где и началось его невероятное приключение. Лес стоял на своем обычном месте и, залитый солнечным светом, смотрел прямо на него. В отдалении, как и прежде, виднелся красный дом. Над головой ухмылялась потрепанная временем табличка «Нарушители караются законом».

Измученный душой и телом, изрядно поколебленный в своем профессиональном достоинстве, клерк медленно поплелся через поле. Но по дороге, глянув еще раз на карточку с инструкциями, он с тоскливым удивлением обнаружил, что вычеркнутая фраза все же вполне поддается прочтению: «Если решите пойти через лес, который я хочу срубить, то сможете срезать путь». Однако было не совсем ясно, не прятались ли под кляксой после «решите» еще две буквы — «с» и «ь».

— Дело в том, что роща загораживает мне вид на Даунз, — объяснял ему позднее клиент, сверяясь с картой местности и указывая рукой в окно. — Я хочу, чтобы ее вырубили и вот тут проложили

дорожку. — Его палец прочертил направление на карте. — Ее до сих пор называют Волшебным Лесом, и она куда старше, чем этот дом. Ну что ж, если вы готовы, мистер Томас, давайте пойдем и посмотрим на нее…

Коллекция гоблина

Перевод С. Антонова

Даттон принял приглашение по самой что ни на есть ничтожной причине: он не успел вовремя придумать благовидный предлог для отказа. Крупный, застенчивый, неуклюжий, он не обладал той непринужденностью, тем лоском и остроумием, которые так полезны на вечеринках в уик-энд. Кроме того, он терпеть не мог эти шикарные особняки — они его подавляли. Напыщенно-важные дворецкие действовали на него угнетающе. Он всегда покидал подобные сборища в воскресенье вечером — как только светские приличия позволяли ему улизнуть. На сей раз, прибыв на час раньше, чтобы успеть переодеться, Даттон отправился наверх в огромную комнату, так плотно набитую драгоценностями, что он почувствовал себя проходным экспонатом, выставленным в музейном коридоре. Он с покорно-печальным видом улыбнулся, когда слуга, который нес его багаж, начал возиться с замком. Впрочем, вместо замогильной речи, которую он с опаской ожидал услышать, склоненная фигура

заговорила очень приятным человеческим голосом с безошибочно узнаваемым ирландским акцентом. Это определенно утешало.

— Здесь заперрто, сэрр, но, возможно, у вас есть ключ?

И они вдвоем согнулись над потертым чемоданом, напоминая парочку муравьев, сомкнувших свои антенны на дне какой-то громадной пещеры. Гигантская кровать с балдахином надменно взирала на них, буфеты красного дерева сохраняли строгий и удивленный вид, открытый камин распахнул свой зев, который мог бы в одиночку проглотить все мольберты Даттона — да что там, почти всю его маленькую студию. В такой обстановке гость счел человеческое присутствие рядом в лице слуги-ирландца чем-то вроде руки помощи, бесспорно ободряющей и отрадной.

Он немного поболтал с пареньком о том о сем, потом, закуривая сигарету, пронаблюдал, как тот убирает его одежду в просторные шкафы, и отметил, как аккуратно и бережно ирландец обращается с обиходными вещицами. Маникюрные ножницы, серебряную коробочку для запонок, металлический рожок для обуви, безопасную бритву, даже блестящий резак для сигар и точилку для карандашей — все эти предметы,

извлеченные со дна чемодана, он принялся расставлять один за другим на туалетном столике со стеклянной столешницей, и казалось, что он никогда не покончит с этим занятием. Слуга то и дело возвращался к столику, чтобы переставить безделушки по-новому, внести в натюрморт последние штрихи, и до смешного озадаченно задумывался над композицией. Поначалу Даттона забавляло это действо, потом он испытал удивление, а затем ощутил прилив раздражения. Уйдет этот малый когда-нибудь или нет?

— Спасибо, достаточно, — не выдержал он наконец. — Теперь я буду переодеваться. В котором часу обед?

Паренек ответил, но по-прежнему медлил с уходом, явно желая добавить что-то еще.

— Все в порядке, полагаю, — нетерпеливо подстегнул его Даттон. — Я хотел сказать, все вещи из чемодана вынуты?

Ирландец тотчас повернулся к нему — и какие же озорные глаза глянули на гостя!

— Я выставил их в рряд, сэрр, так, чтобы все было на виду, — последовал быстрый ответ. Одновременно слуга указал на причудливое собрание безделиц и даже снова пробежал по ним кончиками пальцев, пересчитывая одну за

другой, после чего вдруг произнес с явной ноткой участливости, не переходившей в фамильярность: — Знаете, сэрр, так легко потеррять эти маленькие блестящие штучки в такой огрромной комнате.

И с этими словами он удалился.

Слегка улыбаясь про себя, Даттон стал переодеваться к ужину. В голове у него неотвязно вертелся вопрос, каким образом паренек сумел внушить ему, что подразумевал больше, чем сказал вслух. Он почти пожалел о том, что не дал слуге разговориться. «Маленькие блестящие штучки в такой огромной комнате» — какое восхитительное описание, почти художественная критика! Даттон чувствовал себя государственным преступником, заключенным в Тауэр. Он посмотрел по сторонам, заглянул в альковы, укромные уголки, глубокие оконные проемы; гобелены и широкие портьеры угнетали его; затем он принялся гадать, кто еще пожалует в гости, кого из дам он поведет к обеденному столу, как быстро сможет извиниться и ускользнуть в постель, — и посреди этих рассеянных мыслей вдруг с небывалой ясностью ощутил, что за ним наблюдают. Кто-то, находившийся совсем близко, следил за ним. Даттон подавил эту нелепую

фантазию в зародыше, списав ее на размеры и таинственность старинных покоев; однако диковинное впечатление продолжало настойчиво дразнить его, и несколько раз он ловил себя на том, что нервно оборачивается и смотрит через плечо. Он не боялся узреть привидение — ибо по складу ума и характера не склонен был верить в привидения. Странную идею, которая завладела его сознанием, породила, как он полагал, реплика, брошенная юным ирландцем, — а точнее, что-то, так и не высказанное слугой вслух. От нечего делать Даттон позволил своему воображению устремиться в русло этой гипотезы. Рядом с ним скрывался некий соглядатай, обладатель вострых, проницательных глаз, дружелюбный, но крайне любопытный. Кто-то очень маленький прятался в огромной комнате. При этой мысли Даттон рассмеялся — но его душу охватило совсем иное, покровительственное чувство. Интуиция подсказала ему, что он должен шагать предельно осторожно, дабы ненароком не наступить на какое-то крошечное живое существо, по-кошачьи нежное и по-мышиному юркое. Один раз он даже как будто заметил мельком в противоположном конце помещения, возле окна, миниатюрное крылатое создание, порхнувшее мимо широких

фиолетовых занавесей.

— Должно быть, птица или что-то еще… снаружи, — пробормотал он со смешком, однако с этого момента стал передвигаться большей частью на цыпочках. Это стоило ему — мужчине довольно грузному — некоторых усилий. Теперь он был настроен к этой роскошной, величаво-неприступной комнате более доброжелательно.

Звук гонга, возвещавшего, что пора переодеваться к обеду, вернул его к действительности и прервал игру воображения. Даттон побрился и продолжил придирчиво заниматься своим гардеробом; его движения были расслаблены и неторопливы, как у всякого крупного и к тому же весьма методичного человека. Но когда он собрался вставить в воротничок булавку, то нигде ее не обнаружил. Это был ничего не стоящий кусочек меди, но исключительно важный: булавка у Даттона была только одна. Всего пятью минутами раньше она лежала в кольце воротничка на мраморной плите — там, куда он сам аккуратно положил ее. И вот она бесследно исчезла. Он начал горячиться и искать более суетливо. Ползать на четвереньках оказалось для Даттона хлопотным делом.

— Подлая маленькая дрянь! — натужно бурк-

нул он, поднимаясь с колен; руку его саднило в том месте, где он ее оцарапал о низ шкафа. Складки на его брюках, дотоле идеально ровные, пошли зигзагами, волосы растрепались. Даттон слишком хорошо знал, сколь неуловимы порой бывают подобные мелкие предметы.

— Она объявится, — попытался рассмеяться он, — стоит мне перестать ее искать. Подл… — Даттон осекся, словно чуть было не выпалил нечто опасное. — Бесстыжая маленькая нечисть!

Он продолжил заниматься своим костюмом, оставив воротничок напоследок. Прикрепил резак для сигар к цепочке — и вдруг заметил, что маникюрные ножницы тоже куда-то подевались.

— Странно, — в задумчивости проговорил Даттон, — очень странно! — И посмотрел туда, где всего несколько минут назад лежали ножницы, а затем повторил: — Странно!

Наконец он в отчаянии позвонил. Тяжелые портьеры качнулись внутрь, когда, отзываясь на стук в дверь, Даттон произнес: «Войдите». На пороге появился паренек-ирландец с весело бегавшими глазами и огляделся по сторонам — то ли взволнованно, то ли чего-то ожидая.

— Что-то потерряли, сэрр? — тотчас поинтере-

совался он, как будто уже знал, что произошло.

— Я позвонил, — сказал Даттон слегка обиженным тоном, — чтобы попросить об услуге. Не могли бы вы одолжить мне булавку для воротничка — на этот вечер? Сгодится любая. — Он не стал уточнять, что потерял свою, так как чувствовал: кое-кто слушает их беседу и будет радостно хихикать. Абсурдное предположение, что и говорить.

— Вам нужна булавка вроде этой, сэрр? — полюбопытствовал паренек, извлекая пропажу с изнанки воротничка, лежавшего на мраморной плите.

— Вроде этой… да, — с запинкой выдавил Даттон, донельзя пораженный.

Конечно, булавка лежала на том самом месте, где ее оставили, он всего-навсего проглядел ее. Даттон со стыдом почувствовал, что свалял дурака. Вне всяких сомнений, паренек мигом сообразил, что произошло, — более того, он ожидал, что это произойдет. Как будто булавку забрали, а затем намеренно подложили обратно.

— Благодарю вас, — добавил гость, отворачиваясь от слуги, чтобы скрыть лицо; тот меж тем, пятясь, вышел из комнаты — с усмешкой, как подумалось Даттону, хотя он ничего такого не за-

метил. И казалось, почти сразу паренек вернулся, держа в руках маленькую картонную коробку с россыпью невзрачных костяных булавок. У Даттона мелькнуло подозрение, что все случившееся было подстроено заранее и его попросту водят за нос. И тем не менее за этой несуразицей маячило нечто подлинное, реальное — и совершенно невероятное!

– *Эти* не пропадут, сэрр, — услышал Даттон от самой двери. — Они недостаточно яррко блестят.

Он решил сделать вид, что не расслышал.

— Спасибо, — коротко бросил он. — Они вполне подойдут.

Повисла пауза, но паренек не спешил уходить. Сделав глубокий вдох и словно набравшись смелости, он выпалил:

— Вы не поверрите, сэрр, но он забирает только ярркие и ккрасивые вещицы. Он берет их для своей коллекции, и с этим ничего не поделать.

Волнение в его голосе побудило Даттона отнестись к ситуации более снисходительно. Он с улыбкой обернулся к слуге.

— Так, стало быть, он берет эти вещицы для своей коллекции? — переспросил он, смягчив тон.

Паренек выглядел ужасно смущенным, признание, казалось, само рвалось с его уст.

— Именно так, сэрр, ярркие и красивые вещицы. Я сделал все, что мог, но есть такие, против которрых он не в силах устоять. Костяным, однако, ничего не угррожает — он на них и не взглянет.

— Полагаю, он последовал за тобой из самой Ирландии, а? — полюбопытствовал Даттон.

Слуга потупился.

— Я рассказал обо всем отцу Мэддену, — ответил он, понизив голос, — но, ей-богу, это было не самое лучшее решение. — Ирландец выглядел так, будто был уличен в воровстве и боялся потерять место. Внезапно его голубые глаза в упор глянули на гостя, и он добавил: — Но если вы просто не обрращаете внимания на прропажу, он, как правило, кладет все на пррежнее место. Он лишь заимствует вещи — на врремя. Сделайте вид, что они вам вовсе не нужны, сэрр, и они тут же веррнутся обрратно, быть может, даже еще более ярркие, чем были.

— Я вижу, — неторопливо отозвался Даттон. — Что ж, тогда все в порядке, — успокоил он слугу, — я ничего не скажу внизу. Тебе нечего опасаться.

Паренек с благодарностью посмотрел на него и молниеносно исчез, оставив гостя суеверно

взирать на уродливые костяные булавки. Даттон торопливо закончил одеваться и отправился вниз. Он вышел на цыпочках, двигаясь с крайней осторожностью, чтобы невзначай не раздавить нечто крошечное и очень хрупкое, чуть ли не увечное, наподобие бабочки со сломанным крылом. И при этом отчетливо ощущал, как кто-то наблюдает из укромного уголка огромной комнаты за его уходом.

Пытка обедом оказалась сравнительно терпимой — как и последовавший за ним утомительный вечер. Даттон улучил момент, чтобы ускользнуть пораньше и водвориться у себя комнате. Маникюрные ножницы снова были на месте. Он читал до полуночи. Ничто не нарушало его уединения. Пока длился прием гостей, хозяйка дома успела поделиться с Даттоном историей отведенных ему покоев и учтиво поинтересовалась, хорошо ли он устроился.

— Некоторые ощущают себя потерянными в этой комнате, — призналась она. — Надеюсь, вы нашли там все, что вам нужно.

Услышав слова «потерянные» и «нашли», Даттон испытал сильное искушение рассказать ей про ирландского паренька, чей гоблин последовал за хозяином за море и «заимствует яркие

красивые вещицы для своей коллекции». Однако он сдержал слово и ничего не сказал. Во-первых, хозяйка только подивилась бы услышанному, а во-вторых, он изрядно устал и не имел желания затевать беседу. Даттон мысленно усмехнулся. Неказистые костяные булавки, вороватый гоблин и просторная спальня, где некогда почивали члены королевской семьи, — вот и все, что это громадный особняк мог предоставить ему для отдыха и развлечения. На следующий день, в перерывах между теннисом и ланчами, «заимствование» продолжилось: вещицы, в которых он остро нуждался, исчезали в самый неподходящий момент, а позже как ни в чем не бывало появлялись снова. Верным средством их возвращения (неизменно на то же место, где Даттон видел их в последний раз) было игнорирование факта пропажи. Тогда потерянный предмет неожиданно сам собой попадался на глаза, проказливо поставленный стоймя и готовый вот-вот упасть на ковер, — и всегда имел при этом притворно невинный, а на деле насмешливо-ехидный вид, яснее ясного говоривший, что это — проделки гоблина. Булавка для воротничка была его любимицей; затем шли ножницы и серебряная точилка для карандашей.

В воскресенье вечером поезда и автомобили как будто сговорились удержать Даттона в особняке, однако он принял меры к тому, чтобы уехать в понедельник прежде других гостей, и отправился в спальню пораньше. Он хотел понаблюдать. Его охватило веселое чувство, что между ним и маленьким заемщиком установилось что-то вроде дружеских отношений. Возможно, ему даже удастся увидеть, как та или иная вещь исчезает, — так сказать, застать ее врасплох! Разложив блестящие безделушки в ряд на стеклянной крышке туалетного столика возле кровати, Даттон принялся читать, а меж тем исподтишка следил за этой щедрой и соблазнительной приманкой. Однако ничего не происходило.

«Это так не сработает, — внезапно дошло до него. — Вот я недотепа!»

И он погасил свет. Его одолевала дремота… На следующий день он, конечно же, сказал себе, что все, случившееся потом, было сном, и только.

Ночь выдалась очень тихая, сквозь оконный переплет в комнату робко заглядывала летняя луна. Снаружи слегка шелестела на ветру листва. С полей доносился крик козодоя, а за ними, в роще, ему отзывалась из своего потаенного гнезда пушистая сова. Интерьер был окутан темнотой,

но косой лунный луч опустился на туалетный столик и прельстительно сиял на серебряных вещицах. «Похоже на удочку с приманкой, поставленную на ночь», — такова была последняя внятная мысль Даттона, которую он запомнил; смех, которым она сопровождалась, вдруг резко оборвался, и каждый его нерв напрягся в тревожном ожидании.

Из огромного открытого камина, разинувшего свой зев в темном конце комнаты, донесся тихий звук, тонкий, как перышко. Слабое, неуверенное, едва ощутимое волнение всколыхнуло воздух. Причудливый нежный трепет возмутил спокойствие ночи, и в полусонном мозгу человека, который лежал на большой кровати с балдахином, это породило картину, представшую словно бы вдалеке и выдержанную в черных и серебристых тонах: крошечный странствующий рыцарь пересекает границы сказочной страны, лелея озорной умысел в маленьком, неистово бьющемся сердце. Прыгая по широкому, толстому ковру, он пробирался к кровати, к туалетному столику, намереваясь заняться лихим грабежом. Даттон лежал неподвижно, как камень, наблюдая и вслушиваясь. Пульсация крови в ушах немного приглушала звук, но не затмевала его вовсе.

Пожалуй, он был легче, чем взмах мышиного хвостика или подергивание кошачьих усов, — более настороженный, более продуманный, более неприметный и едва ли не вдвое более искусный. И все же тяжело дышавший человек в постели хорошо его расслышал. Звук становился все ближе и ближе — такой изящный и эфемерный звук смелого набега миниатюрного авантюриста из другого мира. Он стремительно пронесся мимо кровати, с чуть уловимым порханием — очаровательным, почти музыкальным — взвился в воздух перед самым носом у Даттона и вступил в озерцо лунного света на туалетном столике. Затем что-то заслонило его; видение стало нечетким, и наблюдатель упустил нужный момент: смешение лунного сияния с отражениями в зеркале, в стеклянной столешнице и в блестящих безделушках сделало картинку расплывчатой. Даттону понадобилась секунда-другая, чтобы вновь сфокусировать зрение. Раздалось негромкое дребезжание и такой же негромкий щелчок. Гость увидел, что точилка для карандашей балансирует на самом краю столика: как раз в этот момент она исчезала.

Не соверши Даттон глупый промах, он мог бы увидеть больше. Похоже, он просто не смог

сдержаться. Он соскочил с кровати, и в тот же миг серебряная вещица упала на ковер. Разумеется — ведь от его слоновьего прыжка сотрясся весь столик. Но так или иначе, ему не хватило проворства. Он увидел, как отражение тонкой крошечной ручки скрывается в зеркальных глубинах стеклянной столешницы, с быстротой молнии уходя все глубже и глубже. Он думает, что видел именно это, хотя и признает, что свет был странно обманчивым в момент его стремительного и неуклюжего рывка.

В любом случае одно обстоятельство было неоспоримым: точилка для карандашей бесследно исчезла. Даттон зажег свет и потратил добрую четверть часа на поиски, после чего в отчаянии сдался и вернулся в постель. Утром он возобновил их. Но, заспавшись дольше, чем следовало, он уже не располагал временем, чтобы обшарить комнату вдоль и поперек: когда утомительные потуги гостя были в самом разгаре, явился паренек-ирландец, чтобы доставить его чемодан к поезду.

— Что-то потерряли, сэрр? — с серьезным видом спросил он.

— Нет, все в порядке, — ответил Даттон, ползая на коленях. — Можете забрать чемодан — и пальто.

В тот же день, вернувшись в город, он купил другую точилку и повесил ее на цепочку.

Уилла Кэсер

Происшествие на станции Гровер

Перевод Н. Роговской

Историю эту я услышал, сидя на задней тормозной площадке грузового поезда, пока он тащился от станции Гровер до Шайенна[85] по бурой, выжженной солнцем пустыне. А поведал мне ее мой однокашник по Принстону, Тихоня Роджерс, который теперь работал кассиром в Шайенне, в конторе железнодорожной компании. Вообще-то, он родом из Олбани[86], но, когда его отец потерял свой бизнес, дядя нашел Тихоне место на одной из западных железных дорог. С Принстоном ему пришлось распрощаться, и он напрочь исчез из нашего мирка. Вновь я увидел его только благодаря тому, что университет командировал меня на Запад с геологической экспедицией, которая отправилась на поиски окаменелостей в окрестностях Стерлинга, штат

[85] Сноски: 85

Гровер — небольшой город в штате Колорадо; *Шайенн* — столица соседнего с Колорадо штата Вайоминг; оба штата относятся к региону Горного Запада США. — *Здесь и далее примеч. перев.*

[86] Сноски: 86

Олбани — город-порт на берегу реки Гудзон, столица штата Нью-Йорк на северо-востоке США.

Колорадо. Роджерс приехал в Стерлинг провести со мной воскресенье, а я вызвался проводить его назад до Шайенна.

Когда после короткой остановки на станции Гровер поезд вновь тронулся, мы сидели и мирно курили, глядя, как появившийся на небе бледно-желтый диск луны заливает голые серые равнины нежным лимонным светом. Мелькали телеграфные столбы, расчерчивая небо точно нотную тетрадь, и звезды между линейками проводов казались нотами безумной симфонии. Тихая ночь, безлюдье пустынных равнин — все настраивало на таинственный лад. Так вот, мы только что отъехали от станции Гровер, а гроверского станционного смотрителя убили минувшей зимой, и с тех пор на линии только и разговоров было что об этом убийстве — каждый строил догадки и высказывал предположения. Роджерс был лучшим другом убитого смотрителя, и считалось, что он знает об этом происшествии больше, чем кто-либо, но если он и знал, то помалкивал, мы ведь недаром прозвали его Тихоней — из него вечно слова не вытянешь. И даже многоопытный репортер нью-йоркской газеты, проехав полконтинента с единственной целью — выудить у Роджерса какие-то подробности, в конце

концов понял, что зря тратит время. Но мы-то с Роджерсом не чужие друг другу — вместе сидели на студенческой скамье; а с тех пор, как я начал копаться в известковых породах вблизи Стерлинга, у нас как-то само собой вошло в привычку разговаривать по душам: всегда приятно встретить знакомое лицо в чужом краю. Поэтому когда красный гроверский станционный домишко растаял вдали, я взял да и спросил напрямик, что известно ему об убийстве Лоренса О'Тула. Прежде чем ответить, Роджерс глубоко затянулся из своей вересковой трубки с черным мундштуком.

«Ну ладно. Расскажу тебе, как было дело, вопрос только в том, поверишь ли ты, а если да, сумеешь ли удержаться и не доложить об этом в Общество психических исследований[87]. До сих пор мой рассказ слышал один-единственный человек, наш начальник участка — солидный джентльмен, в годах… Так он под конец спросил меня, не пью ли я, часом, и посоветовал мне держать рот на замке, заметив, что буйное воображение — большая помеха в работе железнодорожного служащего. История и вправду жуткая, а мы ведь не любим напоминаний о том, что известные нам

[87] Сноски: 87
См. примеч. на с. 266.

философские системы не могут всего объяснить ни про земную, ни про загробную жизнь. Но я, пожалуй, не против поведать эту историю человеку, который взглянул бы на нее беспристрастно и помог мне раз и навсегда списать ее в разряд обычных происшествий, где ей и полагается быть. Мне самому стало бы спокойнее, да и просто интересно узнать мнение человека с научным складом ума. Но лучше я начну с самого начала, с танцев, которые послужили прологом трагедии, точь-в-точь как в какой-нибудь пьесе. Я и раньше замечал, что Судьба не лишена художественного чутья и часто прибегает к испытанному приему контраста, чтобы сделать спектакль интереснее для нас.

Было утро тридцать первого декабря, вечером должен был состояться бал в честь вступления в должность нового губернатора, и я пораньше пришел на службу, зная, что впереди у меня трудный день, а я ведь тоже собирался на бал и хотел к шести свернуть работу. Не успел я отпереть дверь, как услышал, что по радиотелеграфу кто-то вызывает Шайенн, и кинулся к аппарату. Оказалось, это Лоренс О'Тул из Гровера: он сообщил, что приедет дополнительным поездом, прибывающим в Шайенн в девять вечера, и по-

просил меня зайти к мисс Мастерсон и передать ей приглашение пойти с ним на бал. Еще накануне он не был уверен, что сумеет вырваться: последний поезд на Шайенн, согласно расписанию, отходит из Гровера в 5:45 пополудни, но в 7:30 через Гровер проходит состав в противоположном, восточном, направлении, и диспетчер отказывался отпустить его раньше этого часа: вдруг поступят какие-то срочные распоряжения насчет этого семичасового, поди знай наперед. Поэтому Ларри не мог заранее сговориться с мисс Мастерсон — боялся ее подвести, пока не получил сообщение о дополнительном поезде.

Я позвонил мисс Мастерсон по телефону и передал приглашение Ларри. Она сказала, что уже обещала пойти на танцы с мистером Фреймарком, но — прибавила она со смехом — Ларри у нее вне конкуренции, остальные не в счет.

Около двенадцати ко мне на службу заявился Фреймарк, подозреваю, неспроста: должно быть, выведал что-то у мисс Мастерсон. Пока он топтался в кассе, Ларри опять вышел со мной на связь — сказать, что цветы для Хелен доставят из Денвера на пятичасовом пассажирском компании „Юнион Пасифик“, и попросил меня проследить, чтобы их незамедлительно отвезли к ней домой;

кроме того, вечером мне надлежало пойти к ней, на случай если дополнительный поезд будет опаздывать. Фреймарк, ясное дело, навострил уши и, когда аппарат замолчал, сказал с какой-то ленивой гадкой улыбочкой:

— Спасибо. Я узнал все, что хотел. — И сразу вышел.

Лоренс О'Тул был моим предшественником на месте кассира в Шайенне. И наверное, теперь, когда он лежит в земле, мне следует кое-что объяснить про него, хотя, пока он не покинул мир живых, он сам, всем своим существом объяснял себя лучше, чем любой другой, кого я встречал где бы то ни было, на Востоке или на Западе. А я немало мотался по стране, с тех пор как бросил Принстон, и обнаружил, что на свете много хороших людей, но очень немногие могут сравниться с Ларри. На нашем участке пути он был всеобщий любимец, и в моих словах нет ни малейшей натяжки. Удивительная способность располагать к себе — прямо божий дар! Работу на железной дороге он начал с подручных станционного смотрителя в Стерлинге, еще мальчишкой, только-только эмигрировав из Ирландии, без доллара в кармане, без друзей и родных — выручали его лишь смекалка да внешность. Лицо у него было

как вексель на предъявителя, с которым можно смело идти в любой банк — отказа не будет.

Фреймарк в то время работал кассиром в Шайенне, но в компании заподозрили, что он нечист на руку, и, когда Ларри по долгу службы выпало его разоблачить, он сделал это без колебаний. В результате Фреймарка уволили, а кассиром на его место взяли Ларри. Естественно, с тех пор они друг друга не жаловали, а тут еще Хелен Мастерсон, как нарочно, влюбилась в Ларри, тогда как Фреймарк имел на нее виды и верил в свой успех. Я сомневаюсь, чтобы мисс Мастерсон могла увлечься этим мерзавцем, но он определенно был не такой, как все, и она тоже была не как все, вот и считала его по-своему интересным типом.

Отец ее, Джон Дж. Мастерсон, не раз избирался сенатором от штата Вайоминг, так что в юности Хелен жила в Вашингтоне и училась в Уэлсли[88]. Шайенн навевал на нее скуку. Усвоив вашингтонские замашки, она готова была простить все, кроме глупости, а Фреймарк был далеко не глуп.

---

[88] Сноски: 88

Имеется в виду Уэлсли-колледж — престижное высшее учебное заведение для женщин (открыто в 1875 г.) в городке Уэлсли, штат Массачусетс.

Он выдавал себя за эльзасского еврея[89], живал в Париже, объездил чуть не весь свет и свободно говорил на основных европейских языках. Изжелта-бледный, невзрачный, щуплый, хоть и жилистый, он выглядел так, будто его нарочно высушивали в пекле тропиков, пока не остались только кожа да кости. Двигался он легко и ловко, точно кошка, с какой-то особенной, вороватой грацией. Глаза у него были маленькие, черные, как две блестящие бусины; волосы густые, жесткие, совершенно прямые, иссиня-черные, с каким-то даже фиолетовым отливом — он всегда разделял их пробором строго посередине и гладко зачесывал за уши. На его желтоватом лице выделялись чересчур — непристойно — красные губы, смыкавшиеся над белыми ровными зубами. Руки, за которыми он тщательно ухаживал, были желтые, морщинистые — руки старика, с бледными, словно увядшими и усохшими, кончиками пальцев, хотя навряд ли ему было много за тридцать. В общем, если коротко, странный тип, странный и неприятный. Рядом с ним ты поневоле чувствовал, что в его прошлом, или настоящем, или в

[89] Сноски: 89

После франко-прусской войны 1870–1871 гг. Эльзас был передан Германии. *Эльзасский еврей* — возможно, аллюзия на дело Дрейфуса: громкий шпионский скандал разразился в 1894 г.

самой его судьбе таится нечто, обособляющее его от всех прочих. Одевался он с отменным вкусом, правила вежливости соблюдал неукоснительно, фамильярности ни с кем себе не позволял. Потеряв работу в железнодорожной компании, он занялся торговлей скотом и вошел в долю с владельцем овечьего ранчо в десяти милях от города, но почти все время проводил в Шайенне, за карточными столами. Он был заядлый игрок, один из тех редких людей, кто умеет превратить свою неутолимую страсть в прибыльное дело.

Примерно за неделю до танцев родственник Ларри по имени Гарри Бернс, работавший репортером лондонской „Таймс“, остановился в Шайенне проездом в Сан-Франциско, и Ларри приехал повидаться с ним. Мы повели Бернса в клуб, и я заметил, что он как-то странно воспринял появление там Фреймарка. Потом Бернс уехал в Гровер, чтобы провести еще день с Ларри, а в субботу Ларри телеграфировал мне — мол, приезжай в воскресенье, есть что рассказать.

Я и поехал. Суть его сообщения заключалась в том, что Фреймарк — действуя под другим именем — был замешан в одном отвратительном лондонском скандале, а Бернс как раз освещал подобные истории и раскрыл всю подноготную

Фреймарка. Тот действительно вырос в Париже, но в его жилах не было ни капли еврейской крови и предки его принадлежали к народу еще более древнему, чем израильский. Отец Фреймарка, французский военный, в годы службы на Востоке купил себе рабыню-китаянку, со временем привязался к ней и сделал ее своей женой, а когда она умерла, вместе с сыном вернулся в Европу. Поступив на гражданскую службу, он занимал ряд незначительных чиновничьих должностей в столице, где его сын и получил образование. Честолюбивый мальчик стыдился своей азиатской крови и после того, как его не приняли в какой-то клуб, уехал из Франции в Лондон и начал промышлять разными сомнительными делишками, а заодно прибавил к своему имени еврейское „родовое“ имя, призванное объяснить его восточные черты и цвет кожи. Теперь мне все стало понятно. Понятно, почему руки у Фреймарка как у столетнего старца. В его жилы проникла вялая, как у амфибии, кровь народа, который успел состариться, еще когда Иаков пас стада Лавана на холмах арамейских[90], народа, который был завернут в саван прежде, чем Европа — в

[90] Сноски: 90
Быт. 28.

детские пеленки.

Конечно, перед нами сразу встал вопрос, как правильно распорядиться полученными от Бернса сведениями. Шайеннские клубы довольно демократичны, но я почти уверен, что в цивилизованном мире вы не найдете места — за исключением, может быть, лондонского Уайтчепела[91], — где китайцу с замаранной репутацией не указали бы на дверь. Так или иначе, одно было ясно: нужно немедленно известить мисс Мастерсон.

— Хотя нет, — вдруг передумал Ларри, — наверное, лучше я сам ей скажу. Это надо преподнести легко и непринужденно, чтобы ее самолюбие не слишком пострадало. А не так, что я, дескать, за себя не ручаюсь и, попадись он мне на глаза, прямо в лицо назову его подонком.

Но вернусь к тридцать первому декабря и подготовке к танцам. Помню, я все гадал, не планирует ли Ларри задержаться в Шайенне, чтобы поговорить с мисс Мастерсон на следующий день, — не станет же он портить девушке праздник неприятным известием!

---

[91] Сноски: 91

Уайтчепел — исторический район в Ист-Энде; в XIX в. — самый густонаселенный и неблагополучный во всем Лондоне, прибежище бедноты и иммигрантов, рассадник преступности.

Вечером я пораньше оделся и к девяти пошел на станцию встретить Ларри. Дополнительный состав прибыл, Ларри — нет. Я спросил Коннелли, проводника, не видал ли он где О'Тула, но тот сказал, что не видал: станция в Гровере была открыта, когда он проезжал мимо, но он не получал распоряжений, что там нужно кого-то забрать, и поезд прошел без остановки; должно быть, О'Тул уехал в Шайенн на сто пятьдесят третьем. Я вернулся в контору и спешно вызвал по радиотелеграфу Гровер, но мой вызов остался без ответа. Тогда я основательно уселся за аппарат и в течение пятнадцати минут непрерывно пытался связаться с Гровером. По-прежнему безуспешно. Я хотел пойти разыскать проводника со сто пятьдесят третьего пассажирского, который проходит через Гровер в пять тридцать пополудни, и спросить у него про Ларри, но на часах было девять сорок пять, и я понимал, что мисс Мастерсон уже заждалась, поэтому я схватил извозчика и велел гнать что есть духу. По пути к дому Мастерсонов я пытался придумать что-нибудь правдоподобное. Я сам не знал, как объяснить отсутствие О'Тула, но сейчас важно было найти объяснение для мисс Мастерсон, и такое, которое не встревожило бы ее и не обидело. Сказать ей, что он уже не при-

едет, я не мог — а вдруг он объявится? И я решил соврать, что дополнительный поезд опаздывает и, когда он придет в Шайенн, неизвестно.

Мисс Мастерсон была необыкновенная красавица, это во-первых, и жизнь ее баловала, это во-вторых. При всей моей любви к Ларри я иногда спрашивал себя, отважится ли девушка, привыкшая к столь обеспеченному и независимому существованию, связать свою жизнь с простым железнодорожным служащим, который стоит на одной из нижних ступеней очень длинной и крутой карьерной лестницы.

Услышав, что кто-то вошел, она начала спускаться вниз. На ней было одно из ее вечерних парижских платьев (такие наряды для шайеннских светских репортеров прямо как манна небесная), в руках охапка роз сорта „Американская красавица“, глаза блестят, на щеках играет румянец. Я сразу обратил внимание на розы, хотя не знал тогда, что это последний привет от моего друга своей возлюбленной. На середине лестницы она остановилась, посмотрела на меня, потом бросила взгляд поверх моей головы на гостиную, и ее глаза вновь вернулись ко мне с немым вопросом. Я неуклюже ознакомил ее с заготовленным объяснением, она сказала: „Спасибо, что зашли

за мной“, но не сумела скрыть своего разочарования и едва посмотрелась в зеркало, когда я надел накидку ей на плечи.

Совместная поездка до Капитолия не доставила мне удовольствия. Мисс Мастерсон изо всех сил бодрилась и старалась поддерживать разговор, но я даже ради приличия не мог сосредоточиться на ее словах. Однако как только мы вошли в зал заседаний палаты представителей, в тот вечер отведенный под танцы, стало намного легче: к ней со всех сторон устремились желающие ангажировать ее, к тому же она встретила подружек, приехавших из Хелены и Ларами[92], так что я мог считать свою миссию исполненной.

Не жди от меня красочного рассказа о том, что представляет собой губернаторский бал в Вайоминге. Я не умею говорить о таких вещах, да и бал этот имеет лишь косвенное отношение к моей истории. Танцы следовали один за другим, а Ларри все не было. Мои несколько танцев с мисс Мастерсон обернулись сущей пыткой. Она забрасывала меня вопросами и ловила на несуразностях, а когда я вконец запутался в своем вранье, начала возмущаться. Фреймарк появился

---

[92] Сноски: 92

Хелена — столица штата Монтана, граничащего на юге с Вайомингом; *Ларами* — город в штате Вайоминг.

с большим опозданием, должно быть уже за полночь, — задержали дела на ранчо, пояснил он, галантно раскланиваясь и лучезарно улыбаясь. Он был необычайно весел и непременно желал пожать мне руку, хотя я всегда избегал прикасаться к его холодным липким рукам. Он постоянно вился вокруг мисс Мастерсон, а она держалась с ним подчеркнуто любезно. При сложившихся обстоятельствах я не мог винить ее, но меня это раздражало, и мне не стыдно признаться, что я в каком-то смысле шпионил за ними. Когда они вышли на балкон, я услышал, как он сказал:

— Видите, я простил вам сегодняшнее утро.

На что она довольно холодно заметила:

— Ну, прощать — это у вас в природе. Однако, чтобы мы были квиты, я тоже, пожалуй, прощу. Так будет удобнее.

И тогда он медленно, с какой-то двусмысленной интонацией (я так и видел, как он выпячивает свои непристойно красные губы) произнес:

— Если я могу научить вас прощать, не научу ли еще и забывать? Мне кажется, я сумел бы. Как бы то ни было, эту ночь вы запомните!

Rappelle-toi, lorsque les destinées

M'auront de toi pour jamais séparé[93].

Они вернулись в зал, и я увидел, как он опустил в карман одну из красных роз Ларри.

Первый удар, возвестивший трагедию, пробил на часах судьбы ближе к концу бала. А какое веселье царило кругом! В колышущемся море музыки, смеха, цветов я почти забыл о своем беспокойстве. Оркестр играл вальс, протяжная сладкая музыка ласкала слух, как нежный напев флейты. Фреймарк танцевал с Хелен. Но я в тот раз не танцевал и внезапно заметил какой-то переполох среди официантов, которые наблюдали за вальсирующими, сгрудившись возле дверей. В эти-то двери и ворвался черный спаниель Ларри по кличке Дюк — морда вся в пене, из раненого бока течет кровь… Проскочив мимо официантов, пес выбежал на середину зала и попытался схватить Фреймарка за ноги — с таким отчаянным, жалобным воем, что даже шум праздника не мог заглушить громкий голос беды. Фреймарк обернулся, лицо его позеленело от злобы, он издал какой-то гневный возглас и со всей силы пнул

[93] Сноски: 93

Из стихотворения Альфреда де Мюссе «Rappelle-toi» — «Вспомни обо мне»: «Ты вспомни обо мне, когда по воле рока / Нам будет суждено расстаться навсегда» (перев. А. Смирнова-Аргунина). Стихотворение вошло в сборник «Новые стихи. 1836–1852».

раненое животное, отправив его скользить по навощенному полу. В этой сцене было что-то дьявольски жестокое, бесчеловечное, как будто в ту минуту темная дикарская кровь хлынула наружу сквозь маску европейской цивилизованности, как будто вонючая черная грязь забила фонтаном из безымянного очага смертельной заразы, поражавшей города не знающих Бога варваров. Музыка смолкла, люди в недоумении стали сбиваться в кучки, и тут я поймал обращенный ко мне с немым призывом взгляд Хелен. Я поспешил к ней и, когда оказался рядом, Фреймарк исчез.

— Возьмите извозчика и заберите отсюда Дюка, — сказала она; голос ее дрожал, словно ее бил озноб.

В экипаже она разложила на коленях плед, и я передал ей собаку. Она прижала Дюка к себе и стала поглаживать, успокаивая беднягу.

— Где же Ларри, что все это значит? — спросила она. — И перестаньте водить меня за нос. Один из моих партнеров по танцам приехал на том самом дополнительном поезде.

Я рассказал ей все, что знал, — то немногое, что знал.

— Может быть, он заболел, как думаете?

— Не знаю, что и думать, я в полной растерян-

ности, — ответил я: после появления пса я уже не на шутку встревожился.

Она надолго замолчала, но, когда через равные промежутки времени в экипаж стал проникать свет от электрических уличных фонарей, я увидел, что она сидит, откинувшись на спинку сиденья, с закрытыми глазами, а в шею ей уткнулся песий нос. Наконец она произнесла умоляюще:

— Так-таки совсем ничего не думаете?

Я понимал, что ей страшно, поэтому попытался прогнать ее дурные мысли легковесными предположениями: возможно, ничего серьезного, какая-нибудь глупая неувязка, и мы еще вместе посмеемся над этим. Я позвоню ей сразу, как что-то услышу от Ларри, и, скорее всего, повеселю ее забавной историей.

Когда мы подъехали к дому сенатора, шел сильный снег, и, выйдя из экипажа, Хелен заботливо переложила Дюка мне на руки и сама повисла на моей руке. Вид у нее был измученный и расстроенный.

— Не надо понапрасну тревожиться, — сказал я. — Вы же знаете, железнодорожники — народ ненадежный. Обещаю, следующий губернаторский бал пройдет намного лучше: будем

танцевать все трое!

— Следующий губернаторский бал… — повторила она, поднимаясь со мной на крыльцо и глядя, как на ее раскрытую ладонь падают снежинки. — Это так не скоро!

На следующее утро я поздно пришел в контору, и, еще прежде чем попробовал связаться с Гровером, раздался вызов от диспетчера в Холиоке[94], который спросил, не застрял ли Ларри в Шайенне, потому что Гровер не отвечает, а ему надо передать Ларри распоряжения относительно сто пятьдесят первого пассажирского, следующего на восток. Когда я доложил, как обстоят дела, он сказал, что в таком случае лучше мне самому отправиться в Гровер на сто пятьдесят первом, не то потом из-за метели все поезда станут и у нас будут неприятности.

Я отвез Дюка к хирургу-ветеринару, который быстро разобрался с его раной, потом погрузил пса в почтово-багажный вагон и занял свое место в сто пятьдесят первом — с ужасно неприятным, тоскливым ощущением холода где-то в подреберье.

Снег валил всю ночь, потом налетел ветер,

---

[94] Сноски: 94

Холиок — город в штате Массачусетс, на северо-востоке США.

завьюжило, и наш пассажирский продвигался вперед еле-еле.

Наконец мы доползли до Гровера, и мне подумалось, что места глуше и пустыннее я в жизни своей не видывал, и, когда поезд тронулся дальше, оставив меня в этой глухомани, возникло такое чувство, будто я навеки прощаюсь с миром. Ты же знаешь, что представляет собой Гровер: красная коробка станции, „линейный дом“ для путейцев, забаррикадированный угольными сараями, да горстка хибар… Край света — кругом, куда ни глянь, одна пустыня до горизонта. Тогда все постройки были покрыты снегом, который облепил их, точно сырая известка, а запасный путь полностью утонул в сугробе, завалившем станционную дверь. Голая равнина простиралась словно бескрайний белый волнующийся океан: злая вьюга с диким воем взметала, кружила, швыряла во все стороны снежные облака — разгулялась на просторе, не встречая преград от самых Скалистых гор до берегов Миссури.

Я толкнул станционную дверь, обрушив внутрь верхушку сугроба; Дюк уселся на пол возле холодной, нетопленой печи и громко, безутешно заскулил, растравляя мне душу. Спальня Ларри на верхнем этаже была пуста. Внизу никаких сле-

дов беспорядка, вся текущая работа по станции выполнена, и последнее, что успел сделать Ларри, — оформил накладную на вагон с шерстью из ранчо „Оазис“ для бостонской фирмы „Дьюи, Гулд и К°“. Вагон был отправлен в составе сто пятьдесят третьего поезда восточного направления, который ушел из Гровера накануне в семь вечера, следовательно, в этот час Ларри находился на своем рабочем месте. Я скопировал накладную к себе в тетрадь и отправился в линейный дом навести справки.

Бригадир как раз собирался выйти на осмотр пути. В последний раз он видел О’Тула вчера, в пять тридцать пополудни, когда здесь проходил пассажирский в западном направлении; он полагал, что Лари задержался в Шайенне. Тогда я пошел к хозяйке дома, где столовался Ларри, и узнал от нее, что накануне он хотел съесть свой ужин пораньше, в пять, чтобы успеть закончить работу и переодеться. И в пять ее дочка сбегала позвать его к столу. Я с пристрастием расспросил девочку. Она сказала, что на станции с Ларри был незнакомый человек и, хотя она не слышала, о чем они говорили, и Ларри сидел, задрав ноги на плиту и раскачиваясь на стуле, ей подумалось, что они ссорятся. Незнакомец стоял одетый, в

меховом пальто, глаза у него бешено сверкали, ей даже страшно стало. Я спросил, не припомнит ли она еще чего-нибудь, и она припомнила:

— У него очень красные губы.

От этих слов сердце мое захолонуло, как будто в грудь вложили снежный ком, и, когда я снова вышел на улицу, мне показалось, что ледяной ветер продувает меня насквозь. Значит, Фреймарк побывал здесь вчера, устроил сцену, поругался с Ларри и уехал — либо на пассажирском в пять тридцать, либо на дополнительном, — попросив проводника высадить его у ранчо, чтобы в случае чего подтвердить свою версию насчет опоздания на бал.

На часах было пять, но пассажирский, прибывающий в Гровер по расписанию в пять тридцать, шел с двухчасовым отставанием, и мне ничего не оставалось, кроме как сидеть и ждать проводника, который накануне сопровождал семичасовой и должен был видеть Ларри, когда забирал из Гровера вагон с шерстью. Смеркалось, небо сделалось тускло-свинцовым. Снегу намело столько, что крошечный поселок утонул в сугробах, а снег все валил и валил, кругом сплошная белая завеса, на расстоянии вытянутой руки ничего не видно!

Кажется, никогда я не радовался паровозному

свистку так, как в тот день, когда многострадальный сто пятьдесят третий, пыхтя и кряхтя, наконец продрался через снега к станции. Я выбежал на платформу и приветствовал его желтый лобовой фонарь, словно доброго друга. Едва проводник сошел с поезда, я схватил его за рукав, но у него от холода зуб на зуб не попадал. В тепле он рассказал, что прошлым вечером не видел О'Тула, но обнаружил у него на столе накладную на вагон с шерстью и записку с просьбой забрать вагон по-тихому, из чего он заключил, что Ларри уехал в Шайенн пораньше, в пять тридцать. Я тут же связался с конторой в Шайенне и сумел отловить почтового служащего, который накануне ехал в почтово-багажном вагоне дополнительного поезда. В ответ на мой запрос он телеграфировал, что самого Ларри не видал, но, поскольку его пес залез на свое обычное место в почтово-багажном, он считал, что Ларри тоже сел в поезд. Еще он видел, как в Гровере в их поезд садился Фреймарк, а возле ранчо поезд сбавил скорость, чтобы он мог сойти: Фреймарк давно спелся кое с кем из наших и постоянно отгружает в город баранину живым весом.

Когда за окном совсем стемнело, я невольно изумился, как мог такой жизнерадостный,

общительный малый, как О'Тул, целых полгода торчать в Гровере. Метель к тому времени улеглась, и сквозь подгоняемые ветром облака начали проглядывать ярко и холодно мерцавшие звезды. Я надел свое ольстерское пальто и вышел из дому, чтобы внимательно осмотреть все вокруг: прошелся по пустым грузовым вагонам на запасном пути, обследовал угольные сараи и погреб, заглядывая в каждый угол и постоянно окликая Ларри. Бедняга Дюк всюду плелся за мной по пятам, но, похоже, как и я, пребывал в замешательстве — нервно поводил ушами, принюхивался и бестолково тыкался во все стороны, напоминая проштрафившуюся легавую, которая не может поверить, что упустила дичь.

Я ни с чем вернулся на станцию, взял большой железнодорожный фонарь и пошел наверх — еще раз придирчиво оглядеть спальню Ларри. На стене — его рабочая одежда. Тут и там бритвенные принадлежности, на высоком узком комоде с зеркалом комплект „армейских", без ручки, щеток для волос в серебряной оправе — рождественский подарок мисс Мастерсон. Верхний ящик комода выдвинут, в углу — пара белых лайковых перчаток. С полочки для курительных трубок свисает белый галстук-лента,

небрежно смятый, очевидно не устроивший хозяина, который повязал его на шее и тут же снял. На комод брошено несколько чистых, но стареньких носовых платков: по всей видимости, он их один за другим разворачивал и, увидев прореху, отбрасывал, пока не наткнулся на целый. Через спинку стула перекинуто черное шелковое кашне, а цилиндр надет набекрень на голову гипсовому Парнеллу[95], кумиру Ларри. Его вечерний костюм исчез, значит он все-таки переоделся для бала, хотя пальто осталось лежать на чемодане, а танцевальные туфли стояли на полу рядом с повседневными. Я знал, что узкие лакированные туфли ему немного жали, он сам шутил по этому поводу, когда мы виделись с ним в минувшее воскресенье, но других у него не было, да и где в Гровере он бы достал их! Эта деталь заставила меня призадуматься. По части обуви он был весьма разборчив, и всю его коллекцию я давно изучил. Открыв гардероб, я убедился, что все пары стоят на месте. Если я еще мог бы допустить, что он из-за странного предубеждения отказался надеть пальто, представить себе, что

[95] Сноски: 95

Чарльз Стюарт *Парнелл* (1846–1891) — ирландский политический деятель, член британской палаты общин, лидер ирландских националистов в парламенте Великобритании.

он в этакую стужу отправился в путь босиком, я уж никак не мог. Кроме того, докторский саквояж с аптечкой первой помощи (такие используются на пассажирских поездах), которым Ларри по случаю обзавелся в Шайенне, был раскрыт, и рядом валялась обертка от рулона медицинской ваты. Каждая следующая находка только усиливала мое замешательство. Даже если здесь побывал негодяй Фреймарк, даже если он сотворил с моим другом что-то ужасное, где же он спрятал его — погрузил в проходящий поезд? Без ведома поездной бригады такое дело не провернешь.

— Эх, ты, Дюк, — сказал я несчастному спаниелю, который, жалобно скуля, все что-то вынюхивал возле кровати, — никакой от тебя пользы. Ты ведь должен был видеть, что произошло между твоим хозяином и этим азиатским моллюском. Хоть бы как-нибудь намекнул мне!

От безысходности я решил поспать: утро вечера мудренее. Постель выглядела так, словно на ней кто-то лежал, поэтому, прежде чем улечься самому, надо было ее немного взбить. Я снял подушку, поправил матрас и на тиковом чехле в изголовье увидел красное пятно размером с ладонь. Меня прошиб холодный пот, и я чуть не выронил фонарь, пока донес его до стула у кровати. Однако

Дюк опередил меня. Увидев пятно, он запрыгнул на кровать и принялся его обнюхивать, скуля и визжа при этом так, словно его избивали до полусмерти. Я нагнулся и потрогал пятно: засохшая кровь, без сомнения, — и по цвету, и на ощупь. Снова надев жилет и пиджак, я сбежал вниз. Дюк с визгом кинулся следом. Первым моим инстинктивным желанием, когда я выскочил на платформу, было поскорее позвать кого-нибудь, но в поселке не горел ни один огонек, ну а что путейцы в линейном доме давно спят, я даже не сомневался. Потом я вспомнил: здесь, из-за приличной высоты над уровнем моря, у Ларри частенько шла кровь из носа. Однако для моих расходившихся нервов это было слабое утешение — теперь я ни за что не лег бы спать в его постель.

Ларри всегда держал в доме бренди и содовую. Я смешал себе напиток покрепче, подбросил дров в печку, прикрутил фонарь и улегся внизу на рабочем столе — мне было не привыкать, как и всякому, кто работал ночным дежурным по станции. Дюк долго не давал мне уснуть: то и дело вскакивал, хромая, шлепал к двери и начинал скрестись в нее, истерически взвизгивая. Так продолжалось, пока он не вывел меня из себя. Хотя по

натуре я отнюдь не слабонервный, в ту ночь ни за какие деньги не согласился бы открыть дверь. Стоило мне приблизиться к ней, как внутри все холодело, я даже задвинул огромный ржавый засов, которым никогда не пользовались, и мне почудилось, будто он издал тяжкий стон (вполне вероятно, то выл и стенал снаружи ветер). Дюку я пригрозил, что вышвырну его вон, и хорошенько оттаскал скандалиста за уши; он разобиделся и улегся молча у порога: морда между лапами, глаза, прикованные к щели под дверью, светятся в темноте как горящие угольки. Безрадостная ситуация, что и говорить, но спиртное сделало свое дело, и в конце концов я уснул.

Часа в три ночи меня разбудил сдавленный, протяжный, жалобный и невероятно человеческий плач Дюка. Пока я, не проснувшись еще окончательно, моргал и щурился, до моих ушей донесся и другой звук — скрип мела по грифельной доске. Я повернул голову и увидел стоявшего спиной ко мне человека, который что-то писал на доске для заметок. Широкие прямые плечи, красивая голова — одного взгляда было достаточно, чтобы признать в нем моего пропавшего друга. Однако что-то в его фигуре не позволило мне окликнуть его, и я лежал затаив дыхание. Допи-

сав, он выронил мел — я отчетливо слышал, как твердый обломок стукнулся об пол. Насколько я мог судить по его движениям, он вытер пальцы, а потом повернулся ко мне лицом, левой рукой прикрывая рот. В мягком свете притушенного фонаря я видел его очень ясно. На нем был вечерний костюм и черные шелковые носки без туфель. Тихо, как тень, он двинулся к двери. В его движениях ощущалась неестественная скованность, словно руки и ноги у него окоченели. Лицо было белое как мел, волосы казались влажными, слипшимися на висках. Глаза — два пятна бесцветного желе, тусклые, точно свинец, — смотрели прямо перед собой. Подойдя к двери, он отнял руку ото рта, чтобы поднять щеколду. И я увидел его лицо: нижняя челюсть отвисла, подбородок упирался в жесткий воротничок, рот был широко разинут и *весь забит ватой*! Я понял, что вижу лицо мертвеца.

Дверь отворилась, и черная скованная фигура в одних носках беззвучно, как кошка, выскользнула в ночь. И тут у меня, видимо, ум за разум зашел: я ринулся из дому и стал бегать туда-сюда с криками „Ларри! Ларри!“, пока не услышал свой зов в шуме ветра. Небо было усыпано мириадами звезд, и снег искрился в их лучах, но я не

видел ничего, кроме бескрайней белой равнины — сплошь белой, без единого темного силуэта. Не помню, как я вернулся в дом. Дюк неподвижно лежал у порога. Я упал на колени возле него и без конца повторял „Дюк, Дюк!“, но он не слышал меня. Они ушли вместе, хозяин и его собака. Я оттащил спаниеля в угол и полотенцем закрыл ему морду — глаза его сделались бесцветными и тусклыми, как глаза на том страшном лице, когда-то столь мне дорогом».

— О грифельной доске? Нет, не забыл. Накануне вечером я мелом записал на ней время прибытия грузопассажирского — просто по привычке, потому что отмечать время прохождения поездов через такие незначительные полустанки, как Гровер, в общем, не принято. Моя запись была стерта чьей-то мокрой рукой — я отчетливо видел следы от пальцев — и поверх голубым мелом было написано:

Ч. Б. и К. 26387

Только и всего. Я сидел, уставившись на доску, вслух размышлял и пил виски, пока эти голубые знаки не начали прыгать перед глазами вверх-вниз, как на «движущихся» картинках

волшебного фонаря. Я допился до того, что с меня полил пот в три ручья, зубы застучали, а желудок грозился вывернуть все обратно. Потом наконец мне в голову пришла одна идея. Я сорвал с крюка накладную: вагон с шерстью, который отбыл из Гровера в Бостон тем злосчастным вечером, имел номер 26387.

Не знаю, как я провел остаток ночи, знаю только, что наутро, когда над белой пустыней взошло красное гневное солнце, бригадир путейцев застал меня сидящим у печки при свете ярко горящего фонаря с пустой бутылкой из-под бренди и единственной мыслью в голове — что грузовой вагон номер 26387 нужно немедленно задержать и вскрыть: тогда все каким-то образом объяснится.

По моим расчетам, вагон можно было перехватить в Омахе[96]. Я телеграфировал тамошнему диспетчеру по грузоперевозкам и попросил тщательно все осмотреть и срочно доложить, если обнаружится что-то необычное. Вечером я получил телеграмму: в конце вагона под мешком

---

[96] Сноски: 96

Омаха — город в штате Небраска, на западе граничащем с Вайомингом. Рассказчик догадался, что запись «Ч. Б. и К.» означает название железнодорожной компании «Чикаго, Берлингтон и Куинси», владевшей одноименной железной дорогой на Среднем Западе США.

с шерстью найден труп мужчины в вечернем костюме; в кармане смокинга — приглашение на губернаторский бал и веер. Я сразу отстучал в ответ, чтобы тело не трогали до моего прибытия, и отправился в Омаху. Но прежде успел получить сообщение из конторы в Шайенне, что Фреймарк выехал из города куда-то на запад, на поезде компании «Юнион Пасифик». К слову сказать, детективы компании так и не смогли напасть на его след.

Что ж, теперь картина прояснилась. Фреймарк, в недавнем прошлом железнодорожник, спрятал тело в грузовом вагоне, который сам же и опечатал, затем выписал накладную и оставил записку с распоряжением для проводника. Будучи сыном народа без совести и сантиментов и человеком, чьи черные дела едва ли не чернее его поганой родословной, он преспокойно сел на дополнительный поезд, явился на бал и танцевал с мисс Мастерсон, когда кровь убитого еще не обсохла на его руках!

В последний раз мне довелось увидеть Ларри О'Тула в Омахе, в морге. На нем был вечерний костюм и черные шелковые носки, как и во время нашей встречи в Гровере сорок восемь часов назад. В кармане у него лежал веер Хелен

Мастерсон. Рот его был широко раскрыт и весь забит ватой.

Его убили выстрелом в рот, пуля застряла между третьим и четвертым позвонками. Сильного кровотечения не было, а то, что было, впитала вата. Ссора случилась около пяти часов пополудни. После раннего ужина Ларри переоделся для выхода (оставалось надеть только туфли) и прилег вздремнуть в полной уверенности, что его вовремя разбудит свисток дополнительного поезда. Фреймарк незаметно вернулся на станцию и застрелил спящего, а потом спрятал труп в вагоне с шерстью, который, если бы не моя телеграмма, еще несколько недель стоял бы нераспечатанный.

Вот и вся история. Мне нечего добавить, кроме одной детали, о которой я не стал упоминать в разговоре с начальником участка. Прощаясь с другом, прежде чем передать его тело коронеру и гробовщикам, я приподнял его правую руку, чтобы снять кольцо, подаренное ему мисс Мастерсон, и увидел на кончиках пальцев следы голубого мела.

Бесси Киффин-Тейлор

Ветер в лесу

Перевод А. Волкова

Сказать, что я был художником, значило бы присвоить слишком громкое имя, однако мои дни протекали в попытках, иногда удачных, что-нибудь изобразить — но только не людей! Я никогда не брался за портреты, поскольку человеческие лица гораздо чаще раздражали меня, нежели интересовали — девять из десяти несли на себе столь усталое, столь утомленное выражение, словно бы, поглощенные гонкой за барышами или удовольствиями, эти люди потеряли из виду все, что приводит к отдохновению или спокойствию; я не имел желания изображать что-либо подобное, равно как не хотел, чтобы они являлись ко мне позировать в своих лучших нарядах, с натянутой улыбкой, — ведь ничего другого я от них не ожидал.

По счастью, мое благосостояние не зависело от кисти и карандаша, хотя, не скрою, они приносили мне приличный доход; но мне всегда было радостно сознавать, что если у меня не возникнет охоты к художеству, то мне не придется зани-

маться им через силу, поскольку я буду иметь пропитание независимо от того, заработаю на него или нет.

Мне принадлежала уютная квартира в Лондоне. То была моя надежная гавань, где меня опекала и пестовала престарелая служанка, женщина почтенного возраста, давний друг и помощник моей семьи, теперь, на склоне лет, ставшая моим фактотумом; твердой рукой управляла она моей маленькой вотчиной, а время от времени и мной самим, упорно не желая признавать, что я уже взрослый, и столь же ревностно заботясь о том, чтобы сменить мне носки в сырую погоду, как и в те времена, когда мне было девять или десять лет. Ее звали Мерри — миссис Мерри. Детьми мы все ее обожали; достигнув средних лет, я взирал на нее с почтением и всегда с радостью обращался к ней за советом по многим насущным вопросам.

Миссис Мерри вполне привыкла к моему богемному образу жизни, хотя порой и заводила разговор, что я стал бы гораздо счастливее, если бы обзавелся женой и остепенился. В ответ я лишь смеялся, поскольку моя единственная история любви была глубоко погребена под пыльной грудой всякой позабытой рухляди из прошлого; а при одном слове «остепениться» холодок про-

бегал у меня по спине — ведь «остепениться» значило бы отринуть все, чем я так дорожил. Ни тебе сорваться с места, когда заблагорассудится, ни вернуться домой в любой день или час, полностью уверенным в благожелательном приеме, равно как и в отсутствии расспросов о том, чем я занимался. Миссис Мерри *никогда* на задавала вопросов, хотя всегда с удовольствием слушала, если я сам рассказывал, где был и что делал. Иногда я возвращался с набросками, которые показывал ей, но чаще возвращался без них; в любом случае она была убеждена в моих талантах и способностях, и ее верность и преданность оставались неколебимыми.

Однажды в начале июля меня внезапно потянуло к деревьям, рекам и зелени; я оставил картину, над которой работал, позвал миссис Мерри и попросил как можно быстрее собрать мне в дорогу саквояж. Старушка пристально взглянула на меня и заметила:

— Вы не выглядите больным!

В ответ я усмехнулся.

— Я вполне здоров, но в городе слишком жарко; а еще я чувствую, что какое-то время мне нужно видеть вокруг себя деревья, а не людей.

— Полагаю, сэр, тогда вам потребуются доброт-

ные ботинки и брюки, — откликнулась она.

— Именно так, любезная Мерри, а еще — побольше трубок, табаку, книг и трость в придачу. Возможно, я буду делать наброски, а возможно, и нет; так или иначе, ожидайте моего возвращения через месяц, считая с завтрашнего дня, — конечно, если я не пришлю весточку; если же по прошествии этого срока я не дам о себе знать, — со смехом добавил я, — кое-кому придется взяться за поиски.

— Как бы мне хотелось, чтобы вы остепенились, мистер Уилфред, — бросила старушка напоследок, отправляясь выполнять мои распоряжения.

«Остепенились... — подумал я, набивая старую испытанную бриаровую трубку, — вот уж никогда». Но тут мои мысли возвратились к тем радостным дням, когда я и милая черноглазая девушка, чья белокурая головка едва достигала моего плеча, в вечерних сумерках рассуждали, каким должен быть домашний очаг. Если бы она отошла в мир иной, я бы перенес это легче, нежели историю об измене и вероломстве, подошедшую к финалу, когда в тот самый день, на который было назначено наше бракосочетание, моя черноглазая возлюбленная порвала со мной, просто известив меня по телеграфу, что тем же

утром, в Лондоне, вышла замуж за моего лучшего приятеля, Кирка Комптона.

Неприятности подобного рода либо толкают человека к пороку — то есть пьянству, азартным играм, всяческим сумасбродствам и разгулу, что якобы должно принести забвение, либо вынуждают уйти в себя и начать более или менее уединенную жизнь, наполняя досуг книгами и хобби, опасаясь заводить друзей — из страха перед новым предательством; вера в добро рушится, и в лучшем случае лишь много лет спустя человек находит себя и осознает, что жизнь не ограничивается так называемой любовью к какой-нибудь девице. Поэтому, не имея тяги к выпивке или картам, я сделался кем-то вроде затворника. У меня было несколько приятелей; я имел репутацию доброго малого, но циника, и постепенно оказался предоставлен самому себе. Шли годы; я с радостью сознавал, что мне вполне хватает моих книг и художественных занятий, а моя пылкая любовь к природе благополучно исцелила рану, и я был вполне доволен жизнью.

В тот самый день, когда я на целый месяц отправлялся в Уэльс, я проснулся к утреннему чаю, и с большого календаря на меня смотрело 20 июля.

Нет смысла держать в секрете, куда я направился; однако ограничусь упоминанием, что своим прибежищем я избрал местность, которая у всех на слуху, в часе пути от крупного промышленного города; стало быть, могут найтись люди, способные узнать и в точности определить эту местность, если я не ограничусь простым намеком на ее географическое расположение. Этот уголок я облюбовал много лет назад; его окружают холмы, не столь крутые, чтобы на них нельзя было подняться пешком; они поросли вереском, среди которого тут и там попадаются островки высокой травы и золотистого папоротника; про себя я называю их «добрыми холмами» — они хоть и достаточно высоки, чтобы вознести человека над мелкими жизненными неурядицами, но все-таки не настолько, чтобы внушать благоговейный страх или сурово взирать на нас, жалких смертных. В тамошних ручьях после дождя хорошо ловится рыба, а в сухую погоду можно разглядывать камни, покрывающие их русло, и прикидывать, где найдет убежище форель после следующего дождя; лично я охотно верю, что когда-то рыба там водилась в изобилии, но в голодные годы фермерам приходилось вылавливать ее со всем возможным усердием.

Пожалуй, главная прелесть этой местности состояла в ее лесах, обширных и богатых различными породами деревьев, — по крайней мере, именно они были тем магнитом, который притягивал меня сюда раз или два в год.

На склонах холмов леса словно перетекали один в другой, постоянно являя взору свежую красоту деревьев — от нежно-зеленой молодой березы до маститого замшелого бука или стародавнего дуба; под их зелеными ветвями землю покрывали мягкий мелкорослый чабрец, дикая мята и всевозможные маленькие цветочки, чьи названия мне неизвестны. Большую часть времени я проводил в глубине этих лесов, которые никогда не переставали завораживать меня постоянной игрой света и тени.

Внизу, ближе к реке, тоже был лес, но совсем иного рода; там вздымались высокие угрюмые сосны, и каждая словно говорила: «Дайте мне дотянуться до синего неба и оставить сумрак этого леса внизу, под собой». Да, там стоял сумрак, но я любил этот сумрак; иногда, в жаркий летний день, я любил прилечь на мягкую сухую подстилку из сосновой хвои, внимая кроткому воркованию лесных голубей в гнезде высоко надо мной. «Безмолвный Лес», как называл я его, все-

гда служил преградой для ветра, поскольку сосны росли близко друг к другу, и, за исключением нежных вздохов ветра среди древесных вершин, я не припомню, чтобы чувствовал хотя бы дуновение. Солнце редко проникало в Безмолвный Лес, разве что среди сосен проглядывал одинокий проблеск или свет ложился на какую-нибудь прогалину, где упало или было срублено дерево; но и без солнца в лесу всегда было тепло и сухо.

С одной стороны лес ограничивала дорога, с другой — ручей, по крайней мере осенью и зимой, поскольку летом он пересыхал или исчезал под землей, выбираясь наружу примерно через милю, будто проваливался в какую-то старую шахту, а потом менял направление и опять выходил на поверхность.

Безмолвный Лес *не был* моим любимым местом, но он обладал своим очарованием, которое трудно описать; в то июльское утро, когда я попрощался с милой старой Мерри и пустился в путь, Безмолвный Лес занимал почти все мои мысли, представляясь тихим местом, где хорошо будет передохнуть, прежде чем я отправлюсь в более длительные прогулки по холмам или задумаюсь, не прихватить ли с собой холст и краски.

Дорога оказалась долгой, к тому же удушающе

жаркой, пыльной и утомительной; со мной ехало много народу, и мое купе было набито разными свертками и коробками, а также людьми, поэтому последнюю пересадку я встретил со вздохом облегчения, предвкушая, что скоро окажусь в окружении холмов и деревьев, которые придут на смену столь надоевшим кирпичам и известке.

На станции меня встретила расшатанная повозка, запряженная упитанным валлийским пони; оттуда мы добрых четыре мили ползли по косогору и наконец прибыли к моему излюбленному местечку, старой ферме, где меня неизменно привечали и отводили в мое распоряжение две уютные комнаты. В моей памяти надолго останется умиротворенность того первого вечера. Оглядеться по сторонам, видя вокруг лишь холмы, поля, деревья и небеса вместо домов, дымоходов, автомобилей и людей, было для меня чистейшей радостью; когда же после нехитрой трапезы я закурил трубку, мне захотелось подольше задержаться среди этого теплого, пропахшего сеном воздуха.

Есть те, кому страшно даже помыслить о таком отдыхе, который, как я думал, предстоял мне, те, для кого уединение и природа означают скуку и утомление; подобные натуры внушают мне

жалость, ибо они сами не ведают, чего лишают себя.

Ночь я провел в блаженном спокойствии и проснулся рано, предвкушая долгий день, наполненный золотым солнечным светом. Я еще никогда не приезжал сюда в июле; привычным для меня временем были начало весны или сентябрь; но оказаться здесь в июле, среди лучезарного тепла и красоты, стало для меня наслаждением, которым я готовился упиться сполна.

Дни протекали один за другим в почти полной праздности, и целая неделя миновала почти незаметно, поскольку календарей поблизости не имелось, а я слишком часто забывал завести часы — ведь у меня не было нужды в точном времени. Я ел, когда чувствовал голод, и ложился спать, когда уставал; но к концу недели я начал задумываться о кисти и холсте, поэтому, положив ланч в карман и понадеявшись, что если мне вдруг захочется выпить чаю, то такой случай представится, я приготовился провести целый день за этюдами.

— Куда направляетесь, сэр? — спросила меня хозяйка, полагаю, скорее из вежливости, нежели из действительного интереса к моим передвижениям.

— И сам не знаю, — откликнулся я. — Наверное, пойду бродить по лесу.

— По которому, сэр? — был ее следующий вопрос, которому я слегка удивился.

— Пожалуй, по самому дремучему, — улыбнулся я в ответ. — Тот, внизу, где сосны и тишина, сегодня привлекает меня больше всего.

— Но ведь лес тем приятнее, чем выше он растет, сэр, вы не считаете? — заметила она.

— Не считаю, — сказал я. — Я люблю сосновые леса, в них всегда так тихо; сегодня ветреная погода, а там воздух даже не шелохнется.

— И правда, сэр, — сказала миссис Хьюз. — Там ветра не бывает — *как правило*.

— Как правило? — повторил я. — Что ж, я никогда его там не ощущал, даже осенью.

— То было раньше, сэр, а теперь может выйти иначе; на вашем месте я направилась бы в тот лес, что наверху.

До сих пор миссис Хьюз, насколько я помнил, никогда не проявляла ни малейшего интереса к моим занятиям, и этим утром ее настойчивые расспросы вполне естественным образом сподвигли меня поступить наоборот; поэтому я с улыбкой пожелал ей доброго утра, про себя решив, что сегодня моей целью станет Безмолвный

Лес. Добрая женщина не решилась продолжать разговор, развернулась и отправилась заниматься хозяйством, предоставив мне двинуться в путь без дальнейших расспросов.

Дул легкий ветерок — такой, который способен добавить приятности прогулке, но все же довольно сильный, чтобы можно было спокойно порисовать, поэтому я радостно свернул с прибрежной тропинки к опушке моего излюбленного леса. Там царили привычная тишина, полумрак и безветрие, как я и представлял себе много, много раз, когда курил трубку возле камина у себя в мастерской, а под моими окнами бурлил суетливый Лондон.

В этом лесу я всегда чувствовал, что должен ступать как можно тише. Не помню, чтобы я здесь когда-нибудь напевал или насвистывал, хотя нарушать спокойствие и так было некому — я ни разу не видел тут даже кролика; этот лес казался слишком мрачным, чтобы в нем водились животные, к тому же здесь для них не нашлось бы пищи, кроме сухой хвои. Не помню, чтобы я когда-нибудь *видел* лесных голубей, хотя время от времени слышал их высоко над собой; словом, из-за отсутствия живности здесь было еще тише, чем обычно в глухих лесах.

Впрочем, все это соответствовало моему тогдашнему настроению — в глубокой тишине кроется свое очарование. Не сомневаюсь, где-то в мире есть немногие родственные души, кому, как и мне, милы полная тишина и избавление от любого шума — те, кто часто стремится заполучить один лишь час ничем не нарушаемой тишины, и убеждается, сколь трудно этого достичь; те, кому приходится с улыбкой сносить непрестанное хлопанье дверей, всякие стуки, звоны, голоса, человеческие шаги, хотя все их нервы на пределе, а жажда тишины почти нестерпима, — такие люди, и только они, способны постичь, какой притягательной силой обладал для меня Безмолвный Лес.

Тем утром, как и много раз прежде, я вошел в него привычной мягкой поступью, будто не желая нарушить его покой даже треском сухой ветки, и чем дальше я углублялся в его тенистые дебри, тем неподвижнее и безмолвнее он мне казался. Сосновый аромат действовал умиротворяюще, словно бы раскрываясь и усиливаясь благодаря теплому сухому воздуху.

Дойдя примерно до середины леса, я остановился, чтобы оглядеться и прислушаться. Тишину не нарушал ни один звук, не считая слабого ворко-

вания лесных голубей; на солнечной прогалине я сгреб в кучу сосновую хвою, устроил из нее ложе и с наслаждением растянулся на нем, а холст и краски праздно лежали рядом со мной.

Естественно, в подобной обстановке, среди столь безмятежной тишины я уснул глубоким сном — блаженным, спокойным сном, зная, что никто спозаранку не постучится мне в дверь, что я не должен выполнять никаких обязательств, что мне не нужно вставать ради каких-либо дел или людей, пока я не просплю столько, сколько мне захочется. Пробудился я не скоро; в лицо мне тихо веял нежнейший ветерок, столь легкий, что я, еще не вполне пробудившись, задумался, не продолжение ли это моих грез… но нет! Он повеял вновь, легкий и прохладный, на этот раз чуть сильнее. Я открыл глаза. «Наверное, уже ночь, — подумал я. — Сколько часов я проспал?» Было темно, однако между верхушек сосен я заметил клочок синего неба. «Значит, еще не поздно, — рассудил я, — но как же темно здесь, под деревьями». Я хотел узнать, сколько времени, и навести порядок у себя в голове, ибо, признаться, чувствовал себе весьма беспокойно. Такими были мои мысли, когда я поднялся со своего хвойного ложа.

Я взглянул по сторонам и едва мог поверить, что вокруг меня — мой любимый Безмолвный Лес; его наполняли холод и мрак — но не привычная мягкая полутьма, а жутковатый сумрак, как перед надвигающейся бурей; рядом со мной то и дело со вздохом проносился ветерок, с каждым разом все более холодный и сырой.

— Ужасно! — пробормотал я, застегивая куртку и собираясь поднять с земли свою маленькую заплечную сумку со всякой всячиной. — Ужасно! Никогда не думал, что здесь может быть такой холод; надо поскорее отсюда выбираться, пока не поздно.

Я посмотрел на часы, с трудом разглядев циферблат в темноте, и понял, что, как обычно, забыл их завести.

— Наверное, сейчас часа четыре, — произнес я вслух, — но кажется, будто уже ночь!

Я говорил вслух, и мой голос насмешливым эхом вернулся ко мне с другого конца леса:

— Уже ночь!

«Не знал, что здесь бывает эхо», — подумал я.

— Попробую еще раз завтра, — отчетливо поговорил я, и вновь издалека донеслось эхо: «Завтра», а следом за ним — хриплый смех.

Я вздрогнул. Ведь я не смеялся! Кто же это?

«Идиот! — сказал я себе, заставляя встряхнуться. — Какой-то деревенский шутник отвечает, пытаясь выставить тебя дураком; соберись и ступай домой — пора выпить чаю».

Напоследок оглядевшись по сторонам, я развернулся и направился в сторону дома, где меня ожидал чай, но мои ноги будто свинцом налились, и мне казалось, что я не смогу выбраться из этого леса, как бы ни рвался к дневному свету.

Я ощущал, будто проделал путь вдвое больше необходимого, прежде чем вышел на опушку, трясясь всем телом, продрогнув до костей, совершенно обессилев, — и вдруг всего этого как не бывало! Под теплыми лучами солнца я быстро пришел в себя и готов был посмеяться над собственной глупостью; чтобы укрепиться в этом настроении, я в шутку погрозил кулаком лесу, оставшемуся у меня за спиной, крикнул: «Завтра!» — и мне почудилось — ибо такое могло только почудиться, — будто эхо, глумясь надо мной, с легким смешком принесло из далекого сумрака слово «завтра»; как бы то ни было, я ускорил шаг, со всей поспешностью устремившись к ферме, где на кухне меня ожидал накрытый чайный столик, быстро разогнавший все мои страхи, если они у меня еще оставались.

Впервые после начала своих каникул я провел беспокойную ночь, и, даже когда мне удавалось заснуть, меня преследовали глумливый голос и смех. По пробуждении моей первой мыслью было сурово отомстить тому, кто лишил меня драгоценного ночного сна, — кем бы он ни оказался. Поклявшись отплатить, я вскочил с постели и как можно быстрее стал одеваться.

— Вы вернетесь к ланчу, сэр, или возьмете его с собой? — спросила хозяйка, когда я покончил с завтраком, состоявшим из вяленой ветчины, свежих яиц, сконов и домашнего джема.

— Возьму с собой, миссис Хьюз, — ответил я. — Будьте так любезны, соберите мне в дорогу эту прекрасную ветчину, хлеб и масло. Но не превращайте их в гадость, именуемую сэндвичами, это напрочь испортит хлеб и ветчину. Мне никогда не нравилась еда, запакованная подобным образом: хлеб со вкусом ветчины, ветчина со вкусом хлеба, а к тому времени, когда захочется съесть ланч, и то и другое пересохнет и развалится; так что, пожалуйста, все по отдельности — если вы меня любите.

Миссис Хьюз взглянула на меня, словно призадумавшись, смеяться или браниться в ответ на мои, как она полагала, капризы; смех одержал

верх, и она вышла, фыркая под нос и мысленно потешаясь над мужскими чудачествами. Вскоре добрая женщина вернулась с опрятным свертком, который протянула мне, заметив:

— Все, как вы просили, сэр, — *по отдельности*; надеюсь, ланч придется вам по вкусу. Куда вы намерены отправиться, сэр?

И вновь цель моей прогулки вызвала интерес у достойной дамы, но на этот раз я решил, что не позволю ей так легко отделаться.

— Зачем вы спрашиваете, миссис Хьюз? — осведомился я.

— Это все Томми, сэр, это все Томми, — с заминкой ответила она. — Похоже, мальцу по нраву следить за вами, сэр, и он вечно выпытывает у меня, куда вы направляетесь, сэр.

Говоря это, добрая женщина отступала все ближе и ближе к двери и последние слова произнесла, когда дверь закрылась, разделив нас, так что я остался недоуменно взирать на дверь, совершенно не в состоянии уяснить, чем вызвано нынешнее беспокойство Томми насчет моих передвижений, ведь до сих пор малец даже не замечал моего существования.

Впрочем, любопытствующие остались ни с чем — никто, кроме меня, не ведал, куда я направлял-

ся, а если бы я изменил намерения, никто бы об этом не узнал, потому что не их это дело.

Несколько мгновений я колебался, стоит ли нагружать себя художественными принадлежностями, и наконец меня посетила счастливая мысль: взять с собой мой «Кодак», заряженный новой высокочувствительной пленкой, и, если мне что-нибудь приглянется, сделать снимки, а потом при желании в тиши мастерской перенести отснятое на бумагу или холст. Поэтому с фотоаппаратом на плече и ланчем в кармане я отправился в путь, готовясь провести еще один счастливый спокойный день в Безмолвном Лесу. Но едва я сделал первые шаги, как задумался, так ли уж приятно будет мне исполнить свою клятву и обрушить месть на Того, Ту или То, чей насмешливый голос преследовал меня вчера. Однако я *твердо* решил отыскать, где прячется мой насмешливый друг, и разделаться с тем, кто посягнул на мое прибежище. Прежде всего, я не стал входить в лес по привычной тропинке, но решил обследовать его дальний конец, еще не знакомый мне, куда я часто подумывал добраться, но до сих пор ленился; мне было достаточно оказаться среди тишины и тепла, да там и остаться, предаваясь отдыху, сну или чтению; но сегодня

я чувствовал себя энергичным, собранным, готовым ко всему, и вместо того, чтобы направиться к лесу по нижней тропинке вдоль реки, я пустился вверх по склону, пересекая поля и перелезая через труднопреодолимые изгороди, плотно обмотанные колючей проволокой, словно они должны были предотвратить вражеское вторжение, а не удерживать в своих границах двух-трех коров. Действуя по своему плану, я оказался на возвышенности, с которой лес выглядел темным треугольником, длиной этак в полмили, едва ли больше; с того места, откуда я на него смотрел, он казался небольшим пятном густо растущих деревьев в окружении колосящихся полей или еще не вывезенных стогов. Тут и там на полях трудились крестьяне и крестьянки; до меня доносился звук работавшей где-то жатки, а вдалеке отчетливо раздавались голоса играющих детей.

Сияло солнце, ветер не колыхал ни листа, ни травинки, но, несмотря на всю эту красоту и великолепие, меня влекла к себе темная чаща внизу. Я видел, как колеблются сосновые ветви, словно руки, призывая меня прийти и отдохнуть в их тени. Я знал, что мне делать, знал, чего я хочу, но медлил, упиваясь красотой полей и солнца, и неторопливо спускался по склону, пока не

очутился у опушки, ровно в противоположном конце от того места, где обычно входил.

Еще одна изгородь, густо поросшая терновником и мелким кустарником, — и я в моем любимом лесу. Эта его сторона оказалась не столь темной, как противоположная, но почему-то она производила более угрюмое, более безрадостное впечатление — возможно, из-за того, что сюда добиралось еще меньше людей; так или иначе, я оказался здесь, и пришло время приняться за поиски. Сначала я, стараясь двигаться как можно тише, немного прошелся вдоль опушки, но ничего интересного не обнаружил, поэтому направился под сень сосен и почти сразу вновь ощутил разлитое в воздухе душистое тепло.

— Прекрасно, — пробормотал я. — Как спокойно, как тихо, но отдыхать еще нельзя, для начала нужно осмотреться.

И тут мне в глаза бросилось что-то похожее на дом. «Хорошенькое местечко для жилища», — подумал я, рассудив, что если здесь кто-нибудь обитает, то мой насмешливый друг обнаружен; улыбаясь собственной удачливости, я двинулся к дому — вернее, к тому, что я принял за дом, ибо — увы! — когда я его достиг, передо мной предстали развалины. Два угла и одна боковая стена

почти не пострадали, а остальное, за исключением одной печной трубы, представляло собой кучу грубых серых камней. Судя по всему, дом стоял заброшенным много лет, поскольку упавшие камни поросли мхом, а сквозь трещины тут и там пробивался папоротник; наверное, когда-то здесь было уютное укромное жилище, но теперь оно пришло в крайнее запустение.

Положив на землю фотоаппарат и ланч, я, прежде чем сесть, обошел вокруг этих уединенных развалин, чтобы осмотреть их поближе. Не обнаружилось никаких признаков, которые позволили бы определить, сколько комнат было в этом доме, — хотя едва ли больше трех-четырех. Когда я вошел в границы развалин, передо мной оказалось то, что прежде, судя по всему, было камином, а сбоку, на два ярда выступая над землей, виднелись пять каменных ступеней; очевидно, раньше здесь находилась каменная лестница, ведущая в верхнюю комнату (или комнаты), хотя никаких следов второго этажа не осталось. Я не мог представить, чтобы каменное здание настолько разрушилось само по себе; создавалось впечатление, что из него нарочно выламывали камень за камнем, иначе оно не могло прийти в такое плачевное состояние.

Больше здесь осматривать было нечего, поэтому я вернулся туда, где оставил свои вещи, но при виде фотоаппарата вспомнил, что могу хотя бы заснять столь живописные руины, не беря на себя труд их зарисовывать. Мне показалось, что будет интересно сфотографировать пять причудливых каменных ступеней и разрушенные стены, поэтому я быстро навел фокус и сделал снимок с небольшого расстояния, захватив в кадр еще и толстую сосну. Она выглядела весьма необычно, как будто в свое время от нее отломали по меньшей мере половину. Затем я подошел ближе, чтобы отдельно снять ступени. На них падала тень от стены, поэтому пришлось выставить более долгую выдержку, хотя мне было жаль, что не получается сделать снимок с желаемого ракурса. У меня осталась последняя пленка; и я решил дождаться, когда солнце осветит развалины с другой стороны, и сделать снимки еще и там. А пока хватит, я заслужил перекус и отдых.

Почему-то мое мшистое ложе оказалось не таким удобным, как мне хотелось, — сам не понимаю почему, ведь с виду оно не оставляло желать ничего лучшего; спиной я прислонился к сосновому стволу, а мое лицо было обращено к дремучим лесным дебрям. Меня не тревожил

ни ветер, ни какой-либо звук, кругом было тихо, спокойно, мирно, и все же…

Вновь и вновь я ловил себя на том, что невольно оглядываюсь через плечо на груду серых камней позади меня. Я не *хотел* смотреть на нее, я и так достаточно на нее нагляделся, однако я все равно упорно оборачивался, и мое воображение разыгралось, поскольку я мог поклясться, что рядом с тем местом, где когда-то находился дверной проем, промелькнула человеческая тень. Я был уверен, что, когда осматривал развалины, не упустил из виду ни одного уголка, а теперь оказалось, что там кто-то прячется. Значит, надо проверить еще раз. Для этого я прошелся вокруг развалин, заглядывая под каждый куст, но никаких признаков жизни не обнаружил, поэтому вернулся на свое ложе, чтобы продолжить отдых.

Я разжег трубку, но не успел выкурить ее до конца, как задремал, а потом резко проснулся, подскочив на месте, в полной, несомненной уверенности, которая осталась со мной и впоследствии, что кто-то положил руку мне на лицо. Я попытался вообразить, будто у меня по лицу проползло насекомое, будто меня задел упавший лист, даже попробовал воспроизвести это ощущение, закрыв глаза и уронив лист себе на

щеку, — бесполезно; сколько усилий я ни прикладывал, но не мог себя переубедить, что это было не прикосновение руки.

Призраки! Я в них не верил, а россказни о подобных явлениях всегда считал следствием чересчур плотного ужина или слишком живого воображения, поэтому и на сей раз был склонен смеяться над мыслями, от которых так упорно стремился отделаться. Я попытался насвистывать, но если вы пробовали насвистывать с опущенными уголками губ, то догадаетесь, что это начинание потерпело крах. Я попытался напевать, но мой голос дрожал и получалось что-то заупокойное; я встал на ноги, начал притопывать, бить тростью по мягкой, ни в чем не повинной почве, делал все, что, как я думал, могло отогнать жуткое чувство, которое все сильнее овладевало мной, пытался подавить в себе тягу оглянуться, — бесполезно; я хотел было уступить этому побуждению, но взял себя в руки и рассудил, что хватит с меня этих развалин, пусть и впредь пребывают в своем уединении, а я сделаю еще один снимок и направлюсь дальше, сквозь мои любимые тенистые дебри, и выйду с противоположной стороны, которую знал как нельзя лучше. И все же один-единственный раз я посмотрел на

изгородь, в ту сторону, откуда пришел, взглянул почти украдкой, словно в глубине души мне хотелось вернуться той же тропинкой, но то был лишь миг, ибо я знал, что мой путь пролегает через Безмолвный Лес.

Я взял фотоаппарат, сделал последний снимок, остановив выбор на противоположной стороне развалин, теперь освещенной солнцем, и экспонировал пленку. Щелкнул затвор, и солнце скрылось, будто на него внезапно наплыло плотное облако, а камера в моих руках дрогнула, словно ее толкнули, — мои руки были тверды, я уверен, однако я чуть не выронил свою драгоценную игрушку!

Наверное, кто-то кинул камень, решил я, но не отважился вызнавать, кто это был и где скрывался; довольно мне, что я сделал снимки, пора двигаться дальше через лес, а там и домой, пить чай.

Я прошел уже половину пути, развалины давно скрылись из виду, и тут я вспомнил о ветчине и хлебе, которые совсем вылетели у меня из головы. Надо бы их съесть, подумал я, и мне снова станет веселее; я уже добрался до моего излюбленного места, где царил теплый сумрак, устроил себе уютное сиденье и принялся за несколько

запоздалый ланч. Закончив, я собирался, по обыкновению, сжечь бумагу, в которую он был обернут, как вдруг ее унесло внезапным порывом ветра.

— Ветер! — воскликнул я. — Здесь! Быть не может!

При этих словах рядом со мной снова повеял ветерок, взметнув сухую сосновую хвою и рассыпав ее у моих ног. «Вот уж поистине примечательный случай», — пробормотал я про себя, ведь я бессчетное число раз был в этом лесу и до вчерашнего и нынешнего дня не чувствовал ни малейшего дуновения. Мне стоит поторопиться, может пойти дождь, хотя здесь я особо не вымокну, но двигаться все равно надо. Когда я встал, на меня вновь и вновь веяло холодным воздухом, а потом вдруг наступила тишина и все вокруг словно потемнело, над головой у меня слышался легкий шелест ветра, становилось холодно и зябко.

Я торопливо двинулся вперед, но тут же понял, что среди наступившей тьмы сбился с дороги. Я углублялся в дебри все дальше и дальше, мрак становился все гуще и гуще, ветер делался все холоднее и холоднее, то крепчая, то с жалобным стоном ослабевая вновь. Я храбро шел вперед, лихорадочно высматривая знакомое дерево или

камень.

Ветер, обжигающе холодный, хлестал меня, сбивал с ног, будто я был не сильный взрослый мужчина, а слабый хилый ребенок.

Внезапно я остановился, решив определиться, где нахожусь, решив, что не стану покорствовать обстоятельствам. Я поднял голову, от леденящего ветра из глаз у меня хлынули слезы.

Мрак, черный мрак встречал меня со всех сторон. Сосны, когда-то знакомые, теперь казались вдвое выше — суровые, угрюмые и черные; нигде не было ни просвета.

— Боже мой, я вконец заблудился, — промолвил я вслух.

— Вконец заблудился, — повторил голос где-то вдалеке, а следом за этими словами раздался пронзительный хохот, от которого моя кровь похолодела и сердце замерло.

Героическим усилием заставив свой голос звучать ровно, я воскликнул:

— Кто вы? Помогите мне!

— Помогите мне! — прозвучал голос, и я содрогнулся, когда до меня донесся визгливый смех.

— Вы так и не покажетесь? — выкрикнул я.

— Покажетесь! — эхом отозвался голос, и, когда следом вновь раздался смех, мне почудилось, что

смеются несколько человек — я слышал хриплый, грубый мужской гогот, пронзительное женское хихиканье и даже, я был уверен, детский смех.

Я устремился дальше, дальше — глотая воздух, шепча молитвы, надеясь вырваться отсюда, сбившись с пути, но вслепую пытаясь добраться до какой-нибудь спасительной гавани. Яростный порыв ветра внезапно подтолкнул меня вперед, и под ногами у меня вдруг оказалась трава. Со вздохом облегчения я поднял взгляд, думая, что это трава возле опушки леса, но застыл от ужаса и изумления, ибо я оказался на лесной прогалине, а передо мной возник тот самый разрушенный дом.

Я сказал «разрушенный дом», но он уже не был разрушенным! Моему изумленному взору он предстал в полной сохранности: приоткрытая дверь, в каждой стене по окну, сквозь которые мерцал слабый свет; два окна в верхнем этаже, и из одного смотрело бледное печальное лицо — а под одинокой сосной стоял человек с суровым зловещим лицом; одной рукой он держал за волосы рыдающего ребенка, а в другой — боже, какой ужас! — длинный острый нож, который поблескивал в тусклом свете, падавшем из окна.

Я не лишился чувств, не упал, ибо словно при-

рос к земле, словно окаменел. Ветер совсем стих; и, если бы оцепеневшим рассудком я не *сознавал*, что прежде видел здесь запустение и развалины, я подумал бы, что передо мной жилище какого-то работяги и в нем обитают человеческие существа. Но я *сознавал*, что это не так. В изумлении и ужасе я смотрел во все глаза. Втихомолку выругавшись, человек направился к двери, волоча за собой ребенка; когда он достиг двери, ветер удвоил ярость и завыл, засвистел, словно выпустив на свободу всю злобу. Я рухнул на колени, не в силах даже молиться; закрыв лицо ладонями, я ждал чего-то ужасного, не сомневаясь, что оно произойдет.

И оно произошло. Из верхнего окна раздался вопль, дикий вопль, исполненный неизбывного ужаса, а следом — пронзительный, страшный детский крик! Я в смятении приподнялся на одно колено и увидел, как тот человек, шатаясь, ввалился в дверь, где его ждали еще несколько человек, до этого скрытых от меня. Когда он вошел, одна женщина заговорила с ним, а потом засмеялась. Боже! Каким несказанно ужасным был этот смех! Один за другим эти люди заговаривали с вошедшим, и каждый, отходя в сторону, смеялся или фыркал, даже два маленьких мальчика, которые там были, визгливо захихикали.

Я не могу этого описать, скажу только, что мне показалось, будто я слышу бесов из преисподней, столь гадкими, злобными, демоническими были эти жуткие звуки. Стоя на одном колене, не в силах шевельнуться, я отчаянно пытался овладеть собой и искал объяснение происходящему, но в глубине души понимал, что объяснить это невозможно. Я шепнул про себя: «Это смех реальный, человеческий, пусть и омерзительный», но я знал, что он не реальный и не человеческий. Всегда, до моего смертного дня будет отдаваться в моих ушах этот смех, издать который не могло никакое человеческое существо.

Внезапно ветер прекратился, в воздухе воцарилась тишина, смех умолк. Могу ли я, смею ли я шевельнуться, встать на ноги, отважусь ли посмотреть? Но не успел я об этом подумать, как ветер вновь задул с удвоенной яростью, налетел на меня, заставив согнуться еще ниже. Раздался жуткий треск, эхом раскатившийся по лесу. Ветер, словно исполинской рукой, повалил сосну, стоявшую с другой стороны от дома. Она рухнула с такой чудовищной силой, что часть строения, на которую она упала, развалилась, точно карточный домик! Покончить с остальным казалось не более чем детской забавой; ветер с пронзи-

тельным свистом влетел под крышу, которая и так уже едва держалась, и сорвал ее, чуть не обрушив и остатки стен, а сквозь его оглушительный вой доносились раскаты мерзкого хохота! Потом они понемногу начали стихать, и ветер тоже ослабевал, его судорожные порывы сменились рыдающими всхлипами, и наконец по лесу пронесся глухой протяжный вой, растворившийся в тишине, долгой тишине.

Только тогда я пошевелился, поднял голову, огляделся, прислушался. Тишину не нарушало ничто, ни единый звук; развалины выглядели такими же, какими я увидел их впервые, — обветренная груда серых камней, что-то похожее на камин, пять каменных ступеней, и ничего более. Я осмелился подойти поближе, пытаясь убедить себя, что жуткая сцена мне пригрезилась. Наверное, я увидел все это во сне, ведь, когда поднялся ветер, было темно, совсем темно, а раз так, то при каком свете я мог стать свидетелем все этого ужаса, ведь был же там какой-то свет? Кто были эти люди, которых я видел, откуда доносился этот жуткий смех? Я весь дрожал, меня трясло, я чувствовал себя совершенно больным, а до такого состояния никакое сновидение не доведет. Что же тогда это было?

Выходцы с того света? Но ради чего они сюда явились, ведь и они сами, и то, что они творили, было злом? Я резко развернулся, с одной только мыслью — покинуть этот лес и вернуться домой. Я взглянул на часы, которые на сей раз предусмотрительно завел, поэтому в их точности не сомневался, — еще только пять. Наверное, я сошел с ума, ведь я блуждал много часов в ночной тьме; как может быть еще только пять? Как я предположил впоследствии, размышляя о случившемся, именно осознание, что, вопреки моим ожиданиям, было еще только пять часов, а не гораздо больше, придало мне смелости еще на несколько минут задержаться возле развалин и приглядеться, чтобы получше запечатлеть их в памяти. Я встал примерно в трех ярдах от разрушенного дверного проема и произнес вслух:

— Это убийство!

И сквозь лесную чащу донесся насмешливый ответ:

— Убийство!

— О боже! — выдохнул я. — Опять они, эти бесы из преисподней!

— Из преисподней! — послышалось в ответ, а следом раздался мерзкий многоголосый смех.

Я развернулся и пустился бежать, зажимая

уши руками. Помню, как я споткнулся обо что-то, упал — и падение показалось мне бесконечным, а потом все сменила пустота, и только через три недели, открыв глаза, я обнаружил, что лежу в своей уютной комнатке на ферме, а у кровати, с невозмутимым видом занимаясь вязанием, сидит миссис Мерри.

— Мерри! — прошептал я — и испугался слабости собственного голоса.

— Да, сэр, это я, — ответила милая старушка, — и явилась сюда как раз вовремя; но, с вашего позволения, сэр, мы не будем разговаривать, вам пора принять лекарства и поспать.

Я с радостью повиновался, не задавая никаких вопросов, и еще много недель подчинялся мягким, но властным распоряжениям миссис Мерри. Я был слишком слаб, чтобы возражать, хотя мне этого и не очень хотелось; только почти полтора месяца спустя мне позволили задавать какие-то вопросы и вообще делать что-либо самостоятельно. Наконец настал день, когда мне разрешили сесть в кресле у окна, откуда открывался вид, изобразить который можно только красками, — любые слова будут бессильны. Долгое время я молча смотрел, а потом сказал:

— Теперь я чувствую себя хорошо, Мерри, по-

этому расскажите, что привело вас сюда, что стряслось со мной, где я был, — словом, я должен узнать все.

Она взглянула на меня, надела очки — она всегда так делала, когда намеревалась говорить строго, а потом вымолвила:

— Вы отсутствовали два дня, прежде чем вас отыскали.

— Два дня? — с недоверием переспросил я. — Где же я был?

— На дне старой свинцовой шахты, — ответила она, — на большой куче сухих листьев и папоротников. К счастью, шахта оказалась неглубокой, а листья и папоротники смягчили ваше падение, хотя загадка, откуда они там взялись.

— Но какая нелегкая… — начал я.

— Вот именно, сэр, — подхватила она, — мы все хотели бы знать, какая нелегкая вас туда занесла; наверное, вы отправились бродить, оступились и угодили в шахту. Во всяком случае, там вас и нашли, в неглубоком шурфе рядом со старым разрушенным домом. Вы были без сознания; наверное, сэр, в руке вы несли фотоаппарат, потому что он лежал рядом с вами, хотя как он не разбился — еще одна загадка.

— Принесите фотоаппарат, дорогая Мерри, —

сказал я.

— Хорошо, сэр, — ответила она. — Полагаю, это вам не навредит.

Она вышла и вскоре вернулась, с опаской держа в руках фотоаппарат, словно боялась его.

Она сказала правду. Каким-то чудом фотоаппарат не пострадал; более того, последние кадры получились отчетливыми. Мне захотелось проявить их как можно скорее. Меня снедало любопытство, но я еще задал не все вопросы.

— Кто меня нашел, Мерри? — спросил я.

— Томми Хьюз, сэр.

— Томми Хьюз! — воскликнул я. — Что заставило его разыскивать меня?

— Говорят, сэр, — ответила старушка, — когда-то в том же месте он отыскал еще одного господина, и после того, как вы не вернулись домой, он отправился на поиски.

— Тот другой бедолага сильно пострадал? — спросил я.

— Нет, сэр, совсем не пострадал, сэр, потому что лежал на точно такой же груде листьев и папоротников. Нет, сэр, он не пострадал — по крайней мере, его тело.

— Что вы имеете в виду? — спросил я. — Объясните, пожалуйста.

— Дорогой сэр, как же вы разволновались, а тем временем вам пора подкрепиться и съесть супчику.

— Сначала расскажите, Мерри, — сказал я.

Она взглянула на меня, чтобы понять, серьезно ли я настроен, и, очевидно, рассудила, что, по крайней мере, сейчас стоит мне уступить.

— Его тело было в порядке, сэр, а вот голова, сэр, во всяком случае рассудок… Говорят, сэр, его навечно упекли в сумасшедший дом, — добавила она со знакомой мне усмешкой, означавшей крайнее недоверие к сплетням или деревенским байкам.

Я же отнесся к этим сведения не столь недоверчиво, поскольку, когда обрывки моих воспоминаний начали собираться воедино, я с содроганием воскресил в памяти пережитое и вполне был готов поверить, что человек, не столь сильный духом, как я, мог бы запросто повредиться рассудком, пройдя через нечто подобное. Впрочем, дальнейшие вопросы я приберег до завтра, заметив, что моя дорогая старушка Мерри резко поджала губы.

На другой день меня посетил мой доктор, навещавший меня далеко не впервые, но на этот раз он держался менее чопорно, всем своим об-

ликом выдавая желание посплетничать, — я был готов поставить на это последний су, поэтому не удивился, когда он с готовностью принял мое предложение выпить чаю и выкурить трубку. После чая он не стал ходить вокруг да около и прямо спросил, могу ли я пролить хоть какой-нибудь свет на то, что со мной случилось.

— Мне это чрезвычайно интересно, — сказал он, — поскольку вы не первый мой подопечный, с кем стряслось подобное несчастье.

— Скажите, доктор, а другой ваш пациент вполне оправился после этого? — спросил я вместо того, чтобы, как предписывает вежливость, ответить на его вопрос.

— Нет, — ответил он. — Не оправился и, по моему мнению, уже не оправится. Он повредился рассудком, но по какой именно причине, доискаться не удалось. В основном он ведет себя спокойно и мирно, но при сильном ветре впадает в безумие и крайнее смятение, так что санитары не могут с ним справиться; он часто кричит и вопит, по большей части какой-то невразумительный вздор. Однажды яростный порыв ветра сбил с ног какого-то прохожего, и санитары засмеялись, тогда несчастный безумец накинулся на одного из них и избил бедолагу до полусмер-

ти, при этом постоянно выкрикивая «Хватит смеяться!» Такое всегда происходит, если дует ветер. Когда он дует особенно сильно, несчастного уводят в более тихое помещение. Скажите, пожалуйста, что происходило перед тем, как вы упали, — между этими двумя случаями, безусловно, есть какая-то взаимосвязь, поскольку в бреду вы что-то говорили про ветер, хотя после того, как вас доставили домой, особого ветра не было.

— Я все вам расскажу, доктор, хотя вам наверняка захочется поместить меня туда же, куда и того другого пациента, если, конечно, я не сумею вас убедить, а это мне, полагаю, удастся, поскольку то, что я видел, запечатлел мой фотоаппарат.

Я поведал ему о том, что пережил за два дня в моем любимом лесу, пересказал все до мельчайших подробностей, упомянул и о том, как делал снимки; он слушал, молча попыхивая трубкой, пока я не завершил свою историю, рассказав, как споткнулся, упал и ничего не помнил, покуда не очнулся у себя в комнате.

Когда я закончил, последовала долгая пауза; мой собеседник словно язык проглотил, поэтому я спросил, как здесь оказалась миссис Мерри.

— Она приехала, когда вы уже долго лежали в беспамятстве, — дескать, вы велели ей, если не

вернетесь в течение месяца, начать поиски; она прибыла сюда, ничего не зная о случившемся, застала вас в таком состоянии, как я описал, и с тех пор преданно ухаживала за вами.

— Что все это значит, доктор? — спросил я.

Его ответ привел меня в замешательство.

— Не знаю, хотя я слышал странные вещи об этом лесе, который вам угодно именовать Безмолвным, но, признаюсь, до сих пор я относил их на счет лишней кружки-другой пива. Впервые мне пришлось всерьез задуматься об этом, когда ко мне попал тот странный помешанный, а теперь и вас нашли на том же самом месте, в похожем состоянии и, что самое странное, *того же самого числа*! Я не знаю всех подробностей, связанных с этим местом, но они, конечно, известны вашему хозяину, так что расспросите его; а сами пока проявите ваши снимки, хотя я не возлагаю на них особых надежд. Я загляну завтра, а вам пока стоит отдохнуть.

И мой здравомыслящий, материалистически настроенный доктор взял шляпу и откланялся.

Я долго сидел у окна, размышляя, и в моей голове звучали рев ветра, демонический хохот, треск падающей сосны. Когда стемнело, я решил во что бы то ни стало проявить снимки; позвав миссис

Мерри, я сказал, что устал и ложусь спать, поэтому никакие услуги мне не требуются, и, пожелав ей спокойной ночи, я принялся на скорую руку готовиться к проявке, хотя и не располагал, как сейчас, необходимым оборудованием, полностью темной комнатой, проявочными таблицами, — на помощь мне пришли кувшин воды и лампа со свечой, обвязанная темно-красным шелковым шарфом.

Первый негатив проявился прекрасно, на нем не оказалось ничего примечательного — только прогалина и разрушенный дом.

Со вторым снимком история получилась совсем другая, и я испугался, когда взглянул на него. На нем была отчетливо, явственно видна фигура человека, заходящего в дверь!

На третьем снимке, сделанном с другой стороны дома, я увидел окно нижнего этажа, более или менее целое, а за ним — человеческое лицо; казалось бы, только и всего, но для меня это значило очень многое, поскольку я точно знал, что, делая этот снимок, я был в одиночестве, жутком одиночестве.

Наутро я встал раньше, чем мне полагалось, и за несколько минут на скорую руку сделал отпечатки с каждого негатива. Я смотрел на них,

смотрел во все глаза. Фотографии получились хорошие, чистые, очень отчетливые, без искажений, которые легко принять за что-то, отличное от реальных предметов, которые должны попасть в кадр, — не считая человеческую фигуру и лицо. Их я не видел и не намеревался заснять, однако теперь они были передо мной, и, как нередко случается, объектив ухватил то, что незримо для человеческого глаза. Фигура, высокая, угрюмая, как будто входила в дом, но лицо! За оконной рамой виднелось лицо того самого человека, который прошел мимо меня, который вошел в дом, который был причиной тех отчаянных воплей, человека, который потом говорил с людьми в доме, с людьми, чей жуткий смех возмутил воздух.

Я решил помалкивать, припрятать фотографии до вечера и дождаться, пока придет доктор. Он внимательно рассмотрел снимки и сказал:

— Вчера вечером, мой друг, я был готов посмеяться над вашим рассказом, посмеяться над фотографиями вашего так называемого пустого дома, но сегодня — иное дело. Покинув вас вчера, я навел кое-какие справки и в общих чертах вот что выяснил.

Этот дом построили для рудокопов, когда свинцовые шахты еще работали, и впоследствии он

перешел во владение бригадира. То был угрюмый, неразговорчивый мужлан, любитель выпивки и азартных игр. В этот дом, получивший название «Дом у рудника», он привел милую молодую девушку, якобы свою жену, хотя ходили слухи, что это не так. Казалось, он питает страстную привязанность к девушке, а также к маленькому трехлетнему мальчику, якобы ребенку своего племянника. Этот человек, по фамилии Вудро, вел, в сущности, двойную жизнь — половину своего времени он проводил с оравой мужчин и женщин, предаваясь пьянству и азартным играм, а те глумились над его, как они выражались, бесхребетной жизнью с так называемой женой. При ней же он был просто образцовым мужем и в трезвом состоянии не имел никаких дел со сбродом, к которому его тянуло в другое время. Наконец эта шайка преступников — не могу назвать их иначе — попыталась настроить его против девушки, которая, как они думали, все больше привязывала его к себе. Кто-то из них начал внушать ему подозрения насчет нее, намекая, будто в «Дом у рудника» стали захаживать случайные визитеры. Эти мерзавцы тайком следовали за ним до дома, чтобы ради гнусной забавы послушать, как он оскорбляет девушку и грозится совершить с ней

что похуже, если откроется ее неверность. В конце концов у них сложился злодейский замысел, и они послали за молодым доктором, сообщив, что кто-то из обитателей дома заболел. Ничего не подозревавший доктор явился поздно вечером, а Вудро по наущению своих дружков спрятался за деревьями и стал наблюдать. Мне рассказали, что вечер выдался непогожий, бурный; налетел один из тех внезапных ураганов, которые часто посещают эту горную местность в летнее время, ломая колосья, взбаламучивая реки и обрушивая на землю деревья и ветви.

Вудро увидел, как доктор вошел в дом, увидел, как он разговаривает с девушкой, как она улыбается ему и смеется, как подает ему руку, чтобы доктор пощупал пульс, хотя муж, доведенный до безумия выпивкой и своей ревнивой натурой, явно истолковал ее невинные действия иначе. Он дождался, пока доктор уйдет, ворвался в дом, убил жену и ребенка, после чего присоединился к своим преступным дружкам, а те будто бы встретили его известие шутками и смехом, радуясь успеху своего злодейского замысла, который, как они полагали, должен был полностью возвратить Вудро к ним и их гнусностям.

Дом и все следы преступления, как говорят,

были уничтожены внезапным ураганом, повалившим на дом дерево, которое разрушило его до основания. Шайка негодяев, как предполагают, покинула эти края, кроме одного человека, который впоследствии умер в больнице, перед этим рассказав эту историю тамошнему врачу, а тот, по любопытному совпадению, если таковые вправду бывают, изложил ее в письме к моему коллеге, ужинавшему со мной вчера вечером. История странная, и в свете того, что недавно довелось вам пережить, отрицать ее правдивость нельзя. Еще рассказывают, что каждый год в том же месяце убийство повторяется снова, во всех деталях, включая ураган; те, кто знаком с этой историей и с этим лесом, весь месяц сторонятся его, как чумы. В другое же время, полагаю, он вполне оправдывает название Безмолвного Леса.

Вот такая история, мой друг, воспринимайте ее, как вам угодно. Кроме того, я позволил себе пригласить одного старого рудокопа, чтобы он заглянул к нам сегодня вечером. Вас бы я попросил завести непринужденный разговор о лесе, вашем падении и прочем, а еще показать ему ваши фотографии. Не давайте ему других зацепок. Пойду посмотрю, явился ли он. Он очень старый, но видит вполне хорошо. Маленький внук привел его

сюда, чтобы я заодно осмотрел старика и снабдил микстурой от кашля.

С этими словами доктор вышел и почти сразу вернулся, ведя под руку старика. Говорят, здешние обитатели живут долго, и, судя по этому образчику, так оно и есть, поскольку старик выглядел лет на девяносто, но при этом держался вполне бодро, даром что был сгорбленным и иссохшим. Я пригласил его сесть в кресло и предложил табаку, но вместо того, чтобы набить трубку, он пристально взглянул на меня ясными, проницательными глазами и пробормотал:

— Так вы тот самый господин, который упал в шахту?

— Да, — ответил я. — Тот самый.

— Вы сами упали или вас туда сбросили? — спросил он, усмехаясь себе под нос.

— Не знаю, — ответил я.

— Зато *я* знаю, мальчик мой, — прохрипел он, наставив на меня палец, похожий на коготь. — Я знаю, вас туда сбросили, дружище, да-да, сбросили, и так произойдет и с другими, если они не будут держаться подальше от сосен в июле!

— Я сделал снимок, — сказал я после небольшой паузы.

— Снимок? — ответил старик. — Покажите мне

снимок. Когда-то я там работал.

— Поскорее, — прошептал доктор, — он быстро утомляется.

Я протянул ему фотографию, держа над ней сильное увеличительное стекло.

— Ага! Это дом Джонни Вудро, — пробормотал он, — все развалилось, все развалилось.

— А вот еще! — сказал я.

— Боже мой! — сорвалось с его дрожащих губ. — Боже мой, это же Джонни Вудро, Джонни Вудро, мой старый приятель. Я-то думал, он помер, помер, я знаю, что он помер, как он мог жить после того, как порешил жену и ребенка — порешил в том самом доме под соснами, а тех, кто вторгается в дом, он сбрасывает в шахту — он сказал, что будет сбрасывать их в шахту, чтобы они там умирали от голода, если сдвинут хоть камушек или сунутся к могиле его жены, как он выражался. Перед тем как отдать концы, он сказал мне, что будет так делать, прямо слово в слово: «Живой или мертвый, я буду так делать, Боб», а если Джонни сказал, значит он сделает.

Когда старик закончил, его седая голова упала на грудь, поэтому мы больше не разговаривали, разве что шепотом перекинулись несколькими словами.

— Он спит, — сказал доктор. — Скоро он проснется, но ничего не вспомнит. Оставим его. Мэри отведет его домой, а утром я кое-что ему передам. Старик совсем обессилел, — добавил он, — но я рад, что он явился сюда и предоставил вам то, чего вы так хотели, — доказательства! Хотя ума не приложу, что они доказывают и какой от них прок.

Немного спустя мы с доктором распрощались — он отправился врачевать болящее человечество, а я на следующее утро вернулся в Лондон, в свою мастерскую, к городской суете, в людское обиталище, покинув красоту холмов и рек; но когда-нибудь в тишине мастерской, быть может, вьюжным зимним вечером, я вновь услышу гнусный смех, вновь буду грезить о сосновом запахе — нет, пожалуй, я постараюсь забыть о том ужасе, через который прошел, и пусть память, порой такая милостивая, напоминает мне лишь о тишине, об аромате, о безмятежном спокойствии леса, который я так любил, когда он еще был для меня Безмолвным Лесом.

Сведения об авторах

Ричард Гаррис Барэм. ***(Richard Harris Barham, 1788–1845)***

Ричард Гаррис Далтон Барэм — англиканский священник, романист и поэт-юморист — родился в Кентербери, графство Кент, на юго-востоке Англии; в семилетнем возрасте потерял отца, оставившего ему в наследство небольшое поместье. Спустя два года он был определен в старинную лондонскую школу Святого Павла, но обучение в ней пришлось прервать, когда в результате несчастного случая он неизлечимо повредил руку; эта травма, навсегда ограничившая физическую активность мальчика, вынудила его с ранних лет пристраститься к чтению. В 1807 г. он поступил в Брейзноуз-колледж Оксфордского университета, намереваясь изучать юриспруденцию, однако позднее сделал выбор в пользу богословия и в 1813 г., приняв духовный сан, занял должность сельского викария в Ашфорде, графство Кент. Через год Барэм женился, в 1821 г. получил место младшего каноника в лондонском соборе Святого Павла, а тремя годами позже стал

священником придворной капеллы.

В 1819 г. Барэм выпустил роман «Болдуин», а вскоре написал еще один — «Мой кузен Николас», напечатанный в 1834 г. в британском многопрофильном ежемесячнике «Блэквудс Эдинбург мэгэзин», с которым автор сотрудничал с 1826 г. Начиная с 1837 г. на страницах «Альманаха Бентли» (и с 1843 г. — в «Нью мансли мэгэзин») публиковались — под псевдонимом Томас Инголдсби — юмористические стихотворные и прозаические повествования Барэма, комически-гротескно трактующие средневековые легенды. В 1840–1847 гг. они были выпущены в трех томах («сериях») под названием «Легенды Инголдсби, или Увеселения и чудеса» издательством Ричарда Бентли. На протяжении всей Викторианской эпохи «Легенды…» пользовались у читателей огромным успехом и многократно переиздавались с иллюстрациями знаменитых британских карикатуристов Джорджа Крукшенка и Джона Лича.

Рассказ «Призрак Таппингтона» («The Spectre of Tappington») был впервые опубликован в феврале 1837 г. в «Альманахе Бентли» (т. 1. [№ 2]) под названием «Истории, рассказанные у камелька. № 1: Призрак Таппингтона» («Fairy-Side Stories

№ 1. The Spectre of Tappington»). В 1840 г. вошел в первый том трехтомного издания «Легенды Инголдсби». Впоследствии неоднократно перепечатывался как в составе «Легенд…», так и в различных антологиях страшных историй. На русский язык переводится впервые. Перевод осуществлен по тексту изд.: *Ingoldsby Th. (Barham R. H.)* The Ingoldsby Legends / Ed. and Annot. by C. Hart: [In 2 vols.] Philadelphia: SpringStreet Books, 2013. Vol. 1. P. 1–25.

Э. и Х. Херон. *(E. Heron (Kate Prichard, 1851–1935) & H. Heron (Hesketh Hesketh-Prichard, 1876–1922))*

Э. и Х. Херон — двуединый псевдоним творивших как в соавторстве, так и порознь английских беллетристов Кейт (Кэтрин О'Брайен Райалл) Причард и ее сына Хескета Вернона Хескет-Причарда. Родившийся в Индии в семье британского офицера (который состоял в Королевском шотландском пограничном полку и умер от тифа за полтора месяца до появления на свет сына), Х. Хескет-Причард был вскоре привезен матерью в Англию. Окончив среднюю школу в Эдинбурге, он изучал право в г. Хоршем (в Западном Сассексе), однако адвокатом не стал. С юных лет он увлекал-

ся спортом и уже в школе прослыл превосходным игроком в крикет. Его первый литературный опыт — рассказ «Дуэль Таммера» — относится к лету 1896 г., которое Хескет-Причард провел в путешествиях по югу Европы и Северной Африке. По возвращении в Лондон он начал писать в соавторстве с матерью (под вышеупомянутым двойным псевдонимом) рассказы для «Корнхилл мэгэзин» и других периодических изданий, обзавелся знакомствами в столичных литературных кругах — в том числе с Артуром Конан Дойлом и драматургом Джеймсом Мэтью Барри. Именно последний в 1897 г. свел Хескет-Причарда с издателем Сирилом Артуром Пирсоном, который предложил начинающему автору написать несколько рассказов о призраках для своего ежемесячного журнала. Так появилась серия историй об «оккультном детективе» Флаксмане Лоу, занимающемся расследованием всевозможных паранормальных явлений в различных уголках Англии; первые шесть произведений цикла были опубликованы в лондонском ежемесячнике «Пирсонс мансли мэгэзин» в 1898 г., другие шесть — в 1899 г. В том же году вся дюжина рассказов вышла в свет отдельной книгой, озаглавленной «Призраки: Из личного опыта

Флаксмана Лоу». Заглавный герой, помогающий сохранить здравый рассудок жертвам того или иного сверхъестественного вторжения, стал одним из самых известных персонажей в длинном ряду исследователей загадочных феноменов, на полтора десятилетия опередив знаменитого Карнаки — охотника на призраков из одноименного сборника рассказов (1913) Уильяма Хоупа Ходжсона (1877–1918).

В 1899 г. по заданию принадлежавшей Пирсону газеты «Дейли экспресс» Хескет-Причард отправился на Гаити, а затем в Патагонию. Результатом его странствий стали опубликованные в газете заметки и репортажи, а также популярные книги путевых очерков «Где черные правят белыми: Путешествие по Гаити» (1900) — с первым в истории подробным описанием ритуалов вуду — и «Сквозь дебри Патагонии» (1902). Позднее, в 1903–1910 гг., он совершил несколько путешествий (в том числе вместе с матерью) в Атлантическую Канаду, последнее из которых описал в книге «Нехожеными дорогами острова Лабрадор» (1911).

С 1904 по 1909 г. Причарды выпустили два цикла приключенческих рассказов и роман о Доне Q — испанском благородном разбойнике, чей образ предвосхитил (и отчасти способствовал рожде-

нию) легендарного киногероя Зорро. Наряду с литературной деятельностью Хескет-Причард страстно увлекался охотой и крикетом, а также отдал дань военной службе в годы Первой мировой войны, внеся существенный вклад в развитие британского снайперского искусства и удостоившись ряда почетных наград. В 1919 г. был избран председателем Английского авторского общества, осуществляющего охрану авторских прав. Скончался от последствий малярии в 1922 г.

Рассказы «История Грей-хауса» («The Story of the Grey House») и «История поместья Янд-мэнор» («The Story of Yand Manor House») — пятый и шестой в цикле о Флаксмане Лоу — были напечатаны соответственно в мае и июне 1898 г. на страницах «Пирсонс мансли мэгэзин» (т. 5. №№ 29–30); спустя год вошли в сборник рассказов «Призраки: Из личного опыта Флаксмана Лоу», выпущенный лондонским издателем Сирилом Артуром Пирсоном, а впоследствии неоднократно включались в различные антологии мистической прозы. На русский язык переводятся впервые. Переводы осуществлены по первоизданию сборника: *Prichard K. and H. (Heron E. and H.)* Ghosts: Being the Experiences of Flaxman Low. L.: C. Arthur Pearson, 1899. P. 99–123, 124–148.

Мэри Элеонор Уилкинс-Фримен. *(Mary Eleanor Wilkins Freeman, 1852–1930)*

Американская писательница Мэри Элеонор Уилкинс-Фримен (урожденная Мэри Элла Уилкинс), оставившая богатое литературное наследие (более 40 книг различных жанров), родилась и выросла в Рэндольфе, штат Массачусетс, в семье деревенского плотника. В 1867 г., стремясь избежать разорения, семья перебралась в г. Брэттлборо, штат Вермонт, где Уоррен Уилкинс открыл галантерейную лавку. Закончив в 1870 г. среднюю школу, Мэри поступила в женский колледж (в то время — семинарию) Маунт-Холиок в Саут-Хэдли на западе Массачусетса, однако год спустя вследствие болезни ей пришлось оставить обучение. Пытаясь финансово поддержать сильно нуждавшуюся семью, Уилкинс еще в юности, после недолгого периода работы школьной учительницей, начала писать стихи и рассказы для детей, которые отсылала в различные периодические издания, и в 1881 г. получила свой первый гонорар (10 долларов) за публикацию баллады «Нищий король», а годом позже удостоилась премии в 50 долларов, победив в конкурсе на лучший рассказ, объявленном

одной из бостонских газет. В 1883 г., лишившись со смертью отца всех родных (ее старшая сестра и мать умерли несколькими годами раньше), не имея связей и перспектив на выгодный брак, Уилкинс вернулась в Рэндольф и поселилась на семейной ферме подруги ее детства Мэри Уэйлс. Тогда же она сменила свое второе имя на Элеонор (в память о матери) и всерьез занялась литературным трудом, дабы обеспечить себе средства к существованию.

Успех не заставил себя ждать: рассказы Уилкинс о быте и нравах новоанглийской деревни, сюжеты и персонажи которых были подсказаны повседневной жизнью ее родного Рэндольфа, начали регулярно появляться на страницах «Харперс базар», а затем и других американских журналов. Вскоре они были объединены в сборники «„Скромный роман“ и другие истории» (1887) и «„Новоанглийская монахиня“ и другие истории» (1891), которые стали важной вехой в литературе американского реализма, и в частности так называемой школы местного колорита. О прозе Уилкинс с восторгом заговорили литераторы, критики и коллеги по перу — Уильям Дин Хоуэллс, Генри Джеймс, Макс Пембертон и др. И в рассказах, и в последовавших за ними романах

«Джейн Филд» (1892) и «Пемброк» (1894) авторское внимание сосредоточено на драматичных переменах, происходящих в патриархальном деревенском укладе в пору индустриальной революции и недавно окончившейся Гражданской войны, а также на психологии женщины, которая стремится высвободиться из пут пуританских предрассудков и зачастую вынуждена делать сложный жизненный выбор между личным чувством и предписаниями консервативной общественной морали. Благодаря этим книгам Уилкинс стала в 1890-е гг. популярным автором, востребованным как в США, так и в Европе, и понемногу обрела финансовый достаток. Это время ознаменовалось для нее и переменами в личной жизни: ее десятилетний роман с доктором Чарльзом Мэннингом Фрименом увенчался в 1902 г. браком, вступив в который 49-летняя писательница добавила к родительской фамилии фамилию мужа. Супруги поселились в Метучене, штат Нью-Джерси, однако в 1921 г. их союз распался из-за прогрессировавшего алкоголизма Фримена, который закончил свои дни в клинике для душевнобольных в Трентоне.

В последнее десятилетие XIX и первые декады XX в. жанрово-тематический диапазон творче-

ства Уилкинс-Фримен неуклонно расширялся: постепенно уходя от бытописания на новоанглийском материале, принесшего ей успех у читателей и критиков, она стала экспериментировать с различными прозаическими формами — от исторического романа до откровенного фарса. Эти опыты, до известной степени являвшиеся попытками приноровиться к прихотливым изменениям вкусов публики и потребностей книжного рынка, не всегда были удачными: ее романы 1900–1910-х гг. нередко грешат неправдоподобием сюжетов, надуманностью развязок, многословием и вычурностью слога, что не преминула отметить тогдашняя критика; весьма неравноценна по своим художественным достоинствам и ее новеллистика этого периода. Тем не менее Уилкинс-Фримен продолжала оставаться видной фигурой в американской литературе первых десятилетий XX в., с ней охотно сотрудничали «Харпер энд бразерс» и другие издательства, в 1926 г. Американская академия искусств и литературы наградила ее золотой медалью имени У. Д. Хоуэллса за достижения в области художественной прозы, а Национальный институт искусств и литературы принял в ряды своих членов (вместе с Эдит Уортон). Литературное наследие писатель-

ницы, создававшееся на протяжении почти 50 лет, насчитывает 14 романов, более 250 рассказов, часть которых была объединена в сборники лишь после ее смерти, восемь книг для детей, три пьесы и три книги стихов. Фактически забытое в течение нескольких десятилетий, творчество Уилкинс-Фримен оказалось по-новому оценено литературной критикой второй половины XX в., увидевшей в целом ряде ее сочинений истоки феминистских идей.

Среди малой прозы Уилкинс-Фримен есть около дюжины рассказов, в которых новоанглийский местный колорит сочетается со сверхъестественными происшествиями и персонажами: «Луэлла Миллер» (1902), «Тень на стене» (1903), «Пропавший призрак» (1903) и др. К числу таких произведений относятся и два рассказа, включенных в настоящий сборник.

Рассказ «Юго-западная комната» («The Southwest Chamber») был впервые опубликован в авторском сборнике «„Ветер в розовом кусте“ и другие истории о привидениях», выпущенном в свет в марте 1903 г. нью-йоркским издательством «Даблдэй, Пейдж и К°», и почти одновременно — в апреле того же года — перепечатан в нью-йоркском ежемесячнике «Эврибадиз мэгэзин» (т. 8. № 4).

На русском языке впервые появился в переводе С. Тимофеева в малотиражном (30 экз.) авторском сборнике «Нефритовый браслет» ([Тверь:] оПУС М, 2019. С. 89–122). В настоящем сборнике представлен новый перевод рассказа, сделанный по первоизданию: *Wilkins M. E.* «The Wind in the Rose-Bush» and Other Stories of the Supernatural. N. Y.: Doubleday, Page & Co., 1903. P. 107–164.

Рассказ «Клетушка» («The Hall Bedroom») был впервые опубликован в марте 1903 г. в нью-йоркском еженедельнике «Кольерс уикли» (т. 30. № 26), а в 1905 г. перепечатан в четвертом томе пятитомной антологии «Классика американского рассказа», выпущенной издательством «П. Ф. Кольер и сын». В дальнейшем неоднократно включался в различные антологии мистических историй. Первый русский перевод рассказа печатается по его первопубликации в изд.: Чернокнижник: Страшные истории. М.: Изд-во «Э», 2018. С. 181–202.

Монтегю Родс Джеймс. ***(Montague Rhodes James, 1862–1936)***

Англичанин Монтегю Родс Джеймс, или, как он сам себя неизменно именовал в печати, М. Р.

Джеймс, опубликовавший с 1895 по 1932 г. свыше тридцати рассказов, без которых ныне не обходится ни одна сколь-либо представительная антология историй о привидениях, по праву числится в ряду корифеев этого жанра. Начавший писать в поздневикторианскую пору и по-настоящему состоявшийся как беллетрист уже в XX столетии, Джеймс вместе с тем считается виднейшим представителем особой «антикварной» ветви готической новеллистики, для которой характерно обращение к культурным артефактам национального прошлого: введение в основной — современный — антураж повествования всевозможных раритетов (уникальных документов, редких манускриптов, древних кладов и т. п.), как правило непосредственно связанных со сверхъестественными событиями рассказа, научные отступления и насыщенные эрудицией комментарии, сообщающие произведению, по словам автора, «легкий флер временной отдаленности», нередкий выбор в качестве мест действия старинных церквей и соборов, учебных заведений, музеев, архивов и библиотек. Этот ученый колорит джеймсовской прозы неудивителен, ибо ее создатель был выдающимся исследователем, оставившим труды в области палеографии,

религиоведения, медиевистики, специалистом по христианским апокрифическим текстам и другим памятникам древней письменности, составителем уникальных каталогов средневековых рукописей, хранящихся в крупнейших библиотеках Великобритании.

Монтегю Джеймс родился в деревне Гуднстон на востоке графства Кент в семье священника-евангелиста Герберта Джеймса и его жены Мэри Эмили, дочери военного моряка. Когда будущему писателю было три года, семья переселилась в деревушку Грейт-Ливермир по соседству с городком Бери-Сент-Эдмундс, графство Саффолк, выросшим вокруг старинного бенедиктинского аббатства, которое было разрушено во времена Реформации. Осенью 1876 г., после трех лет обучения в старейшей английской частной подготовительной школе Темпл-Гроув в Восточном Сассексе, Джеймс поступил в знаменитый Итонский колледж в качестве королевского стипендиата. С блеском окончив его в 1882 г. и получив Ньюкаслскую стипендию — самую престижную итонскую академическую награду, — он стал студентом Кингз-колледжа Кембриджского университета, с которым оказались теснейшим образом связаны его дальнейшая жизнь, научная и педагогическая

карьера и литературная деятельность. В 1886 г., по окончании колледжа, Джеймс был назначен помощником директора Фиц-Уильямского музея Кембриджского университета (позднее, с 1893 по 1908 г., он возглавлял этот музей); в 1887 г., защитив диссертацию на тему «Апокалипсис святого Петра», стал членом совета Кингз-колледжа, а в 1889 г. был назначен его деканом. В 1890-е гг. научные интересы Джеймса, поначалу планировавшего связать свою жизнь с археологией и в 1887–1888 гг. побывавшего в экспедиции на Кипре, постепенно сместились в область палеографии: он всерьез занялся изучением и описанием рукописей, хранящихся в различных библиотеках Кембриджского университета, и в 1895 г. издал первые три каталога, охватывающие собрания Фиц-Уильямского музея, Итонского колледжа и Кингз-колледжа. Грандиозная работа по каталогизации кембриджских рукописей, растянувшаяся на три с лишним десятилетия, протекала параллельно с другими академическими занятиями Джеймса — преподаванием в Кингз-колледже, написанием многочисленных трудов по палеографии, редактированием изданий исторических и библиографических обществ, переводческими опытами, — а также с

административной деятельностью: в 1905 г. он стал ректором Кингз-колледжа, а с 1918 г. и до конца жизни занимал пост ректора Итона; кроме того, с 1913 по 1915 г. исполнял обязанности проректора университета.

Уже в начале 1890-х гг. Джеймс стал сочинять (под влиянием прозы ирландского писателя Джозефа Шеридана Ле Фаню (1814–1873), чью книгу рассказов он опубликовал с собственным предисловием в 1923 г.) истории о сверхъестественном — поначалу для развлечения узкого круга друзей и коллег по Кингз-колледжу. На исходе десятилетия устные чтения этих историй сделались своего рода ежегодным ритуалом: в канун Рождества в приличествующей случаю сумрачной обстановке собирался небольшой кружок (в него входили ближайший друг писателя Джеймс Макбрайд, Генри Элфорд Лаксмур, Эдмунд Гилл Суэйн, Уолтер Морли Флетчер, Артур Бенсон, Сэмюэль Герни Лаббок и др.), и спустя некоторое время к гостям выходил с рукописью в руках Монти Джеймс, задувал все свечи, кроме одной, усаживался возле нее и приступал к исполнению. Впрочем, еще в 1895 г. его ранние рассказы — «Альбом каноника Альберика» и «Похищенные сердца» (1892–1893) — появились на журнальных страницах и

таким образом стали известны более широкой аудитории; полноценное же знакомство читателей с Джеймсом-прозаиком состоялось благодаря авторским сборникам «Рассказы антиквария о привидениях» (1904), «Новые рассказы антиквария о привидениях» (1911), «Тощий призрак и другие» (1919), «„Предостережение любопытным“ и другие рассказы о привидениях» (1925), которые выпустил в свет лондонский издатель Эдвард Арнольд. Итогом почти сорока лет новеллистического творчества писателя стало «Собрание рассказов о привидениях» (1931), также изданное Арнольдом и объединившее под одной обложкой ранее опубликованные рассказы Джеймса.

Отличительными чертами избранной им разновидности литературы сам писатель называл «атмосферу и искусное нагнетание напряжения», когда безмятежный ход повседневной жизни героев нарушает «вмешательство какого-либо зловещего существа, вначале едва заметное, а затем все более и более назойливое, пока пришелец из иного мира не делается хозяином положения. Не мешает иногда оставлять щелочку для естественного объяснения событий, но только такую крохотную, чтобы в нее невозможно было протиснуться» (*Джеймс М. Р.* Из предисловия к сборнику

«Призраки и чудеса: Избранные рассказы ужасов. От Даниеля Дефо до Элджернона Блэквуда» [1924] / Перев. Л. Бриловой // Клуб Привидений: Рассказы. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 5, 6). Отсюда такая характерная особенность готических историй Джеймса, как изысканная недоговоренность с едва уловимым потусторонним и/или зловещим подтекстом. По словам Говарда Филлипса Лавкрафта, «отдавая себе отчет в тесной зависимости таинственного ореола, окружающего те или иные предметы и явления, от сложившейся в отношении них традиции, он [Джеймс], как правило, подкрепляет свои вымышленные ситуации отдаленной предысторией, находя, таким образом, весьма удачное применение своему исчерпывающему знанию прошлого и свободному владению архаической манерой изложения и соответствующим колоритом» (*Лавкрафт Г. Ф.* Сверхъестественный ужас в литературе / Перев. И. Богданова и О. Мичковского // Лавкрафт Г. Ф. Зов Ктулху: повести, рассказы, сонеты. М.: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2014. С. 588).

На родине писателя его рассказы неоднократно становились литературной основой радиоинсценировок, театральных и телевизионных постановок, а рассказ «Подброшенные руны» (1911)

удостоился киноадаптации (фильм американского режиссера французского происхождения Жака Турнера «Ночь демона», снятый в Великобритании в 1957 г.). Биографии и творчеству М. Р. Джеймса посвящен ряд книг и множество статей; с 1979 г. выходит в свет британский журнал «Призраки и ученые», на страницах которого публикуются, анализируются и комментируются тексты писателя и других авторов, работавших в «джеймсианской» манере.

Рассказ «Трактат Миддот» («The Tractate Middoth») был впервые опубликован в авторском сборнике «Новые рассказы антиквария о привидениях». На русском языке впервые появился в переводе Г. Дуткиной в изд.: *Джеймс М. Р.* В назидание любопытствующим: Рассказы. М.: Радуга, 1994. С. 152–169; впоследствии были изданы несколько других переводов. В настоящем сборнике публикуется новый перевод рассказа, сделанный по изд.: *James M. R.* Collected Ghost Stories / Ed. with an Introduction and Notes by D. Jones. Oxford; N. Y.: Oxford University Press, 2011. P. 129–144.

Рассказ «Эпизод из истории собора» («An Episode of Cathedral History»), написанный в

1911 г., был впервые опубликован 10 июня 1914 г. в еженедельнике Кембриджского университета «Кембридж ревью» (т. 35. № 885); позднее перепечатан в авторском сборнике «Тощий призрак и другие». На русском языке впервые опубликован в переводе А. Чикина в изд.: Они появляются ночью. М.: Ренессанс, 1993. С. 58–80; впоследствии появилось несколько других переводов. Новый перевод, представленный в настоящем сборнике, сделан по изд.: *James M. R.* Collected Ghost Stories. P. 252–267.

Редьярд Киплинг. ***(Rudyard Kipling, 1865–1936)***

Всемирно известный прозаик, поэт, публицист, журналист Джозеф Редьярд Киплинг — фигура с трагической писательской судьбой. В 1880-е гг. он возник в английской литературе словно бы ниоткуда и в одночасье стал едва ли не самым знаменитым британским автором, который шокировал современников непривычной документальностью художественной прозы и прозаизацией стиха, колоритным просторечием, кросс-культурным многоголосием, экзотическими характерами, обстоятельствами, нравами и обычаями и увлек зараженную пессимизмом и меланхолией поздневикторианскую публику

жизнеутверждающей силой и энергией действия. Спустя же всего два десятилетия он был подвергнут осмеянию и презрению как «певец империализма», а затем и вовсе превратился, по выражению Т. С. Элиота, в «забытую знаменитость», оттесненную переменой общественных настроений и самим ходом истории на периферию литературного процесса, в художника, пережившего свою эпоху, но не сумевшего (и не пожелавшего) с этим смириться. Время пощадило — и даже обессмертило — лишь детские сочинения Киплинга, сделав Маугли, Акелу и других персонажей «Книг джунглей» символическими образами мировой культуры.

Будущий писатель родился в Бомбее, в семье художника и преподавателя искусств, а позднее — куратора музея индийского искусства в Лахоре, автора и иллюстратора книги «Люди и звери в Индии» (1891) Джона Локвуда Киплинга. В 1871 г., в возрасте пяти лет, мальчика вместе с трехлетней сестрой отправили в Англию — в частный пансион Лорне-лодж в Саутси, который принадлежал дальним родственникам семьи и где царил дух запретов и издевательств; об этой печальной поре своей жизни он позднее поведал в рассказе «Мэ-э, паршивая овца» (1888) и в

дебютном романе «Свет погас» (1890). В 1878 г. родители устраивают Редьярда в закрытое частное училище «Вествард Хо!» в Девоне — с перспективой поступления в дальнейшем в престижную военную академию. Процветавшие в колледже муштру и буллинг Киплинг спустя годы описал в автобиографической книге «Сталки и компания» (1899/1929). Однако сильная близорукость закрыла Киплингу возможность сделать военную карьеру, а кроме того, именно в училище юноша — не без влияния друга его отца, главы училища Кормелла Прайса, — пристрастился к литературе и начал писать стихи и рассказы.

Дебют Киплинга в печати состоялся в 1881 г., когда его родители выпустили в свет в Лахоре (без ведома сына) поэтический сборник «Школьные стихотворения». Вернувшись в октябре 1882 г. в Бомбей, 17-летний Редьярд начал работу в англо-индийской прессе, продлившуюся семь лет: по протекции отца он занял пост помощника редактора выходившей в Лахоре «Гражданской и военной газеты» и принялся непрерывно ездить по стране, собирая материал для статей, очерков и репортажей. Именно из колониальной журналистики вырос Киплинг-писатель, с присущей ему оригинальной тематикой и поэти-

кой, с собственным «магистральным сюжетом» и индивидуальной литературной судьбой. Жизненные наблюдения и впечатления, полученные в «журналистские» годы, естественным образом перетекали в стихи и прозу: в 1880-е — годы своего авторского становления — Киплинг выпустил в свет поэтические сборники «Отголоски» (1884) и «Департаментские песенки» (1886), а также книги новелл «Простые рассказы с гор» (1888), «Три солдата» (1888), «„Рикша-призрак“ и другие рассказы о сверхъестественном» (1888), «Под сенью деодаров» (1888), «„Крошка Уилли Уинки“ и другие рассказы о детях» (1888), «Черное и белое» (1888).

Прорыв Киплинга в большую литературу и к настоящей писательской славе совершился уже за пределами Британской Индии: весной 1889 г. он в качестве корреспондента аллахабадской газеты «Пионер» отправился в путешествие по странам Востока (Бирма, Сингапур, Гонконг, Япония), пересек Тихий океан, а затем — посуху — США с востока на запад и в октябре того же года прибыл в Лондон. В Великобритании его встретили как знаменитость: изданные ранее в Индии книги Киплинга, с их сознательным отказом от викторианской «религии красоты», от тематической и стилистической иерархии, с опорой на язык быта

и факта, с характерным «эффектом присутствия» читателя «внутри» повествования, придающим новелле документальность репортажа, британская публика сочла новым словом в литературе. В 1891 г. писатель совершил путешествие по Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии и Индии, а в следующем году женился на Каролине Бейлстир, сестре своего покойного друга и соавтора; супруги отправились в США, где в силу финансовых причин задержались до 1896 г. и где у них родились сын и две дочери. В этот период творчества Киплинг осваивает новые географические и социальные миры: помимо сборника путевых заметок «От моря до моря» (1890), публицистической книги «Американские зарисовки» (1891) и романа «Свет погас», он создает в эти годы новые сборники стихов «„Казарменные баллады“ и другие стихотворения» (1892) и «Семь морей» (1896), книги рассказов «Три солдата» (1890), «Жизнь дает фору» (1891) и «Многие помыслы» (1893), а также всемирно известные «Книги джунглей» (1894–1895). Англо-индийская сюжетика произведений предыдущего десятилетия сменяется установкой на охват всего англоязычного мира, колониальное чиновничество и индийцы различных каст — обитателями лондонского дна,

рыбаками, матросами, инженерами, бизнесменами, журналистами и т. д. Киплинг-прозаик активно экспериментирует с жанровыми формами, причудливо сочетая миф с фактом, сатиру и фарс — с аллегорией и притчей, сказку — с животным эпосом.

Рубеж XIX–XX вв. — в известной мере переломное в жизни и творчестве Киплинга время. С одной стороны, он продолжил осваивать новые жанровые территории, сочинив приключенческую повесть для юношества «Отважные капитаны» (1897) и роман «Ким» (1901) — первый образец шпионской литературы, заглавный герой которого, ирландец, выросший в Индии и становящийся игрушкой в руках разведывательной службы, колеблется между западной и восточной системами ценностей. С другой стороны, именно в конце 1890-х гг. окончательно сложились авторская картина мира и круг убеждений, в котором ключевую роль играет идея Британской империи — воплощения высшего закона и спасительного порядка, противостоящего катастрофам, разрушению и распаду, хаосу и небытию. Отсюда — абсолютизация Киплингом таких человеческих качеств, как мужество, стойкость, энергия, верность долгу и преданность

коллективу (будь то воинское подразделение, судовая команда или волчья стая); отсюда — воспевание им человека действия, выполняющего роль «спицы» в «колесе истории»; отсюда — его мессианский образ «бремени белых», которое заключается в том, чтобы нести свет цивилизации непросвещенным народам. В конкретной политической ситуации рубежа столетий это звучало как гимн британским колонизаторам и давало основания для небеспочвенных обвинений автора патриотических стихов в шовинистическом восхвалении «права сильного». Однако эти убеждения Киплинга, ставшие у него своего рода религией, не смогли поколебать ни позорная для Британской империи агрессия в Южной Африке (в годы Англо-бурской войны 1899–1902 гг. писатель работал военным корреспондентом и сочинял стихи в поддержку британской армии), ни катастрофа Первой мировой войны (на которой пропал без вести его единственный сын Джон). Это неизбежно привело к тому, что в 1900-е гг., в пору роста либеральных настроений в английских интеллектуальных кругах, вчерашний кумир читателей и критиков сделался излюбленной мишенью памфлетистов и карикатуристов, а в следующем десятилетии Киплинга (несмотря

на присуждение ему в 1907 г. Нобелевской премии по литературе и на выход его новых книг) начали забывать. Отчасти этому способствовали периоды затворничества писателя, вызванные тяжелой депрессией из-за смерти его четырехлетней дочери Джозефины в 1899 г., а позднее, в 1915 г., — из-за гибели сына.

Начиная с 1903 г. Киплинг с семьей по большей части жил в собственном загородном доме в Сассексе. В это время он вернулся к прозе для детей: за сборником «Просто сказки» (1902) последовали повествовательный цикл «Пэк с Пэковых холмов» (1906) и его продолжение «Награды и фейри» (1910), действие которых происходит в авторском поместье и его окрестностях. Помимо сборников патриотических стихов «Пять наций» (1903) и «Промежуток» (1919), Киплинг в новом столетии выпустил пять книг рассказов: «Пути и открытия» (1904), «Действия и противодействия» (1909), «Многообразие сущего» (1917), «Приходы и расходы» (1926) и «Пределы и обновления» (1932). Поздняя новеллистика писателя отмечена углубленным психологизмом и метафизичностью, усложненностью художественной формы, непрозрачностью стиля, многозначностью и наличием подтекстов. Исполнена умолчаний

и недоговоренностей и неоконченная автобиография Киплинга, красноречиво озаглавленная «Немного о себе для моих друзей — знакомых и незнакомых» и опубликованная посмертно в 1937 г.

Отдельный пласт малой прозы писателя составляют мистические рассказы, сочинявшиеся как в ранний, так и в зрелый и поздний периоды его творчества. Среди наиболее известных произведений такого рода — «Рикша-призрак» (1885), «Клеймо зверя» (1890), «Конец пути» (1890), «Лучшая в мире повесть» (1891), «Строители моста» (1893), «Беспроволочный телеграф» (1902), «Дом Желаний» (1924), «Садовник» (1926).

Рассказ «Они» («They») был впервые напечатан в августе 1904 г. в американском ежемесячнике «Скрибнерз мэгэзин» (т. 36. № 2); в том же году был опубликован отдельной книгой издательством «Чарльз Скрибнерз Санс» и вошел в авторский сборник «Пути и открытия», выпущенный лондонским издательством «Макмиллан и К°»; позднее неоднократно включался в различные антологии мистических историй. На русском языке впервые опубликован в переводе В. Хинкиса в изд.: *Уайльд О.* Стихотворения. Портрет Дориана Грея. Тюремная исповедь. *Киплинг Р.*

Стихотворения. Рассказы. М.: Худ. лит., 1976. С. 630–651. В настоящем сборнике представлен новый перевод рассказа, сделанный по изд.: *Kipling R.* Traffics and Discoveries. N. Y.: Doubleday, Page & Co., 1904. P. 281–310.

Рассказ наполнен глубоко личным для автора смыслом: в нем отразились переживания писателя, связанные со смертью его старшей дочери Джозефины.

Роберт Уильям Чамберс. *(Robert William Chambers, 1865–1933)*

Плодовитый американский беллетрист и художник Роберт Уильям Чамберс родился в состоятельной семье бруклинского юриста Уильяма Чамберса и Кэролайн Смит Боутон. Он получил образование в Бруклинском политехническом институте, в 12-летнем возрасте поступил в Лигу студентов-художников Нью-Йорка — художественную школу при Американском обществе изящных искусств, планируя связать свою судьбу с занятиями живописью. С 1886 по 1893 г. он жил попеременно в Мюнхене и Париже, учился в парижской Школе изящных искусств и в Академии Жюлиана; уже в 1889 г. его работы выставлялись в Парижском салоне. В 1893 г. он вернулся в

Нью-Йорк, где вполне успешно сотрудничал как иллюстратор в журналах «Лайф» и «Вог», однако в следующем году неожиданно обратился к литературе и выпустил автобиографический роман «В квартале», написанный в 1887 г. в Мюнхене и посвященный жизни художников в Латинском квартале Парижа.

С этого времени Чамберс всецело посвятил себя писательству, выпуская по несколько книг в год и пробуя свои силы в различных прозаических жанрах — от исторических и авантюрных повествований до мистики и научной фантастики, от любовных романов до юмористических рассказов. К числу его исторической беллетристики относится, в частности, цикл романов, действие которых разворачивается во время Франко-прусской войны: «Красная республика» (1895), «Лотарингия» (1897), «Пепел империи» (1898) и «Райские девы» (1902), — и романная серия о временах Гражданской войны в США: «Фельдъегерь» (1909), «Аилса Пейдж» (1910) и «Свистящая кошка» (1932). Кроме того, Чамберс оставил след в истории театральной и кинодраматургии, а также детской литературы. Он был одним из самых успешных жанровых беллетристов своего времени, и некоторые его книги

стали бестселлерами. За сорок с лишним лет он опубликовал свыше 70 романов, ряд повестей и девять сборников рассказов; многие его книги легли в основу сценариев немых и звуковых кинофильмов 1900–1930-х гг. Однако из всего богатого авторского наследия Чамберса прижизненную славу перешагнул лишь дебютный сборник фантастических и страшных историй «Король в Желтом», опубликованный нью-йоркским издателем Фрэнком Теннисоном Нили в 1895 г. и включающий десять новелл; четыре из них — «Реставратор репутаций», «Маска», «Во дворе дракона» и «Желтый Знак» — объединяют тема вымышленной пьесы «Король в Желтом», которая сводит с ума всех, кто ее читает, и жуткий символ под названием «Желтый Знак». Выдержанные в подчеркнуто декадентских тонах, эти четыре взаимосвязанные истории мастерски задают атмосферу параноидального страха, на которую работают также пропитывающие текст литературные реминисценции произведений Эдгара Аллана По, Амброза Бирса, Марселя Швоба и Оскара Уайльда. Удостоившиеся беглых упоминаний в ряде сочинений Говарда Филлипса Лавкрафта (в «Сверхъестественном ужасе в литературе», «Истории „Некрономикона“»

и «Шепчущем во тьме»), рассказы о Короле в Желтом со временем вошли в «ктулхианскую мифологию» и породили особое направление в жанре «странных историй», именуемое «Циклом Каркозы» или «Желтыми мифами», в которое внесли свой авторский вклад многие авторы — от Августа Дерлетта и Карла Эдварда Вагнера до Джеймса Блиша, Лина Картера, Роберта Прайса и др.

К мистической поэтике Чамберс позднее вернулся в сборниках «Создатель лун» (1896), «Тайна выбора» (1897) и «Небесное дерево» (1907), однако успеха «Короля в Желтом» им повторить не удалось.

Рассказ «Демуазель д'Ис» («The Demoiselle d'Ys») — пятый в сборнике «Король в Желтом» — на русском языке впервые появился в переводе А. Мироновой (при участии А. Бойкова), озаглавленном «Хозяйка замка Из», в самиздатовской публикации книги Чамберса (М.: Книжный клуб «Realms Of Books», 2017. С. 123–144); позднее вышли в свет несколько других переводов, с иными вариантами названия. Новый перевод, представленный в настоящем сборнике, сделан по изд.: *Chambers R. W.* The King in Yellow. N. Y.: F. Tennyson Neely, 1895. P. 131–151.

Эдвард Фредерик Бенсон. ***(Edward Frederick Benson, 1867–1940)***

Необычайно плодовитый английский романист, новеллист, драматург, биограф, мемуарист, автор более ста книг, один из трех братьев-писателей Бенсонов, Эдвард Фредерик Бенсон был пятым из шестерых детей Эдварда Уайта Бенсона, главы Веллингтонского колледжа в графстве Беркшир на юге Англии, а впоследствии каноника Линкольнского собора, епископа города Труро в графстве Корнуолл и, наконец, архиепископа Кентерберийского в 1883–1896 гг. В 20-летнем возрасте будущий литератор поступил в Кингз-колледж Кембриджского университета, который закончил с отличием, получив специальность археолога и приобретя за годы учебы пристрастие к классическим штудиям. В 1892–1895 гг. он учился и работал в Британской школе археологии в Афинах, а следующие два года провел на раскопках в Египте.

Первой книгой Бенсона были «Наброски из Мальборо» (1888), в которых он тепло вспоминает о шести годах, проведенных им в колледже в городе Мальборо в Уилтшире. Дебютом в художественной литературе стал опубликованный

в 1893 г. сатирико-нравоописательный роман «Додо: Подробности сегодняшнего дня», который принес автору признание публики, во многом благодаря порочно-притягательному образу заглавной героини, вызывающей любовь и несущей несчастье окружающим (подобные персонажи позднее будут не раз появляться на страницах произведений Бенсона). В последующие десятилетия писатель выпустил в свет около 70 романов, в том числе мистических — «Судебные отчеты» (1895), «Удача Вэйлза» (1901), «Образ в песке» (1905), «Ангел горести» (1906) и др., сборники рассказов — реалистических («Шесть обыкновенных вещей» (1893)) и готических («„Комната в башне“ и другие истории» (1912), «„Графиня с Лаундз-сквер“ и другие истории» (1920), «Зримое и незримое» (1923), «Истории о призраках» (1928), «Новые истории о призраках» (1934)), детскую фэнтези-трилогию о Дэвиде Блейзе (1916–1924), явно вдохновленную сказками Л. Кэрролла, жизнеописания сэра Фрэнсиса Дрейка (1927), Алкивиада (1928), Фернана Магеллана (1929), Шарлотты Бронте (1932) и всех трех сестер Бронте (1936), короля Эдуарда VII (1933) и королевы Виктории (1935), четырехтомное описание старого Лондона (1937), ряд истори-

ко-публицистических сочинений, несколько пьес (в том числе инсценировки собственных романов), книги о фигурном катании и крикете и мн. др. При этом Бенсон немало путешествовал и был заметной в обществе фигурой. С 1900 г. его жизнь была тесно связана со старинным городком Рай в Восточном Сассексе, где он навещал американского прозаика Генри Джеймса (чей дом — Лэм-хаус — арендовал после кончины писателя) и где трижды избирался на пост мэра в 1934–1937 гг.; невдалеке от этого города он позднее был похоронен.

После смерти Бенсона большинство его произведений оказались забыты на три с лишним десятилетия, и лишь в 1970–1980-е гг. некоторые романы и готические рассказы писателя были переизданы и экранизированы. Сегодня в Великобритании существует несколько обществ поклонников и почитателей его таланта, а с активизацией в 1990–2000-е гг. научного интереса к литературной готике появилось несколько серьезных исследований его творчества, в которых он расценивается как один из виднейших представителей этого жанра.

Рассказ «Изгой» («The Outcast») был впервые опубликован в апреле 1922 г. в лондонском еже-

месячнике «Хатчинсонс мэгэзин» (т. 6. № 34); год спустя был перепечатан в авторском сборнике «Зримое и незримое», выпущенном лондонским издательством «Хатчинсон и К°». На русском языке публиковался в переводе С. Тимофеева в малотиражном (50 экз.) авторском сборнике «Комната в башне»» ([Тверь:] оПУС М, 2018. С. 271–288). Новый перевод рассказа, представленный в настоящем сборнике, сделан по изд.: Night Terrors: The Ghost Stories of E. F. Benson / With an Introduction by D. S. Davies. Ware: Wordsworth Editions, 2012. P. 217–232.

Рассказ «Святилище» («The Sanctuary») был впервые опубликован в авторском сборнике «Новые истории о призраках», выпущенном издательством «Хатчинсон и К°» в 1934 г.; позднее многократно включался в различные антологии страшных историй. На русском языке впервые напечатан в переводе О. Снежковой в малотиражном авторском сборнике «Кошмары» (Ярославль: Издатель В. В. Мамонов, 2015. С. 170–195). В настоящем сборнике публикуется новый перевод рассказа, сделанный по изд.: Night Terrors: The Ghost Stories of E. F. Benson. P. 661–679.

Элджернон Блэквуд. ***(Algernon Blackwood, 1869–1951)***

Английский прозаик и журналист Элджернон Генри Блэквуд родился в местечке Шутерс-Хилл на северо-западе графства Кент (ныне это район в боро Гринвич на юго-востоке Лондона), в респектабельной викторианской семье крупного чиновника почтового ведомства сэра Стивенсона Артура Блэквуда и Гарриет Сидни Доббс, ранее состоявшей в браке с Джорджем Монтегю, 6-м герцогом Манчестерским. Сменив несколько частных школ в Крэйфорде, графство Кент, куда семья перебралась в 1871 г., и отучившись в колледже Веллингтон в городке Кроуторн, графство Беркшир, будущий писатель в 1885 г. был отправлен в Германию, в Шварцвальдскую школу моравских братьев, где под влиянием однокашника — выходца из Индии — пристрастился к восточному мистицизму, индуистской философии и религии. По возвращении в Англию летом 1886 г. он посетил с родителями Шотландию, затем около года проучился французскому языку в частном пансионе в Швейцарии, а в августе-октябре 1887 г. провел три месяца в Канаде вместе с отцом, отправившимся туда по служеб-

ным делам. Осенью следующего года, планируя заняться фермерством, он поступил на курс сельскохозяйственных наук Эдинбургского университета, однако проучился там меньше года: его все больше интересовали оккультное знание, сверхъестественные явления, духовные феномены, загадочные стороны человеческой психики, такие как гипноз и спиритизм. В 1889 г. в журнале «Белгравия» был опубликован его первый рассказ «Таинственный дом», навеянный деятельностью Общества психических исследований, а в 1890 г. в журнале Теософского общества «Люцифер» — статья «Мысли о природе», развивающая идеи Е. П. Блаватской. Увлечение оккультными идеями привело его в ряды Теософского общества (в 1891 г. в Канаде и в 1899 г. — в Лондоне), а также в члены Герметического ордена Золотой Зари (в 1900 г.).

Весной 1890 г., после серии поездок по Европе, Блэквуд вновь отплыл в Канаду, где начал работать секретарем редактора и репортером методистского журнала, а затем на средства, выделенные отцом, основал молочную ферму в окрестностях Торонто. Однако это начинание не имело успеха, как и попытка заняться отельным бизнесом; продав свою долю в нем,

Блэквуд в 1892 г. переехал в Нью-Йорк, где стал криминальным репортером газеты «Сан», а в 1895 г. — колумнистом «Нью-Йорк таймс». Сменив в США ряд занятий (от натурщика и личного секретаря банкира до учителя музыки), претерпев немало превратностей судьбы (от нападений грабителей и попадания в сети мошенника до тяжелых болезней) и так и не сделав прочной карьеры, он в начале 1899 г. вернулся в Англию — с подборкой историй о жутком и сверхъестественном, которые были основаны на услышанных в американских и канадских лесах индейских легендах и преданиях и одновременно отражали его собственные внутренние страхи. Блэквуд не планировал предавать эти прозаические опыты печати, однако его нью-йоркский приятель, репортер Энгус Гамильтон, без ведома автора отправил рукописи нескольких рассказов лондонскому издателю Ивли Нэшу, который принял их к публикации. Так в 1906 г. увидел свет первый сборник рассказов Блэквуда «„Пустой дом“ и другие истории о привидениях», за которым вскоре последовали «„Слушатель“ и другие истории» (1907) и «Джон Сайленс, парамедик» (1908), принесшие писателю известность и составившие ему репутацию бесспорного мастера в изображе-

нии сверхъестественного и потустороннего и их воздействия на человеческое сознание.

Получив после кончины матери в 1907 г. небольшое наследство, Блэквуд оставил пост управляющего лондонским филиалом компании по производству сухого молока, который занимал с 1904 г., и решил полностью посвятить себя литературному творчеству. С 1908 по 1914 г. он жил в Швейцарии, регулярно путешествовал по европейским странам, посетил Кавказ и Египет. В этот период жизни им написаны роман «Кентавр» (1911), который считается одним из лучших его произведений, сборники рассказов «„Затерянная долина“ и другие истории» (1910), «Сад Пана» (1912), «Невероятные происшествия» (1914), «Истории скороговоркой» (1914). В годы Первой мировой войны Блэквуд поступил на службу в британскую военную разведку и с 1916 г. недолго служил секретным агентом в Швейцарии, а затем расследователем Красного Креста во Франции. По окончании войны, вернувшись в Кент, он выпустил сборники рассказов «Дневные и ночные истории» (1917), «„Волки Божьи“ и другие волшебные истории» (1921), «„Языки пламени“ и другие истории» (1924), роман «Сияющий посланник» (1921) — продолжение законченного

еще до войны романа о реинкарнации «Джулиус де Валлон» (1911, опубл. 1916), которые упрочили его репутацию писателя-оккультиста, мистика и визионера, адепта древних и тайных знаний. В 1923 г. Блэквуд, который по-прежнему много путешествовал, познакомился во Франции с известными мистиками П. Д. Успенским и Г. И. Гурджиевым, с которыми впоследствии дружил долгие годы.

В 1934 г. начался новый этап творческой деятельности Блэквуда: он занялся радиодраматургией, осваивая в рамках радиошоу Би-би-си новый для того времени жанр радиопьесы — перерабатывая и начитывая вслух (либо адаптируя для исполнения несколькими актерами) собственные рассказы. В 1936 г. он впервые выступил по телевидению — в программе Би-би-си «Ожившие картинки», а в 1948 г. стал регулярным гостем шоу «Истории субботним вечером», превратившись вскоре в телезвезду национального масштаба и заслужив от зрителей прозвище Человек с привидениями. В 1948 г. Блэквуд был награжден орденом Британской империи, а в 1949 г. — специальной медалью Телевизионного сообщества; в том же году вышла очередная книга его избранных рассказов, написанных

в предыдущие годы, — «Истории о странном и сверхъестественном».

По словам знатока «литературы ужасов» Г. Ф. Лавкрафта, никому до Блэквуда «даже близко не удалось подойти к столь высокой степени выразительности, объективности и убедительности, с которой он регистрирует все проявления необычного в самых, на первый взгляд, обычных вещах и ощущениях, а также достичь той пронзительной ясности, с какой он возводит сложную пирамиду чувственного опыта, на вершине которой нам открывается вход в другую реальность». Среди новелл Блэквуда Лавкрафт особо выделяет «Ивы» (1907) — историю «о двух путешественниках, причаливших к острову посреди Дуная и ставших свидетелями чьего-то чужеродного присутствия», где «искусство повествования достигает невиданных высот и автору удается создать напряжение, которое ощущается в каждом безошибочно выполненном абзаце текста». Другим шедевром прозы писателя Лавкрафт называет повесть «Вендиго» (1910), изображающую монстра-людоеда из алгонкинского фольклора. В «Кентавре», по мнению Лавкрафта, Блэквуд «вплотную подступает к сокровенной субстанции сна и играючи разрушает все условные барьеры

между реальным и воображаемым мирами». Наконец, цикл о парамедике Джоне Сайленсе, ставший своего рода «мостиком» между историями Джозефа Шеридана Ле Фаню о докторе Хесселиусе и рассказами Уильяма Хоупа Ходжсона о Карнаки, охотнике за привидениями, критик называет «едва ли не лучшей работой писателя» (*Лавкрафт Г. Ф.* Сверхъестественный ужас в литературе. С. 581–584).

Рассказ «Вход и выход» («Entrance and Exit») был впервые опубликован в лондонской ежедневной газете «Вестминстер газетт» 13 февраля 1909 г.; в 1914 г. вошел в авторский сборник «Истории скороговоркой», выпущенный в свет лондонским издателем Джоном Мерреем, а затем неоднократно включался в авторские книги и коллективные антологии страшных историй. Первый русский перевод рассказа публикуется по его первопубликации в изд.: Вход и выход: Антология мистики. М.: Флюид / FreeFly, 2014. С. 406–413.

Рассказ «Видение» («Dream Trespass») был впервые опубликован в лондонской ежедневной газете «Морнинг пост» 24 октября 1911 г.; позднее вошел в сборник «Истории скороговоркой», а затем в другие книги писателя и межавторские

антологии. На русском языке впервые напечатан в переводе А. Сорочана, озаглавленном «За границами сна», в малотиражном (50 экз.) авторском сборнике «Древние огни» ([Тверь:] оПУС М, 2022. С. 286–294). В настоящем сборнике публикуется новый перевод рассказа, сделанный по изд.: *Blackwood A.* Ten Minute Stories. N. Y.: E. P. Dutton & Co., 1914. P. 139–151.

Рассказ «Заповедный вид» («Ancient Lights») был впервые опубликован 11 июля 1912 г. в лондонской общественно-политической еженедельной газете «Очевидец» (т. 3. № 4); позднее вошел в сборник «Истории скороговоркой», а затем в другие книги Блэквуда и межавторские антологии. На русском языке впервые появился в переводе А. Сорочана под названием «Древние огни» в одноименном авторском сборнике (с. 279–285).

В настоящем сборнике публикуется новый перевод рассказа, сделанный по изд.: *Blackwood A.* Ten Minute Stories. P. 128–138.

Рассказ «Коллекция гоблина» («The Goblin's Collection») был впервые опубликован 5 октября 1912 г. в «Вестминстер газетт»; позднее включен в сборник «Истории скороговоркой», а затем в другие книги автора и жанровые антологии. На

русском языке впервые опубликован в переводе А. Сорочана в малотиражной (50 экз.) антологии «Тварь среди водорослей» ([Тверь:] оПУС М, 2014. С. 46–54). В настоящем сборнике публикуется новый перевод рассказа, сделанный по изд.: *Blackwood A.* Ten Minute Stories. P. 76–87.

Уилла Кэсер. *(Willa Cather, 1873–1947)*

Уилла Сиберт Кэсер (Кэтер) — американская писательница, снискавшая известность благодаря романам из жизни фронтира на Великих равнинах, где прошли ее отрочество и юность. Уроженка Виргинии, Кэсер в девятилетнем возрасте переехала с семьей в Небраску; на плодородных землях штата ее отец занялся фермерством, а затем открыл в городке Ред-Клауд фирму по страхованию и продаже недвижимости. Во время обучения в средней школе Ред-Клауда Кэсер начала публиковаться в местной газете. В 1890 г. она переехала в Линкольн и поступила в Университет Небраски, намереваясь изучать естественные науки и сделать в дальнейшем врачебную карьеру; однако работа редактором и постоянным автором нескольких журналов штата увлекла ее на литературную стезю, и в 1895 г. она окончила университет, получив степень ба-

калавра искусств в области английского языка.

Переехав в 1896 г. в Питтсбург, Кэсер почти десятилетие делила время между литературным творчеством, редакторской деятельностью в различных периодических изданиях и преподаванием языков, математики и литературы в местных школах. В 1903 г. вышла в свет ее дебютная книга — стихотворный сборник «Апрельские сумерки», а в 1905-м — первый сборник рассказов «Сад тролля». В 1906 г. она перебралась в Нью-Йорк, где стала штатным редактором журнала «Макклурс мэгэзин»; именно на его страницах в 1912 г. увидел свет ее первый роман «Мост Александера» — написанная под явным влиянием прозы Генри Джеймса история жизни и смерти талантливого инженера-мостостроителя, чья личная судьба дает автору возможность исследовать социально-психологические различия Старого и Нового Света. Теплый прием книги со стороны критики побудил Кэсер покинуть журнал и всецело посвятить себя писательскому труду.

Следующие полтора десятилетия стали временем ее литературного триумфа. «Трилогия равнин», которую составили романы «О, пионеры!» (1913), «Песнь жаворонка» (1915) и «Моя

Антония» (1918), посвященные истории освоения потомками европейских иммигрантов американского Запада на рубеже веков, выдвинула Кэсер в первые ряды писателей США той эпохи. Официальным признанием этого факта явилось присуждение ей в 1923 г. Пулитцеровской премии за роман «Один из наших» (1922), где на фоне событий Первой мировой войны выписан истинно американский характер — молодой человек, родившийся после исчезновения фронтира, стремящийся сойти с предопределенного обстоятельствами жизненного пути и ищущий самореализации на границе куда более кровавой и отдаленной, чем та, которую освоили его предки. Сборник рассказов «Юноша и прозрачная медуза» (1920) и романы «Падшая женщина» (1923) и «Дом профессора» (1925) упрочили успех Кэсер у читающей публики. Следующим крупным произведением писательницы стал роман «Смерть приходит за архиепископом» (1927), в 1998 г. попавший в список ста лучших романов XX в. по версии издательства «Модерн лайбрари», а также в список ста лучших англоязычных романов 1923–2005 гг., составленный журналом «Тайм».

В начале 1930-х гг. отношение профессио-

нальных критиков к творчеству Кэсер начало меняться: рецензенты выражали недовольство отсутствием в ее новых произведениях актуальной для эпохи Великой депрессии социальной проблематики, усматривая в этом стремление убежать от современности в идеализированное прошлое. У читателей, однако, ее книги по-прежнему пользовались успехом: романы «Тени на скале» (1931), «Люси Гайхарт» (1935) и «Сапфира и невольница» (1940) стали бестселлерами. В 1943 г. Кэсер избрали членом Американской академии искусств и наук, а в 1944-м она была удостоена золотой медали Американской академии искусств и литературы за вклад в национальную культуру.

Рассказ «Происшествие на станции Гровер» («The Affair at Grover Station») — редкий в творчестве Кэсер образец мистической прозы — был впервые опубликован в питтсбургской газете «Лайбрари» 16 июня 1900 г. Позднее вошел в авторское «Собрание малой прозы», выпущенное в 1965 г. издательством Университета Небраски, и ряд жанровых антологий. На русский язык переводится впервые. Перевод осуществлен по изд.: Victorian Ghost Stories by Eminent Women Writers / Ed. by R. Dalby. N. Y.: Carroll & Graf Publishers, 1989.

P. 315–327.

Бесси Киффин-Тейлор. *(Bessie Kyffin-Taylor, 1869?–1922)*

Об английской писательнице Бесси Киффин-Тейлор сохранились крайне скудные биографические сведения: не установлены ни точный год ее рождения, ни социальное положение, ни какая-либо событийная канва ее частной и публичной жизни. Известно лишь, что она родилась в Ливерпуле и до замужества звалась Элизабет Коуп; в 1892 г. она стала женой Джеральда Киффин-Тейлора (сына ливерпульского архидьякона Уильяма Фрэнсиса Тейлора), впоследствии — бригадного генерала и члена парламента от Киркдейла (одного из избирательных округов Ливерпуля). Столь же мало известно о литературном творчестве Киффин-Тейлор: в сущности, читателям доступна только одна ее книга — сборник мистических повестей и рассказов «Из бездны безмолвия: Семь странных историй», опубликованный, по-видимому, в 1920 г., за два года до смерти автора (существует, впрочем, каталожная запись о том, что в Британской библиотеке хранится экземпляр другого ее сочинения, озаглавленного «Розмари: Диалог» и изданного в

1918 г.). Произведения, составляющие сборник «Из бездны безмолвия», выдержаны в стилистике, близкой к манере письма Э. Ф. Бенсона. В пяти из них («Комната номер десять», «Маленькие красные туфельки», «Ветер в лесу», «Сильвия» и «Гостиница „Звездная“») на разные лады обыгрывается традиционная готическая тема давнего преступления, которое раскрывается при помощи сверхъестественных явлений, «Близнецы» оригинально развивают мотив призрачного злого двойника, а в «Снаружи» жильцы некоего странного дома скрывают страшную тайну места, на котором он стоит, связанную с предком одного из них.

Рассказ «Ветер в лесу» («The Wind in the Woods»), как и другие произведения сборника Киффин-Тейлор, ранее печатался на русском языке в переводе С. Тимофеева в изд.: *Болдуин Л., Киффин-Тейлор Б.* Из бездны безмолвия. [Тверь:] оПУС М, 2022. С. 290–318. В настоящем сборнике публикуется новый перевод, осуществленный по изд.: «The Night Wire» and Other Tales of Weird Media / Ed. by A. Worth. L.: British Library Publishing, 2022. P. 197–226.

С. А. Антонов